

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

С О Ц И О Л О Г И Я

П О Л И Т О Л О Г И Я



РЭНДАЛЛ КОЛЛИНЗ

ЧЕТЫРЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИИ

ПЕРЕВОД ВАДИМА РОССМАНА

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

МОСКВА 2009

ББК 66.01

К60

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

В. Л. Глазычев, Г. М. Дерлугьян,

Л. Г. Ионин, Р. З. Хестанов

Будучи исправленной и дополненной версией получивших широкое признание критиков «Трех социологических традиций», этот текст представляет собой краткую интеллектуальную историю социологии, построенную вокруг развития четырех классических идейных школ: традиции конфликта Маркса и Вебера, ритуальной солидарности Дюркгейма, микроинтеракционистской традиции Мида, Блумера и Гарфинкеля и новой для этого издания утилитарно-рациональной традиции выбора. Коллинз, один из наиболее живых и увлекательных авторов в области социологии, прослеживает идейные вехи на пути этих четырех магистральных школ от классических теорий до их современных разработок. Он рассказывает об истоках социологии, указывая на области, в которых был достигнут прогресс в нашем понимании социальной реальности, области, где еще существуют расхождения, и направление, в котором движется социология.

Рэндалл Коллинз – профессор социологии Калифорнийского университета в Риверсайде и автор многих книг и статей, в том числе «Социологической идеи» (OUP, 1992) и «Социологии конфликта».

К60 **Рэндалл Коллинз.** Четыре социологических традиции. Перевод Вадима Россмана. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 320 с.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вадим Росман. РЭНДАЛЛ КОЛЛИНЗ</i>	7
ПРЕДИСЛОВИЕ	12
ПРОЛОГ. ПОДЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК	16
Социальная мысль в аграрных империях	17
Средневековые университеты создают современного интеллектуала	21
Возрождение: секуляризация интеллектуальной жизни	24
Религиозные войны и Просвещение	26
Экономика: первая социальная наука	31
Подъем публичных школ и университетская революция	33
Развитие дисциплин	38
И, наконец, социология	51
1. ТРАДИЦИЯ КОНФЛИКТА	61
Осевая позиция Карла Маркса	63
Фридрих Энгельс: социолог в тени	70
Макс Вебер и многомерная теория стратификации	97
XX век смешивает идеи Маркса и Вебера	108
Организации как борьба за власть	110
Классы, классовые культуры и неравенство: теоретики конфликта	117
Классовая мобилизация и политический конфликт	120
Золотой век исторической социологии	123
Приложение: Зиммель, Козер и функционалистская теория конфликта	127
2. РАЦИОНАЛЬНАЯ/УТИЛИТАРНАЯ ТРАДИЦИЯ	133
Изначальный подъем и падение утилитарной философии	137
Индивид возвращается	145
Социология открывает сексуальный и брачный рынки	151
Три применения социологических рынков: образовательная инфляция, расколотые рынки труда, нелегальные товары	156
Парадоксы и пределы рациональности	165

Предлагаемые рациональные решения для создания социальной солидарности	171
Экономика вторгается в социологию и наоборот	175
Рациональная теория государства	181
Новая утилитарная наука о стратегиях	185
3. ТРАДИЦИЯ ДЮРКГЕЙМА	192
Социология как наука о социальном порядке	194
Закон социальной гравитации Дюркгейма	197
Два крыла: макротрадиция	203
Монтескьё, Конт и Спенсер о социальной морфологии	205
Мертон, Парсонс и функционализм	209
Второе крыло: наследие социальной антропологии	215
Фюстель де Куланж и ритуальная классовая борьба	216
Теория морали и символизм у Дюркгейма	223
Ритуальная основа стратификации: У. Ллойд Уарнер	227
Ирвинг Гофман и повседневный культ индивида	231
Ритуалы взаимодействия и классовые культуры: Коллинз, Бернштейн и Дуглас	233
Сети ритуального обмена: связь между макро- и микроуровнями	238
Марсель Мосс и магия социального обмена	239
Леви-Стросс и теория альянса	244
Теория сети ритуальных взаимодействий	247
Будущее дюркгеймовской традиции	249
4. МИКРОИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ	251
Социология американских индейцев	251
Философия становится полем битвы между религией и наукой	253
Прагматизм Чарлза Сандерса Пирса	256
Общество в разуме: Кули	263
Социология мышления Джорджа Герберта Мида	265
Блумер создает символический интеракционизм	269
Социология сознания: Гуссерль, Шюц и Гарфинкель	275
Социология языка и познания	284
Контркритика Ирвинга Гофмана	286
Подводя итоги	292
ЭПИЛОГ	298
БИБЛИОГРАФИЯ	303

РЭНДАЛЛ КОЛЛИНЗ

В руках читателя книга одного из ведущих американских социологов, профессора Пенсильванского университета, Рэндалла Коллинза (р. 1941). Он уже знаком российскому читателю по нескольким работам и прежде всего по монументальной «Социологии философии», которая вызвала серьезную полемику как в США, так и в других странах. Помимо этого труда в числе наиболее значительных сочинений Коллинза можно назвать книгу *Credentialed Society* и его работы по сетям ритуалов взаимодействия. «Четыре социологических традиции» представляют собой очерк интеллектуальной истории социологии как науки, который интересен прежде всего как опыт анализа достижений этой науки с точки зрения одного из наиболее крупных американских социологов. Но в книге читатель также найдет интересные детали биографии социологов, исторический контекст и мотивации их мышления. Во многих американских колледжах данная работа часто используется в качестве учебника, как своего рода введение в социологию, хотя она очень не проста для восприятия начинающих социологов.

В основе книги лежит попытка сжать опыт социологии последних полутора столетий до четырех традиций. Выделение именно этих традиций не является ни бесспорным, ни общепринятым. В большинстве историй социологии мы сталкиваемся с более детальным представлением истории дисциплины, в которую инерционно включаются достаточно маргинальные мыслители, психологи и публицисты на социальные темы. Коллинз считает социологию достаточно зрелой наукой, которая уже эмансипировалась от философии и других социальных наук, а также временных попутчиков и дилетантов, и потому концентрируется только на магистральных традициях и фигурах. Его повествование достаточно пунктирно, и только в немногих случаях он наносит точечные удары по конкретным социологам, там, где его выводы и классификации требуют дополнительной аргументации.

Многие пассажи из книги написаны в жанре интеллектуальной истории. Генеалогии интеллектуальных традиций, которые выстраивает Коллинз, и его оценка мыслителей достаточно оригинальны и не вполне укладываются в сложившиеся стереотипные представления. Как и всякая интеллектуальная история, она интересна прежде всего акцентами. Так, достаточно нетрадиционна, но чрезвычайно интересна оценка Коллинзом социологии Карла Маркса, которого он представляет своего рода «энгельсианцем». Любопытно, хотя и весьма спорно, и его обоснование невысокой оценки социологических идей Георга Зиммеля, к которому он относится с пренебрежением (см. приложение к первой главе). В третьей главе читатель найдет чрезвычайно интересный анализ вклада в социологию Фюстеля де Куланжа, которого в других курсах социологии редко упоминают.

Многим может показаться не совсем уместным исключение из анализа истории социологии многих континентальных социологов. В работе даже не упоминаются такие заметные континентальные мыслители, как Вильфредо Парето, Питирим Сорокин, Мишель Фуко, социологи Франкфуртской школы, Норберт Элиас. Мельком упоминается Бурдьё, только пара страниц посвящена Чикагской школе и Талкотту Парсонсу. Не говоря уже об «альтернативных» континентальных социальных философах – Ги Деборе, Колледжа социологии (Батай, Кайюа) и т.п. Впрочем, в четверичную классификацию не вполне уместно даже Гофман и сам Бурдьё, с которым Коллинз длительное время сотрудничал. Следует отметить, что американский социолог прекрасно отдает себе отчет в условности (но не произвольности) своей схемы. Современные подходы в социологии часто синтетичны и редко встречаются в чистом виде. По этой же причине из поля зрения автора выпадают многие крупные социологи: например, такие заметные представители Чикагской школы социологии, как Роберт Парк и Эверетт Хьюз, – работы которых синтетичны и не могут быть успешно вписаны или сведены ни к одной из четырех традиций. Синтетическим социологом был и Талкотт Парсонс. В некоторых случаях четырехчленное деление потребовало и определенных упрощений. Так, например, критики сочли трактовку Дюркгейма в книге Коллинза достаточно схематичной и упрощенной: сам Дюркгейм богаче дюркгеймианства в том виде, в котором оно представлено в истории американского социолога.

Необходимо отметить, что книга представляет собой своего рода иллюстрацию теоретического тезиса Коллинза о том, что твор-

чество мыслителя является результатом его прошлых сетевых взаимодействий. Этот аргумент структурно совпадает с аргументами Сократа против софистов по поводу их концепции частной морали и с аргументами Людвиг Витгенштейна по поводу частного языка. Подобно тому, как мораль и язык не могут быть приватными и частными, а только универсальными, приватным и частным не может быть творчество, в том числе и творчество в области социологических идей. Коллинз с большим знанием дела проводит эту антиромантическую идею, устанавливая связи между различными идейными течениями, часто отнюдь не очевидные, и это превращает его книгу не просто в учебное пособие, но и в школу мысли.

Досадным упущением работы, на мой взгляд, является отсутствие эксплицитного обсуждения соотношения методов и подходов четырех традиций, хотя материал книги дает богатые возможности для такого соотнесения направлений социологии и ее методов. Интересно, что раскол на социологических факультетах американских университетов сегодня идет скорее на уровне методов, а не традиций и направлений. Подобно тому, как факультеты литературы расколоты, как правило, по линии классиков и постмодернистов, а факультеты философии — по линии континентальных и аналитических философов, факультеты социальных наук (прежде всего департаменты социологии и политических наук) разделены между приверженцами качественных и количественных методов. В социальных науках обычно выделяется три типа методов: количественные, качественные и критические¹. Количественные методы анализируют материал в системе статистических показателей и индикаторов, и использование таких методов наиболее характерно для рациональной утилитарной традиции. Качественные методы предполагают идентификацию тех непроговариваемых правил различных обществ, которым подчиняется поведение людей. Качественный подход наиболее типичен для традиции Дюркгейма, которая вырастает на почве антропологии, и для феноменологической перспективы в социологии, воплощенной в некоторых аспектах микроинтеракционистской традиции. Дюркгеймовская и феноменологическая традиции предполагают перспективу понимания, во многом противоположную, но и взаимодополнительную объяснениям, нацеленным на выявление причинно-следственных связей. Критические методы предполагают оценку социального порядка

¹ *Braybrooke D., Brown B., Schotch P. Logic on the Track of Social Change. — London: Oxford University Press, 1996.*

с точки зрения нормативной теории и теории справедливости, поэтому обращение к критическим методам наиболее характерно для традиции конфликта и особенно для марксистской парадигмы в социальных науках.

Некоторые аспекты выделения четырех традиций не совсем четко артикулируются самим Коллинзом, и в его схеме больше оснований, чем он называет. По сути, его классификация четырех социологических традиций совпадает с географическим принципом (и он упоминает об этом в заключении), и исторически такой подход вполне правомерен. По сути, речь идет о национальных традициях в социологии. Немецкая традиция представлена теорией конфликта и достигает своего апогея в германской социологии (Маркс и Вебер). Теория Дюркгейма несет на себе отпечатки французской академической школы. Утилитарная традиция исторически связана с Великобританией. Микроинтеракционистская традиция представляет собой уникальный вклад собственно американской социологии. Можно также сказать, что все четыре традиции по-разному и в различной степени связаны со смежными дисциплинами и неодинаково адаптируют и экстраполируют их подходы и методы. Традиция конфликта тесно связана с историей и историческими подходами. Утилитарная традиция развивалась прежде всего в русле и в контексте экономики. Традиция Дюркгейма вытекает из антропологии и антропологических методов, долгое время она была с ней интимно связана. Традиция микроинтеракционизма генетически связана с социальной психологией и адаптирует многие ее методы и термины. Четыре направления несут на себе родимые пятна этих смежных дисциплин.

Четыре традиции выделяют в качестве принципиально важных в обществе различные аспекты. Для традиции Маркса и Вебера — это конфликт, для Дюркгейма — солидарность, для утилитаристов — обмен, для микроинтеракционистов — идентичность. Соответственно в центре общества у Маркса — война и социальный конфликт, у утилитаристов — рациональный договор или соглашение, у Дюркгейма — ритуал, у микроинтеракционистов — повседневные взаимодействия (например, разговоры и детская игра). Теории отличаются и по объяснительной мощности, диапазону охвата общественных процессов (микро-, макро- и мезотеории) и степени концентрации на нормативных предпосылках анализа (дескриптивные и нормативные теории). Маркс и Дюркгейм в своем анализе исходят из общества как целого и концентрируются на нормативных аспектах. Утилитаристы и микроинтеракционисты исходят

из позиции индивида. В плане событий Маркс и Дюркгейм концентрируются преимущественно на торжественных больших событиях — революциях и войнах, микроинтеракционисты — на повседневных событиях. Коллинз блестяще показывает, что различные традиции представляют собой не просто альтернативные подходы, но и подходы в значительной степени взаимодополнительные и взаимообогащающие. Подобно тому, как в физике материя может существовать в различных состояниях, в социологии общество должно изучаться в различных его состояниях и модусах, и соответственно при этом различные подходы и методы могут быть более или менее эффективны. Поэтому отношения между различными традициями могут быть взаимодополнительными. То же самое, впрочем, относится и к отношению количественных и качественных методов.

Основной урок книги Коллинза, вероятно, состоит в важности компромиссов между различными школами, методами, направлениями и подходами в социологии, возможности построения одних теорий на основе других. И в этом ценность и новизна его взгляда на историю социологии. Он показывает, на какой основе возникали национальные интеллектуальные традиции в системе «стимул—ответ», указывает на тенденции и политические импликации различных теорий и размыкает монадически замкнутые доселе национальные традиции и их системы социологических категорий. Но конвергенция школ и традиций — это не только теоретическое пожелание Коллинза, но и реальность современной социологии. В книге чувствуется великолепное владение материалом смежных наук. Можно быть уверенным, что и эта книга американского ученого найдет множество благодарных читателей в России не только среди профессиональных социологов, но и у представителей многих социальных наук.

Вадим Росман

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге речь пойдет о том заметном прогрессе, который был достигнут социологией в познании социального мира. Бытует мнение, что социологическое знание не является кумулятивным и что классические мыслители не теряют своей значимости, а иногда даже приобретают больший вес по сравнению с современными теоретиками и исследователями. Я постараюсь показать, что существуют фундаментальные направления мысли, которые тянутся от классиков социологии к современным теориям. И это совсем не означает, что в современной социологии нет существенных расхождений в теоретических подходах. Реальность современного интеллектуального мира такова, что социологи придерживаются противоположных точек зрения по многим фундаментальным вопросам. Но они расходятся далеко не по всем из них, и эти расхождения вовсе не исключают возможности теоретических прорывов, совершенных за последнюю сотню лет, одновременно в нескольких из этих традиций в процессе развития все более сложных и нетривиальных областей знания.

В первом издании этой книги я обратился к трем великим социологическим традициям. Первую из них я назвал традицией конфликта. С моей точки зрения, источником этой традиции в равной степени являются труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Макса Вебера. Марксистская и веберовская традиции часто рассматриваются как противоположные, но фактически, в социологической перспективе, между ними много общего. Обе эти традиции выдвигают и развивают теории капитализма, социальной стратификации, политического конфликта и связанные с ними макроисторические темы в социологии. Теоретики и исследователи в марксистской и веберовской традициях многое заимствовали друг у друга, особенно в последние годы. Если мы оставим в стороне политический активизм марксизма, а также наиболее консервативные течения политики, которые иногда ассоциировались с веберизмом, и взглянем только на их идейные построения, нам станет ясно, что концептуально сложные идеи макроструктуры общества возникают на основе обоих флангов великой традиции конфликта.

Вторая традиция, которую мы обсудим, была названа дюркгеймовской по имени ее наиболее крупного представителя. Эта чисто социологическая традиция включает в себя Огюста Конта — он первым ввел этот термин, — а также Эмиля Дюркгейма, наиболее эмоционально отстаивавшего необходимость специфически социологического уровня анализа. Мне кажется, что эта традиция также распадается на два течения. Одно из них сосредотачивается на макроструктуре общества, но в органицистской и эволюционной перспективах значительно расходится с теорией конфликта Маркса, Энгельса и Вебера. Это течение берет начало в теориях таких далеких ее предшественников, как Монтескьё, Конт и Герберт Спенсер, и через самого Дюркгейма охватывает современных теоретиков функционализма — Роберта Мертона и Талкотта Парсонса. В последние годы эту сторону традиции Дюркгейма подвергали резкой критике за ее тенденцию к идеализации и опредмечиванию социальной реальности. Второе течение этой теории, которое я назвал линией социальной антропологии, ввело в обиход множество более реалистических идей. В нем подчеркивается значимость механизмов, на основе которых социальные ритуалы, имеющие место в группах «лицом к лицу», порождают чувство солидарности. Эти ритуалы также ведут к возникновению социально нагруженных символов, которые становятся важной частью моральных убеждений, кроме того, они очерчивают границы между группами инсайдеров и аутсайдеров. В последнее время в этой области происходило значительное развитие, например, в работах Ирвинга Гофмана о повседневных ритуалах. Другие социологи связали эту линию анализа с социальными классами и культурными основаниями стратификации, выстраивая таким образом мост между традицией Дюркгейма и традицией конфликта.

Третья традиция, рассматриваемая в этой книге, — традиция микроинтеракционизма. В ней мы также обнаруживаем несколько направлений. Существует прагматическая линия этой традиции, производная от работ Чарлза Пирса, развитая Джорджем Гербертом Мидом. Есть и линия символического интеракционизма, разработанная в трудах Чарлза Хортона Кули, Томаса и эксплицитно сформулированная Гербертом Блумером. Кроме того, существует феноменологическая этнометодологическая социология, разработанная Альфредом Шюцем и Гарольдом Гарфинкелем. И работы Ирвинга Гофмана пересекаются с этой общей теоретической областью. Он не был символическим интеракционистом, каковым его часто считали, но изначально выступал скорее как представитель дюркгей-

мовской традиции анализа социальных ритуалов. Несколько позже он занялся новой социологией сознания и в частности тем, что я склонен рассматривать как плодотворную и интересную критику ее фундаментальных вопросов, связанных с социальной конструкцией реальности и социологией языка. Подобно двум другим традициям, обсуждающимся ниже, микроинтеракционистская традиция продолжает развиваться и в наши дни.

В этом новом издании я добавил к своему анализу утилитаристскую традицию, которая в последнее десятилетие также была известна как теория обмена и теория рационального выбора. В предыдущем издании утилитаристы были своего рода фоном для рассмотрения других традиций. Дюркгейм дал новое направление своей социологии благодаря критике рациональной теории социального договора и отрицанию возможности объяснения характеристик общества теориями индивидуального действия. Теория конфликта ближе утилитаристам: обе традиции обращают внимание на важность личного интереса и материальной экономики. Разница состоит в том, что теория конфликта предлагает более жесткий взгляд на социальные взаимодействия, акцентируясь на системе господства и периодических взрывах насильственной борьбы, в то время как утилитаристы склонны к более благодушному либеральному взгляду, согласно которому рациональные интересы работают на благо каждого. Однако в последние годы эта оптимистическая сторона рациональной утилитарной традиции претерпела изменения, и современные утилитаристы стали гораздо более критичны в отношении сегодняшнего общества. В этом плане теория рационального выбора слилась с теорией конфликта, хотя и в политически двойственном смысле: там, где классическая теория конфликта находилась обычно слева, современная теория рационального выбора осуществляет свою критику и слева, и справа.

Микроинтеракционистская традиция, представляющая собой проекцию идеалистической и прагматистской философий в социологию, всегда была враждебна рациональному/утилитаристскому подходу. В некотором смысле здесь мы имеем дело с продолжением имеющего долгую историю философского противостояния между континентальным идеализмом и британским эмпиризмом на почве социологии. В 80-е годы идеалистические и релятивистские аспекты континентальной философской традиции были представлены в наиболее заостренном виде в так называемом постмодернизме, в высшем полемическом направлении этой теории. Это движение особенно враждебно позитивистскому подходу. Таким

образом, можно сказать, что идейное поле брани второй половины XX века было сформировано новым подъемом старых оппонентов: растущим движением рациональной/утилитаристской теории с одной стороны и интерпретирующим и культурологически ориентированным философствованием, генетически связанным с немецким идеализмом, с другой. Текущие дискуссии между этими традициями составляют средоточие того, что сегодня происходит в мире идей.

Четыре традиции, избранные мною для обсуждения, не единственные области социологии, претерпевшие кумулятивное развитие и усилившие свой уровень теоретической изощренности. Но я полагаю, что они должны рассматриваться как центральные традиции социологии. У них есть та мера исторической преемственности и глубины мысли, с которой немногие традиции могут поспорить. Я надеюсь, что *Четыре социологические традиции* позволят дать общее представление о прогрессе, достигнутом социологией за четыре-пять поколений своего существования.

Издательство Оксфордского университета также выпустило сборник приложений к этой книге *Четыре социологические традиции. Избранные тексты*, в котором собраны основные тексты из всех четырех традиций, от классиков до недавних теоретических разработок.

Р. К.
Сан-Диего
Май, 1993

ПРОЛОГ.

ПОДЪЕМ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК¹

Социальная наука происходит из социального базиса. В этом утверждении содержится сразу два парадокса. Наука предполагает знание об объективном мире, которое истинно в силу того, что вещи таковы, как они есть, а не потому, что мы представляем их себе определенным образом. Однако эта наука описывается как социально мотивированная, как определяющаяся обществом, в котором живет ученый. Это первый парадокс.

Второй парадокс состоит в том, что мы, тем не менее, признаем существование социального базиса. Это автономный, объективный мир, который существует независимо от индивидов и который определяет то, что они думают. Если социальная наука преуспеет, можно даже описать объективные законы этой социальной детерминации идей.

Независимо от своей парадоксальности это утверждение верно хотя бы в той степени, в которой на его основе можно написать целую книгу. В некотором смысле это как раз то, о чем идет речь в этой работе. Каждая из четырех социологических традиций сыграла свою роль в раскрытии законов, которыми определяются социальные идеи.

Традиция конфликта позволяет нам распознать динамику идеологии, легитимность, условия мобилизации групп, движимых частным интересом, и экономику культуры. С точки зрения теории конфликта идеи представляют собой орудия и их доминирование определяется распределением социальных и экономических ресурсов.

Из *рациональной/утилитарной* традиции мы узнаем об ограниченной природе человеческих способностей в отношении обработ-

¹ В прологе дается социологический обзор условий и состояния общества, лежавших в основе подъема социальных наук в целом и в социологии особенно. Его можно пропустить и перейти непосредственно к обсуждению идей наших четырех традиций.

ки информации, о границах рациональности и парадоксах сознательного выбора.

Из *дюркгеймовской традиции* мы узнаем о социальных ритуалах, на основе которых возникает не только солидарность, но и символы, используемые в мышлении. Наш разум состоит из идей, пропитанных моральным авторитетом тех групп, к которым мы принадлежим. Наше членство в социальных сообществах определяет наши верования и санкционирует необходимость этих верований, а также моральное осуждение сомнений в правильности этих верований.

Из *микроинтеракционистской традиции* мы узнаем, что само общество находится у нас в голове. Наши разговоры и практические взаимодействия создают ощущение социальной реальности.

Четыре социологических традиции представляют собой среди прочего еще и социологии знания и ставят социальный детерминизм на свое собственное основание. Законы, сформулированные в каждой из четырех традиций, применимы ко всем им: знание, основанное на идеологии, рациональные пределы самой рациональности, истина, имеющая своим источником ритуал, и социальное конструирование реальности. Как это возможно?

В конечном итоге, эти вопросы можно разрешить методами философии и математики — в традиции Бертрана Рассела, Курта Геделя и Людвиг Витгенштейна, — которая выделяет различные уровни отсылочных суждений. Но это не книга по философии, и я не принимаю здесь никаких попыток разрешить парадоксы, а только хочу их проиллюстрировать.

Главы этой книги представляют содержание всех четырех теоретических традиций в том виде, как они развивались в последние полтора столетия. В прологе мы остановимся на тех условиях, которые сформировали основания этих теорий.

СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ В АГРАРНЫХ ИМПЕРИЯХ

У идей всегда есть свои носители. Большая часть мировой истории была историей аграрных империй, которые доминировали с III тысячелетия до н.э. вплоть до формирования средневековой Европы. В этих империях мы почти не встречаем обособленные интеллектуальные группы, организованные в сообщества. В империях Египта, Месопотамии, Персии, Индии, Китая и Японии существовали образованные классы: главным образом священники, правительственные чиновники и немногочисленные купцы. Эти классы

культивировали знание астрономии, инженерного дела, математики, а некоторые из них создали развитые религиозно-философские системы. Однако в целом эти формы мысли были связаны с практическими и религиозными потребностями: знание, тем более знание социального мира, еще не было целью само по себе. Периодически мы находим здесь блестящих, никак не связанных между собой, мыслителей, которые затрагивали социальные вопросы, — будь то Конфуций или Каутилья, по-макиавеллиевски мысливший государственный деятель Древней Индии. Несомненно, здесь были и светские мудрецы, о которых нам известно довольно немного из-за того, что их знания не передавались. Но в этом и состоит проблема: социальная мысль развивается только сообществом, которое выстраивает себя на основе своих изначальных традиций. В отсутствие сообществ, ориентированных на эти цели, в области социальных наук от этих цивилизаций мало что сохранилось до наших дней. Только в достаточно грубой исторической форме, главным образом в хрониках царствования монархов, собранных правительственными и религиозными чиновниками, мы обнаруживаем начала кумулятивного исследования общества.

Для развития объективного социального знания необходимы две предпосылки. Во-первых, общества (или, по крайней мере, их части) должны рационализироваться или, если воспользоваться формулировкой Макса Вебера, «разочароваться». Этот процесс начался в крупных аграрных империях древности, в которых практические интересы коммерции и правительственного администрирования привели к возникновению более конкретно-фактической позиции в отношении социального мира. Но практические потребности сами по себе не слишком поддерживают социальную мысль, поскольку можно создать практическое ноу-хау и без сознательного понимания общих принципов. Практические навыки могут сосуществовать с любыми социальными мифами и ложными концепциями. Вторым условием поэтому был подъем специалистов-интеллектуалов, которые могли создать свое собственное сообщество — интеллектуальное сообщество, — внутри которого поиски знания ради самого знания могли получить социальную поддержку. Соответственно мы займемся поисками свидетельств возникновения таких интеллектуальных сообществ, их внутренней структурой и их отношением к обществам, которые их взрастили.

Создание социальных наук было непростым делом, гораздо более сложным, чем создание естественных наук. Хотя в определенные периоды сферы физики, химии, астрономии, биологии и дру-

гие области естествознания были пронизаны религиозными мифами, в целом было достаточно просто заменить их техническими науками. Галилей действительно был проклят католической церковью, а дарвиновская теория эволюции вызвала публичное замешательство, но по большей части инциденты такого рода представляли собой исключение. С социальными мыслителями все было по-другому. Давление социальной ортодоксии на них было столь велико, что интеллектуальную ересь было не только сложно сформулировать — она даже не могла прийти в голову. Вероятно, естественные науки возникли раньше именно по этой причине, а вовсе не потому, что социальные науки моложе и не потому, что их предмет гораздо более сложен и неопределен. Отсюда первая часть двойного аргумента: каково должно было быть сочетание политики, религии и институтов образования, чтобы могло возникнуть интеллектуальное сообщество с достаточной автономией, необходимой для возникновения социальных наук.

Первые систематические усилия социальной мысли были предприняты в греческих городах-государствах в 500-х годах до н.э. Древнегреческая цивилизация занимает важное место в истории западной мысли потому, что именно здесь впервые возникает достаточно оформленное интеллектуальное сообщество, независимое от религии и государства. Греческое общество возникает на границах великих ближневосточных империй из относительно примитивных племен. Пользуясь благоприятным геополитическим расположением, оно оказалось способно воспринять богатство и культуру своих более развитых соседей, отвергая в то же время их подавляющие централизованные правительства и религию. Греки сохранили первобытную демократию своих племенных военных коалиций и множество местных религиозных культов, которые ей соответствовали.

Когда восточная грамотность и соответствующие знания совместились с ситуацией религиозного и политического плюрализма, возникло множество греческих интеллектуальных школ. Наиболее известны школы, сложившиеся вокруг философов Фалеса, Пифагора, Сократа и Платона. В каком-то смысле это были новые религиозные культы, ранние ритуалы которых теперь дополнились рационализированным знанием. Но эти школы одновременно выступали в качестве фракций в политике городов-государств, а также служили источниками дохода для странствующих учителей, которые преподавали искусство аргумента потенциальным политикам и гражданам-адвокатам (поскольку каждый сам защищал свое соб-

ственное дело перед ассамблеей города-государства). Ключевым фактором в этой ситуации стало соревнование, которое вызывалось присутствием многих интеллектуалов, продающих свои продукты публике. Поскольку они были свободными интеллектуальными предпринимателями, не занимавшими никакого места в государственной или религиозной иерархии, у них не было предубеждений против сохранения традиции. Соревнование с другими подразумевало, что интеллектуалы должны были развивать новые идеи и совершенствовать их в полемике с противоборствующими школами. В период процветания городов-государств возникла беспрецедентная ситуация подъема свободного интеллектуального сообщества со свободным рынком. Эта ситуация породила период интеллектуальной энергии, который в последующем в истории считался «золотым веком». Именно в это время возникают современные философия и наука. Здесь же мы обнаруживаем и истоки социальных наук.

Первое систематическое рассмотрение общества предпринимается в философиях Платона и Аристотеля. Главной проблемой для этих учений был, безусловно, ценностный вопрос о формах наилучшего общества, а не объяснение существующего положения вещей. И такая постановка вопроса была естественна для интеллектуальной группы, которая претендовала на свою роль в греческой политике. Эти мыслители выгодно отличались от других политиков уровнем своего мышления. В своем собрании конституций греческих городов Аристотель, ученик Платона из следующего поколения, представил первый пример эмпирического анализа и попытался сформулировать условия, при которых города-государства должны были управляться монархами, аристократиями или демократиями. Аристотель был озабочен не только ценностными проблемами, но и развитием системы знания. Решающим фактором здесь могло стать создание своей школы, которую ему удалось организовать. В то время как школа Платона занималась подготовкой политических руководителей, школа Аристотеля была ориентирована главным образом на подготовку интеллектуалов. Форма организации аристотелевой школы предполагала систематизацию знаний, а ее внутренняя изоляция от непосредственных политических целей предполагала больший упор на накоплении знаний ради самих знаний.

Социология и экономика Аристотеля были многообещающими, но недостаточно развернутыми. Наиболее тонким достижением греческой социальной науки было создание истории в той фор-

ме, в которой мы ее знаем, то есть фундаментальной нарративной истории. В то время, когда софисты и другие философские школы вели жаркие споры, тот же самый интеллектуальный рынок стимулировал ушедших на покой политиков и генералов, подобных Фукидиду и Геродоту, написание своих историй, создававших новый стандарт объективного сбора исторических фактов, свободный от религиозных интерпретаций вроде тех, что используются в древнееврейской Библии и которые идут дальше стандартов простых административных хроник в своем анализе причин событий. Хотя относительно автономный интеллектуальный рынок греческого «золотого века» был недолговечен, его наследие в традициях историографии продолжилось, по крайней мере в некоторой степени, в более религиозно и политически иерархизированных обществах, которые последовали за ним. В Риме политики, подобные Юлию Цезарю, и аристократы, вставшие в немилость, такие как Тацит, выступили со своими информативными и в какой-то степени аналитическими историями. Тысячелетием позже арабские мыслители — Ибн Мискава и Ибн Хальдун — занимались сравнительной социологией, которая выступала под маской исторической рефлексии. В течение долгих столетий, когда к Аристотелю и Платону, если о них вообще вспоминали, относились как к священным реликвиям, являвшимся одновременно предметом почитания и комментирования, на Западе тлели искры социальных наук.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СОЗДАЮТ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

Современная социальная мысль начинает набирать критическую массу интеллектуалов в 1700-х годах, и только после этой даты начинается формирование современных дисциплин в том виде, в котором они нам известны сегодня. Но поскольку мы занимаемся социальными основаниями общественных наук, необходимо бросить хотя бы беглый взгляд на предшествующие пять-шесть веков. В сфере социальных идей в этом временном промежутке мы находим не более горстки одиночных мыслителей: Томас Гоббс в 1600-х годах, Николо Макиавелли в 1500-х, Фома Аквинский в 1200-х. В то же самое время некоторые важные основания были заложены в сфере интеллектуальных институтов. Без них позднейший подъем изоциренных традиций социальной мысли был бы невозможен. Социальная мысль в Средние века была еще придавлена религиозной ортодок-

сией. Первые прорывы к интеллектуальной автономии совершались в более безопасных областях, сначала в философии, а потом в математике и естественных науках. Но институты, ставшие пионерами в этих идейных областях, дали тот оселок, к которому позже смогли припасть социальные науки.

Главным вкладом Средних веков в последующую мысль была не идея, а институт. Таким вкладом было рождение университета. Университеты возникали в 1100–1200-х годах, а преподаватели и студенты концентрировались в Париже, Болонье и Оксфорде. В конце концов преподаватели (и иногда студенты) приобретали хартии от церкви или государства на создание автономного самоуправления. Интеллектуальное сообщество впервые приобрело свою собственную цитадель: осознание четкой границы между внутренним и внешним, по крайней мере в принципе, получило право вести свои собственные дела. Эта автономия возникала постепенно. Преподаватели и студенты по большей части занимались теологией и правом и в меньшей — медициной: практическими традициями внешнего мира, а не самими интеллектуальными предметами. Университетские степени изначально были необязательными для большинства типов карьеры, поскольку большинство священников были едва грамотны и церковные посты часто являлись политическими синекурами. Конечно, такова была ситуация и с большинством правительственных чиновников в феодально-патримониальных государствах того времени. Но папство начинало бюрократизироваться и университетские степени по теологии и каноническому религиозному праву становились престижными в среде амбициозных церковников, претендовавших на более высокие посты в Риме. В то же время коммерческое развитие в экономике Италии и других местах, а также диспуты по поводу собственности и других административных дел в набирающих силу секулярных государствах создавали рынок для адвокатов.

Официально университеты считались частями церкви, с которой были связаны преподаватели права и медицины, и, таким образом, они опирались на престиж религии и ее священных писаний. Люди интеллектуального склада скоро обнаружили, что их способности ценились в университетском мире как таковом и что они могут заниматься профессорской деятельностью. Тогда, как и сейчас, большинство студентов были просто искателями заработка и должностей, у них не было особых интеллектуальных запросов. Однако сеть автономных университетских корпораций разрасталась по городам Европы. Они были тем местом, где интеллектуалы вступали

в физический контакт друг с другом, изолированные от окружающего мира. Появилась возможность сделать профессорскую карьеру внутри этого сообщества, не выдавая никакой иной продукции, кроме интеллектуальной.

В период Позднего Средневековья начинает возрастать социальная ценность университетской карьеры, и это был длительный процесс. С ростом количества людей с университетским дипломом стали развиваться требования к образованию для религиозных и политических должностей, что в свою очередь вызвало социальную необходимость многолетнего образования для некоторых типов занятости. Количество университетов разрослось, и они включились в конкуренцию за привлечение студентов и наиболее выдающихся профессоров. Как обычно происходит в процессе конкуренции, интеллектуалы стали пытаться выделиться среди своих конкурентов новыми идеями. Новшества стали сменять долгие столетия традиции и догмы — не из-за того, что окружающее общество стало меньше ценить традицию, а в силу того, что внутри этого общества стал формироваться динамичный интеллектуальный рынок.

Эта ориентация на новизну впервые проявилась в тех университетских сферах, которые были наиболее изолированы от внешнего мира, и прежде всего на факультете философии. Изначально это был наименее важный из четырех факультетов. Высшие факультеты — права, медицины и теологии — готовили практиков для профессий, востребованных во внешнем университете мире, и придавали особую ценность традиции и ортодоксии. Философия изначально предоставляла только низшие научные степени (бакалавра и магистра), но докторской степени в этой сфере не существовало. Это был чисто подготовительный факультет, где студенты изучали логику, грамматику и тому подобные предметы в качестве школьных упражнений, которые предваряют изучение высших дисциплин. По этой причине преподаватели этих предметов не подвергались тому давлению в плане ортодоксии, как преподаватели высших дисциплин. Пьер Абеляр, Дунс Скот и Уильям Оккам начали рассматривать философию не столько как введение в теологию, сколько как независимую дисциплину, в которой могли вводиться свои новшества.

С точки зрения современной социологии организаций, здесь имел место феномен замещения изначальной цели. Разделение преподавательского состава превратилось из средства достижения цели в саму цель. Обычно в литературе по теории организации замещение изначальной цели рассматривается как патология, на-

пример, когда факультет бухгалтерского учета становится уже не формой услуги для самой организации, а начинает разрабатывать бухучет как независимую дисциплину. В истории интеллектуальных институтов, однако, такому роду трансформации средств в цели суждено было стать началом социального интереса в развитии знания ради самого знания. С возникновением университетов и прежде всего с развитием творческого потенциала факультета философии интеллектуалы приобрели свой собственный дом и свое собственное ощущение своих задач. С тех пор история человеческой мысли определялась взаимодействием между интеллектуальным сообществом и внешним миром. С одной стороны университеты были изолированы от обыденных практических проблем и ортодоксальных идеологических позиций, но с другой – существовали пути, которыми практические потребности просачивались к ним, представляя интеллектуалам новые стимулы и проблемы.

Однако философский взлет средневековых университетов не вел прямым путем к современной интеллектуальной жизни. В своем развитии университеты прошли через несколько волн экспансии и сжатия. Подъем их авторитета достиг своего апогея в 1300–1400-х годах, после чего престиж университетов резко упал. Во многих городах поток студентов истощился. В течение этого периода творческие интеллектуалы обычно оставляли университеты и искали возможности сделать карьеру за пределами университета под покровительством князей и богатых купцов. Этот поворот получил название эпохи Возрождения.

ВОЗРОЖДЕНИЕ:

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Своей славой эпоха Возрождения обязана прежде всего сфере искусства. Но эта эпоха обладает структурной важностью и для интеллектуального сообщества. Впервые со времен античности у интеллектуалов появилась возможность обеспечивать себя вне церкви, подразделением которой были средневековые университеты. Результатом этого перелома стала интеллектуальная идеология, известная как гуманизм, которая ставила секулярную культуру над религией в качестве высшего интеллектуального стандарта. Хотя вначале речь шла только о возрождении древнегреческой и древнеримской литературы, по большому счету наиболее важным мотивом стала идея о независимости светских интеллектуалов от церкви.

Типичный гуманист был работником развлекательного жанра при дворе какого-нибудь богатого патрона. Он часто служил частным секретарем, писал стихи, исторические труды или эссе, иногда занимаясь научными экспериментами. Для социальной науки эта ситуация имела неоднозначные последствия. Популярность интеллектуальной деятельности как своего рода зрелищного спорта (поскольку все это происходило не только до массовой медийной культуры, но и до массового печатания книг) означала, что существовал готовый рынок идей. В то же время роль интеллектуала оставалась в основном развлекательной. При этом особое значение придавалось драматической передаче и литературному стилю, а не точности и аналитическому проникновению в предмет. История стала одной из наиболее процветающих социальных наук. Но при этом исторические труды оставались поверхностными. Несколько действительно хороших историков не получили особой популярности (Франческо Гуиккардини, Флавий Бондус и некоторые другие), поскольку их ученость была слишком суха для тогдашних вкусов.

Большим интеллектуальным событием 1500–1600-х годов было возникновение не социальных, а естественных наук. Это случилось благодаря сочетанию различных социальных обстоятельств. С одной стороны, светские интеллектуалы эпохи Возрождения развивали науку как новый тип развлечения. Этот интерес был углублен благодаря взаимодействию с ремесленниками и покровительству правительства. Это было время технологических новшеств в области военного дела — революция пороха, географических открытий, интерес к навигации, коммерческой экспансии и медленных улучшений в области техник мануфактурного производства, которые нарастали к эпохе промышленной революции. Наука становилась не только развлекающей, но уже обещала приобрести практический смысл. Эти изменения были еще недостаточно сильными, чтобы произвести подлинный переворот в научной теории, но они совпали с другим институциональным изменением, которое предоставило недостающее звено. Таким изменением было возрождение университетов. 1500–1600-е годы засвидетельствовали вторую большую волну экспансии университетов после первой экспансии в Средние века и следующей в эпоху Возрождения. Приток новых практических идей и ренессансных интересов в сферу чистой теории университетских философий свел все эти звенья вместе для создания науки, как мы понимаем ее сегодня, науки как синтеза эмпирических данных с теоретическим обобщением. Та же самая институциональная комбинация возродила философию, столетиями

находившуюся в состоянии стагнации, и толкнула ее на новые тропы. Современная философия была создана в это же самое время, в 1600-е годы, людьми, вовлеченными в этот научный подъем: Френсисом Бэконом, Рене Декартом и Готфридом Лейбницем.

Социальные науки шли гораздо более торной дорогой. Идеологическую основу общества определяла смута этого периода, начавшаяся с Реформации, которая через религиозные войны столкнула католиков с протестантами и продолжалась до конца 1600-х годов. Если естественные науки могли оставаться относительно вне идеологии, у социальных наук такого выбора не было. Я говорю относительно, поскольку Галилей был осужден инквизицией, хотя, к счастью, в это время он уже был пожилым человеком и завершил свою научную работу. Но по большому счету наука хорошо развивалась и в католических, и в протестантских странах. Независимое абстрактное теоретизирование о социальном мире было редкостью. История, наиболее зрелая из социальных наук того времени, была задействована в религиозной войне для написания пропагандистских работ в пользу католиков или протестантов.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Религиозные войны обозначили институционный переход, важный для последующего идейного развития. С ростом армии в этот период короли начинают заменять феодальную знать и церковных советников администрацией гражданской бюрократии. Церковь была традиционным источником гражданских служащих, поскольку это был единственный многочисленный грамотный класс средневекового общества. Но в политических условиях того времени католическая церковь с ее верностью папе больше не могла служить опорой для королей, которые пытались построить свои собственные национальные государства.

Способ разрешения конфликта между церковью и государством должен был сыграть решающую роль в формировании характера интеллектуальной жизни каждого из народов. В протестантской Германии церковь стала составной частью правительственной бюрократии. Университеты, включая теологический и юридический факультеты, оказались абсорбированными государственными учреждениями. С введением в строй системы начального образования она также легко превратилась в подразделение центральной правительственной администрации. Таким образом, все интеллектуальные роли в Германии должны были превратиться в должно-

сти бюрократических государственных чиновников. Одним из следствий этого процесса стало превращение социальных наук, когда они возникли в Германии, в предмет официальных интересов в развитии информационной инфраструктуры и способов управления для правительственных нужд. Их первое появление здесь, получившее имя *Staatswissenschaft* (государственная наука), было сочетанием того, что можно было бы назвать публичным администрированием, и описательной статистики. Именно в этой германской среде впервые формируется костяк теории конфликта в социологии, вдохновленный, вероятно, ее тоном *Realpolitik*, принципами жесткой реалистической политики.

С другой стороны, Франция была расколота суровым внутренним противостоянием протестантской и католических фракций и в конце концов осталась номинально католической. Но французское правительство не менее германского стремилось к независимости от Рима. В соответствии с этим французы бросили университеты как бастионы католической ортодоксии и оставили их догнивать на лозе, отрезав от институтов официального набора кадров. Для набора кадров французы использовали светскую администрацию и интеллектуалов. Совершенно новая аристократия, *noblisse de robe*, возникла параллельно старой военной аристократии. Именно из этой бюрократической аристократии вышли такие социальные мыслители, как барон де Монтескьё, барон де Тюрго, маркиз де Кондорсе, Алексис де Токвиль. Поскольку лояльность университетов была проблематична, правительство учредило независимые академии и школы в Париже для инженеров и других государственных служащих. Позже, после Французской революции, Наполеон закрепил победу этой технической элиты полной отменой системы старых университетов, заменив их этими светскими школами. С другой стороны, система начального и среднего образования оставалась в руках церкви до второй половины 1800-х годов.

В результате французские интеллектуалы в качестве элитарной группы сконцентрировались в Париже, соревнуясь за небольшое количество высоких постов в академии и в *grandes ecoles* и собираясь в салонах своих аристократических покровителей. В то время как типичный немецкий интеллектуал был университетским профессором на среднем уровне иерархии гражданской службы, французский — был частью культурной элиты, близкий к коридорам власти и потенциально готовый к революционному перевороту. В то время как немецкий интеллектуал был педантичным ученым-систематиком, французский — был ориентирован скорее не на чи-

стью науку, а на политические споры, и в своем изложении идей обычно тяготел к ясности, изяществу, бойкости и цветистости выражений. Можно, конечно, назвать это национальным характером, но это будет только метафорой. Скорее стоит говорить о влиянии различных социальных институтов на структуру интеллектуальной жизни. Позже именно это станет социальной средой той социологической традиции, которую я назвал дюркгеймовской.

Англия представляет собой третий пример. Из всех европейских обществ только здесь мелкой земельной аристократии удалось взять в свои руки бюрократическое развитие центрального государства. Успех протестантской Реформации в Англии сделал ее университеты независимыми от Рима и поэтому приемлемыми для политической элиты. Но тот факт, что правительство не располагало развернутой бюрократической системой, означал, что у университета не было здесь такой функции. Факультеты высшего ранга (теология, медицина, право) разложились полностью. Юриспруденция уже преподавалась главным образом вне университетов специалистами по общему праву в Лондонском суде. Деятельность английских университетов свелась к подготовке младших сыновей джентри к синекурам в церкви. Университеты играли таким образом лишь побочную роль в английской интеллектуальной жизни начиная с 1700-х и вплоть до административных реформ второй половины 1800-х годов.

Интеллектуальные занятия здесь почти полностью ограничивались сферой частных удовольствий для богатых представителей джентри. Само по себе это не кажется благоприятной основой для развития интеллектуальных дарований. Иной джентльмен — женщины были практически полностью исключены из этой сферы сексистскими практиками своего времени — мог иметь определенные интеллектуальные интересы, но это отнюдь не предполагало обучения студентов и ведения преемственной линии исследований. Если случалась необходимость в оборудовании или финансировании научных экспедиций, это всецело зависело от наличия денег у заинтересованного лица. Даже если делались новые открытия, не было никаких гарантий, что последующий исследователь продолжит дело своего предшественника. В результате английские мыслители в области естественных наук, философии или социальных наук в равной степени были чрезвычайно индивидуалистичны. Английская интеллектуальная история полна идиосинкратических характеров, подобных пастору Томасу Мальтусу, Фрэнсису Гальтону или Чарльзу Дарвину, но в ней отсутствуют установившиеся школы или

движения, соизмеримые с теми, которые мы встречаем во Франции или в Германии.

Это уравнивалось, однако, постоянными контактами Англии с интеллектуальной жизнью континента. Английские мыслители могли давать новые творческие импульсы тем направлениям науки, которые зачинались за рубежом, и забрасывать свои идеи в их научные движения. Мы увидим пример такого англо-французского взаимодействия идей в третьей главе, где речь идет о традиции Дюркгейма. Организация английского социального мира вряд ли смогла бы сохранить свой долгосрочный рост и потенциал, если бы она существовала в изоляции. Но как часть международной сети она предоставляла те возможности, которые были ограничены или исключены в Париже или в германских университетах, и таким образом позволяла ввести некоторые примечательные новшества. В течение нескольких столетий Англия также обладала преимуществами самой богатой страны Европы, что означало наличие средств у многих представителей джентри и представителей среднего класса, которые благодаря этим средствам могли посвятить себя интеллектуальным занятиям.

Здесь также нужно упомянуть несколько других стран. Самая важная из них – Шотландия, поскольку ее университеты, подобно германским, сохранили значение для церкви и для правительства, благодаря чему в Шотландии имелась систематическая университетская основа, отсутствовавшая в Англии. Когда-то гордые Италия и Испания пребывали в экономическом упадке и их университеты находились в руках католической реакции. Это было своего рода наследие холодной войны, оставшееся от противостояния протестантской Реформации. Интеллектуальные творческие дарования не совсем исчерпались в Италии, особенно в среде космополитических интеллектуалов, ориентированных на Париж.

Для социальных наук периодом подъема были 1700-е годы. В характерном порыве самоуверенности мыслители той поры называли то время эрой Просвещения. Светское интеллектуальное сообщество формировалось в более богатых странах Европы со времен Ренессанса: отчасти в университетах Германии и Шотландии и в знаменитых технических школах Франции, отчасти среди интеллектуалов, развлекавших наиболее изысканные салоны аристократии (особенно в Париже), отчасти в среде земельной аристократии – особенно во Франции, Англии и Италии, – которая пользовалась своей личной культурой как отличительным знаком. Для этого пространного сообщества 1700-е годы представляли собой ве-

ликую эпоху. Религиозные войны закончились, и веротерпимость стала настроением дня. Правительственная бюрократия и некоторые новые школы открывали возможности карьеры для интеллектуалов, а растущий уровень благосостояния давал аристократам-патронам и интеллектуалам из среды джентри множество ресурсов для поддержания своих увлечений. Условия для интеллектуальной деятельности были исключительно благоприятны.

Интеллектуал эпохи Просвещения был мыслителем-универсалом. Среди них были такие фигуры, которые обогатили сразу несколько областей: Тюрго и Адам Смит писали на темы экономической и социальной философии; философы Локк, Лейбниц, Вольтер, Юм и Кант внесли вклад в естествознание, политику, литературу и историю; работы Монтескьё, Вико и Кондорсе можно отнести в равной мере к социальной философии, социологии, политическим наукам, антропологии и всеобщей истории. Эти дисциплины еще не существовали, так как в то время не было отдельных интеллектуальных сообществ, которые дали бы им специфические идентичности и критерии. Поэтому интеллектуальные занятия носили универсальный характер. Можно обратить внимание на две примечательные особенности того типа идей, которые породила эта ситуация. Впервые мыслители пытались выступить с *общими объяснениями* социального мира. Они могли отказаться, по крайней мере в принципе, от поддержки существующей идеологии и попытаться заложить общие принципы, объясняющие социальную жизнь. Эти принципы вовсе не обязательно были особенно изощренными, но они знаменовали начало социальной науки в смысле ясной формулировки целей того, что она может дать. Вероятно, здесь сказывалось влияние естественных наук, которые находились на гребне успеха своих объяснений и общественной популярности. Исаак Ньютон был героем эпохи математики, в моде были астрономы и биологи. Всеобщая неудовлетворенность догматизмом и ужасы религиозных войн создали благоприятную почву для социальных мыслителей, которые приобрели некоторую свободу для создания науки об обществе. Другим способствовавшим этому фактором был спокойный политический климат в эпоху бюрократических просвещенных деспотов. В Неаполе Джанбатиста Вико создал систему мировой истории, которую он назвал *La Scienza Nuova* – «Новая наука».

К тому же у социальных мыслителей появились некоторые новые и удивительные материалы для рассмотрения: вновь открытые племенные и незападные сообщества Америки, Африки и Востока. Информация о них поступала со времен морских вояжей второй

половины 1400-х годов от все возрастающего количества путешественников, и общественный интерес к ним отражался в большом количестве популярных книг. На основе этих описаний социальные философы Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо создали концепцию «естественного состояния», в русле которой они теоретизировали об устройстве своих собственных обществ. Концепции эволюционной последовательности стадий были выдвинуты Тюрго, Кондорсе и графом де Сен-Симоном и достигли своей кульминации в эксплицитной социологии Огюста Конта.

В целом эту эпоху нельзя назвать веком эмпирических исследований. Племена Индии и древние цивилизации Персии и Китая были известны скорее по слухам, чем благодаря систематическому изучению. Только историки, в силу самой природы своей деятельности, занимались фактическим анализом. Они ориентировались главным образом на популярную аудиторию и придавали чрезвычайное значение литературным критериям. Наиболее видными историками выступали люди типа Эдуарда Гиббона, который пересказал ранее известные исторические факты, не раскрывая никаких новых данных. Социальная роль интеллектуала эпохи Просвещения не оставляла слишком много места для педантичных исследовательских усилий. Наибольший успех обеспечивало то, что могло немедленно удивить и захватить. Отсюда литературщина и спекулятивно-философский дух, характеризовавшие большую часть написанного.

Но начало было положено. Специализированные дисциплины социальных наук уже закладывали фундамент своих собственных интеллектуальных сообществ. Когда они сформировались, популярные интересы публики отошли на второй план, и внутреннее идейное соревнование между дисциплинами побуждало их к развитию более высокого уровня профессионализма.

ЭКОНОМИКА: ПЕРВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА

Первая область, в которой начинает систематически накапливаться фактическая информация, была связана с расширением административной бюрократии в 1700-х годах. Меркантилистское государство пыталось регулировать коммерцию, осуществлять контроль за валютой и внедрять сложные системы налогообложения. В этой обстановке чиновники и интеллектуалы, надеясь на консультационные заказы от государства, выступили с работами на темы экономической политики. В Германии, где правительственная бюрократия

была тесно связана с университетами, профессора права создали дисциплину, которая называлась статистикой, или *Staatswissenschaft*, в центре которой находился сбор экономической информации. В корпусе этой разрастающейся литературы было много описаний, но недостаточно общих принципов. Можно сказать, что ее практическая ориентация оказалась слишком сильна, чтобы позволить какой-то интеллектуальный отрыв от непосредственного материала.

Собственно теоретические интересы пробуждались по мере того, как экономика стала входить в сферу интересов более широкого интеллектуального сообщества. В Англии и Франции начали формироваться политические фракции и зародыши политических партий. Коммерческое развитие привело к формированию делового класса, независимого от правительства и старых правительственных и религиозных фракций. Интеллектуалы обращались к этой новой аудитории, создавая партийные трактаты по экономической политике. Но в контексте интеллектуальной жизни того времени аргументы по специфическим поводам обобщались в философском дискурсе, что стимулировало появление экономической теории.

Во Франции в 1760-х годах доктор медицины Франсуа Кюне сформулировал экономическую философию, которая получила название физиократической доктрины. Эта доктрина с ее обоснованной защитой коммерческого фермерства как источника всего богатства приобрела множество последователей в правительстве и интеллектуальных кругах. Это, конечно, импонировало сельскохозяйственным интересам. Вскоре после этого в своей публикации «Богатства наций» в 1776 году Адам Смит обратился к интересам бизнеса. Это была, вероятно, самая популярная книга по общественным наукам, когда-либо опубликованная. Она прошла через множество переизданий в Англии и буквально через несколько лет была переведена на французский, немецкий, итальянский и многие другие языки. Работы Адама Смита отличал приятный литературный стиль, но он не был всецело оригинален и только обобщал уже доступные материал и экономические идеи. Политически его популярность была вызвана той стройной цепочкой аргументов и лозунгов, которые поддерживали политику *laissez-faire* в экономических вопросах. Работы Адама Смита также отличала большая теоретическая направленность по сравнению с его предшественниками. Он был профессором моральной философии в университете Глазго. Поэтому его публикации опирались не только на политические аргументы, но и ориентировались на обобщения академической философии. Мож-

но сказать, что Адам Смит дал экономике интеллектуальную идентичность как профессиональной дисциплине, хотя, конечно, об экономике писали и до него. Этому благоприятствовала его социальная позиция: он происходил из семьи шотландских гражданских служащих и через свои связи в шотландской дипломатической службе был знаком с разного рода интеллектуальными кругами в Париже. Адам Смит сочетал в себе множество ролей, что часто способствует интеллектуальному творчеству. Он понимал отношения административных экономических интересов изнутри, а также был знаком с политически популярными экономическими публицистами вроде Кюне. Своему статусу профессора он был обязан склонностью к систематизации, позволившей ему превратить этот материал в основу науки.

ПОДЪЕМ ПУБЛИЧНЫХ ШКОЛ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В то время, когда интеллектуалы эпохи Просвещения находились в центре внимания, в Германии происходила бесшумная революция. В Пруссии и в других частях Германии учреждались бесплатные и обязательные начальные школы раньше, чем где бы то ни было в мире. Их задачей было воспитать покорность государству. Изначально они были укомплектованы церковными служками низших разрядов из чиновного аппарата государственной церкви, что привело к новому подъему статуса теологических факультетов университетов и факультетов свободных искусств, готовивших для них студентов. Преподавательские должности обычно заполнялись выпускниками университетов, ожидавшими постов в церкви или в университетах. Когда были учреждены средние школы, называвшиеся в Германии гимназиями, количество преподавательских должностей увеличилось еще больше. Количество студентов университета в 1700-е годы также резко возросло. Не удивительно, что все они стремились к занятию профессорских должностей, то есть к самым высоким и лучше всего оплачиваемым преподавательским позициям, а не к преподаванию в начальной и средней школе. В той мере, в которой это было возможно, они пытались перейти именно на первые позиции. В современных Соединенных Штатах такой переход был бы невозможен, поскольку это совершенно различные образовательные системы. Но в Германии они оказались частями единой бюрократии, и интеллектуалы смотрели на эти системы как на ступеньки одной и той же служебной лестницы.

Результатом этой экспансии и соревнования стало значительное давление, направленное на увеличение количества университетских профессоров на факультетах свободных искусств и на повышение их статуса. В новых университетах Пруссии, особенно в недавно основанном Берлинском университете, преподаватели вновь начали творческую конкуренцию с интенсивностью, невиданной со времен Высокого Средневековья. Предметом особого внимания для них стали подготовительные предметы, такие как классические языки (латынь и греческий), и они превратили их в научный предмет филологии (науки о языке), что впоследствии оказало революционное влияние на исследования в области истории и антропологии. В апогее этого периода интеллектуального соревнования и притока студентов в университет — речь идет о периоде между 1780 и 1820 годом — философия, которая прежде была только подготовительной дисциплиной для изучения теологии и права, претерпела своего рода интеллектуальную революцию. Иммануил Кант, Иоганн Фихте, Фридрих Шеллинг, Георг Гегель, Артур Шопенгауэр и другие создали совершенно новые формы философии и по ходу дела провозгласили, что их область исследования — это не просто наука, но высшая форма знания. По словам Канта, философия должна была пережить «коперниковскую революцию» и стать «царицей наук». В результате этого интеллектуального брожения произошло важное структурное изменение: в 1810 году факультет философии (свободных искусств) удостоился статуса аспирантского факультета и был приравнен таким образом к юридическому, медицинскому и теологическому факультетам, а степень в области искусств (высшим пределом которого стала степень Ph.D., а не M.A.) стала достаточной для получения преподавательских постов в государственных школах вместо степени в области теологии.

Это новшество, впервые введенное в новом университете в прусской столице Берлине, было быстро воспринято в остальных 20 университетах Германии. Германия в это время состояла из десятков независимых государств, большинство из которых имело свои собственные университеты. Пруссия была самым сильным государством среди прочих и еще не унифицировала Германию военным путем, что случилось только в 1871 году. В результате этой реформы германские университеты приобрели лидирующую позицию среди мировых университетов практически во всех областях науки и исследования. Как и в случае со средневековыми университетами, происшедшее опять можно объяснить с точки зрения организационного «замещения изначальной цели». Факультет искусств зани-

мался только подготовкой студентов для более значимых факультетов, но с изменением его функции на подготовку преподавателей для системы государственных школ у него появилась возможность утвердить независимый статус своей деятельности. В философии не существует никакого внутреннего критерия выделения необходимых для каждого преподавателя знаний (в отличие от теологии, адвокатской практики или медицинского дела) и потому нет однозначного критерия того, как им нужно обучать.

Более того, специализированная функция обучения преподавателей теперь давала факультету искусств легитимное право быть отдельным и равным подразделением организации. С этой независимостью университетские профессора начинают развивать свой предмет и у них возникает возможность поднять свой престиж. Необходимость конкурировать друг с другом за посты сделала ученую продуктивность важной целью, впервые с тех пор, как Пьер Абельяр и его оппоненты привлекали студентов. Результатом стало развитие философских и гуманистических предметов, включая математику, которая претерпела глубокую революцию в Геттингене и Берлине благодаря открытию области современной высшей абстрактной математики. Теперь преподаватели старых высших факультетов подражали своим новым коллегам и новые науки выделились из юридического дела (история права, дающая начало многим разделам социальных наук) и из медицины (давая начало современным университетским лабораторным наукам).

Университетской революции в Германии будут подражать во всем мире. Франция, располагавшая целой сетью технических школ и академий в Париже, не особенно нуждалась в этом соревновании, по крайней мере в естественных науках. Но Франция тем не менее постепенно все больше и больше отставала от германской науки, и ко второй половине 1800-х годов французские ученые все чаще стали путешествовать в Германию в качестве зарубежных гостей, чтобы посмотреть, что можно заимствовать для оживления своей собственной системы. В 1885–1886 годах Эмиль Дюркгейм был в числе французских интеллектуалов, которые ехали «посидеть у ног немецкого учителя». После поражения Франции в Франко-прусской войне (1871) Франция была готова реформировать свои отсталые университеты по германской модели и учредить систему публичных средних школ, которая могла бы стать основой этой реформы.

В Англии университеты также пришли в упадок. Интеллектуалы-любители здесь продолжали доминировать, и люди следовали гер-

манским университетским математикам, ученым и гуманитариям и читали их труды. В 1860-х годах английское правительство реформировало свою систему гражданской службы для присвоения позиций через систему соревновательных экзаменов, и университеты стали совершенствоваться через заимствование новейших достижений Германии. Еще в 1890-х годах англичане подобно Бертрону Расселу ехали учиться в Германию, чтобы подтянуться до последних интеллектуальных достижений. Особенно сильна была эта тенденция в Соединенных Штатах. Хотя в Америке были сотни колледжей, они следовали традиции религиозно ориентированного преподавания вплоть до открытия университета Джона Хопкинса в 1876 году как прямой имитации германской аспирантуры. В течение жизни нескольких поколений, вплоть до начала 1900-х годов, типичная академическая карьера американца по завершении обучения в американском колледже включала поездку в Германию для получения более продвинутого образования. Но на рубеже веков стала быстро распространяться модель Джона Хопкинса. Она получила особую известность после реформы курса обучения в Гарварде, которая включала в себя возможность выбора учебных курсов, и после основания Чикагского университета в 1892 году. Последний использовал миллионы Джона Рокфеллера, чтобы переманить из других университетов наиболее выдающихся ученых во всех областях. Едва ли будет преувеличением сказать, что именно в этот период было положено начало американской интеллектуальной жизни. До этого в Америке были свои романисты и поэты, но ее влияние на мировом уровне начинается с периода адаптации германской университетской революции.

Университет как организационная форма обладает значительными преимуществами перед более неформальными сообществами интеллектуалов, преобладавшими в салонах французского Просвещения или в мире английских джентри. Университеты развивали знания систематически, поскольку их надо было преподавать в учебных курсах. Они предоставляли большую свободу от давления идеологии и требований непосредственной практической пользы и имели возможность уделять больше внимания чистой теории. При этом они предусматривали последовательное обучение студентов, когда различные направления мысли и исследования могли развиваться сразу несколькими поколениями. В результате университетские ученые в конце концов обогнали большинство своих неакадемических конкурентов. Все зрелые области интеллектуальной жизни, за исключением литературных и худо-

жественных течений, оказались включенными в круг университетских дисциплин. Этот процесс был уже замечен в физике и математике в конце 1700-х годов, когда французские инженерные школы восприняли эти предметы от любителей из среды джентри. С распространением университетской реформы процесс пошел еще дальше, и университеты занялись философией и социальными науками.

Этот процесс весьма благоприятствовал развитию знания, тем не менее не все интеллектуалы воспринимали его как положительное явление. Впервые в своей истории интеллектуальное сообщество раскололось изнутри — не в связи с вопросом о религиозной или политической лояльности своих членов, а в связи с расколом в самом интеллектуальном сообществе. Независимые и не связанные с университетом интеллектуалы оказались враждебными новой профессиональной форме производства знания. Поскольку революция университетов имела заметное влияние на естественные науки, первым симптомом стало отчуждение научных и литературных интеллектуалов. Уже в конце 1700-х — начале 1800-х годов литературные знаменитости, такие как Уильям Блейк, Уильям Вордсворт и лорд Байрон, отвергли холодный научный расчет и соответствующее ему интеллектуальное умонастроение. Романтическое движение стало совершенно новым веянием во внутренней политике интеллектуального мира. В противоположность этому типичный представитель французского Просвещения (например, Вольтер) восхищался как наукой, так и литературой, не усматривая никакого противоречия между ними. Романтизм был очень распространен в Германии именно в тот период, когда происходила революция университетов. Философы, хорошей иллюстрацией здесь мог бы служить Гегель, смотрели на математику как на низшую поверхностную и бездуховную форму знания. И такое отношение укоренилось (такая позиция существовала даже во внутриуниверситетской жизни) вплоть до сегодняшнего дня. Немного забежим вперед: это было специфически немецкое романтическое направление, которое подчеркивало субъективную сторону социологии в противоположность более прозорливому направлению, нашедшему отражение в позитивизме Конта и Дюркгейма.

Слабость версии интеллектуального сообщества, предложенной университетскими профессорами, была оборотной стороной ее силы. Ее методический характер и бюрократическая организация вызвали усиливающуюся специализацию по уже давно хорошо знако-

мым направлениям. Если направления этой теории были заложены с самого начала, дальнейшие новшества становились нежелательными. По этой причине новые направления мысли в социальных науках обычно складывались во взаимодействии между университетом и внешним миром. Практические и идеологические интересы поднимали новые проблемы и указывали на новый фактический материал, который университетские интеллектуалы постепенно превращали в предмет систематического исследования. Но с неуклонным расширением штата профессоров специализация стала неизбежной. Различные социальные науки теперь начали раскалываться на отдельные дисциплины, и постепенно функция интеллектуала строгого образца, «интеллектуала на все руки», сошла на нет.

РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИН

История становится профессиональной

Первой социальной наукой, испытавшей эффект академической революции, стала история. Филологические исследования, особенно древних языков, приобрели преимущественно исторический уклон. Значительная часть эрудиции Иоганна Гердера, Георга Гегеля и немецких философов-идеалистов была связана с изучением классических греческой и римской культур, и их представление о человеческом существовании поэтому носило преимущественно исторический характер. В Берлине после 1810 года классический филолог Бартольд Нибур распространил свои научные методы с языка на родственную ему область римской истории. Он заложил основы систематического исторического исследования в своем анализе аутентичности документов и анализе предубеждений в источниках — в так называемой германской школе критики текстов. Вскоре после этого профессор права Фридрих фон Савиньи начал критическое изучение истории права. В 1833 году, опять же в Берлине, Леопольд фон Ранке начал свой исследовательский семинар по современной политической истории — тем самым было положено начало предпринятию академической исторической науки. Конечно, и до установления этой профессиональной базы во многих местах писались исторические работы, и писались иногда с блеском. Немецкие профессора выдвинули дополнительные требования к историческим сочинениям, подчеркивая важность опоры на первоисточ-

ники вместо опоры на предшествовавшие работы и выказывая заинтересованность в устранении влияния вопросов литературного стиля или идеологии на представление исторической реальности. Фон Ранке сформулировал лозунг академических историков: представлять события «wie es eigentlich gewesen» — «как они реально произошли», а не как мы хотели бы это видеть. Это была идеология ученой профессии, провозглашающей свою независимость от интересов публики.

К сожалению, этот идеал имел ограниченные последствия. Существует бессчетное количество исторических фактов, и для того, чтобы рассказать связную историю, историк должен выбрать какую-то основу. До академической революции традиционные цели истории заключались главным образом в поддержании (или подрыве) легитимности какой-либо религиозной или политической фракции или рассказе забавных историй литературного характера. В этом же русле свою научную технику часто использовала и академическая история. Идеал незаинтересованной истории, выдвинутый Ранке, органичнее всего осуществлялся в менее идеологизированных областях экономической, литературной и социальной истории, а также в политической истории отдаленных от нас эпох. Историю продолжали писать и за пределами университетских стен, особенно в форме мемуаров отставных политиков (хороший пример — Уинстон Черчилль). Но и сегодня научные работы по современным проблемам остаются ангажированными, как это и было всегда.

Тем не менее в 1800-е годы произошел значительный подъем научных стандартов, несмотря на то что история писалась в атмосфере растущего национализма. И если в каждой из стран национальное самосознание поддерживало предрассудки самодовольства, оно также мотивировало ученых к своего рода научной гонке в раскрытии своего прошлого. XIX век стал веком созревания истории как науки. В начале этого века даже высокообразованный человек, подобный Гегелю, имел достаточно смутные и неясные представления о мировой истории. В конце столетия историческое знание пришло к пониманию широкой концепции истории, которая с тех пор практически не изменилась, оставляя историкам XX века только работу над деталями. Этот шаг стал чрезвычайно важным для социологии. Макс Вебер, творческий взлет которого пришелся на начало 1900-х годов, уже мог опираться на богатые сравнительные данные, для которых такие ученые, как Карл Маркс и Герберт Спенсер, родились слишком рано.

Экономисты становятся учеными

Как уже было показано выше, экономика выделяется в особую дисциплину и особое интеллектуальное сообщество примерно во времена Адама Смита. Еще столетием позже Англия сохраняла свое лидерство в экономике. Большую часть этого времени экономисты творили за пределами академического мира. Ведущие мыслители этого периода Давид Риккардо и Джон Стюарт Милль активно занимались практической политикой и работали в бизнесе, первый в качестве брокера на бирже и инвестора, а второй в качестве сотрудника Ист-Индской компании. То же самое можно сказать и о бывшем пасторе Томасе Мальтусе, назначенном в колледж Ист-Индской компании в 1801 году, после провозглашения его известной доктрины о том, что бедность вызывается повышенным уровнем воспроизводства низших классов. Существовало и несколько академических должностей, но они не были связаны ни с высоким жалованьем, ни с престижем, ни с надежностью. Одну из них в Оксфорде занимал Нассау Старший.

В этот период экономика рассматривалась преимущественно как политическая доктрина. Адам Смит поставил в центр экономики функционирование рыночной системы, и последняя выступала одновременно и как интеллектуальная концепция, и как политический идеал. Идейная сторона его экономики использовалась для обоснования доктрины *laissez-faire*, и поэтому она поддерживалась главным образом фракцией бизнеса. В результате давней ассоциации экономики с миром практической политики правительственные комиссии расследования собирали фактические данные, хотя этот материал особо не использовался для развития и проверки теории научным образом. Экономические законы просто выводились и провозглашались, готовые к использованию для разработки заключений правительственных программ.

Наиболее неожиданная попытка создания научной экономики в этих условиях была предпринята Карлом Марксом. После своего безуспешного участия во французской и немецкой революциях 1848 года Маркс жил в изгнании в Англии, оставаясь аутсайдером в британском экономическом истеблишменте. В идейном плане Маркс вполне мог бы стать его частью: получив подготовку немецкого университетского философа, он был гораздо больше ориентирован на систематические теоретические обобщения по сравнению с английскими экономистами. Радикализм Маркса стоил ему карьеры университетского профессора, но он же дал ему

толчок к развитию нового типа теоретической системы. Маркс представляет собой пример сочетания разных ролей: он взял английскую буржуазную политэкономия и фактические исследования условий жизни рабочего класса и выступил в роли немецкого философа, обобщающего их результаты для создания новой теоретической и эмпирической экономики. Но система Маркса была и политической системой, при этом весьма радикальной. Именно поэтому в период его жизни она оставалась практически незамеченной официальным интеллектуальным миром. Система Маркса становится заметной и начинает свою *интеллектуальную карьеру* только после превращения германской социал-демократической партии (то есть социалистов) в парламентскую фракцию в 1880–1890-х годах. Но уже задолго до этого коммунистическая *политика* Маркса сумела проникнуть в растущие подпольные организации. Марксизм был официальной доктриной социал-демократов, и их партийные газеты, журналы и школы давали возможность марксистским интеллектуалам выступать в роли их редакторов и преподавателей. Эта ситуация вызвала подъем марксистской экономики, на рубеже веков привлекая внимание официального интеллектуального мира.

Между тем в официальной экономике происходили внутренние революционные изменения. Около 1870 года она избавилась от традиционных классических концепций и переключилась на более технический математический анализ предельной полезности и анализ общего равновесия на рынке. Эта так называемая маргиналистская, или неоклассическая, экономика была обязана своим возникновением Уильяму Джевонсу, Френсису Эджворту и Альфреду Маршаллу в Англии, Леону Вальрасу во Франции и Карлу Менгеру в Австрии. В начале этого процесса экономика еще оставалась политической доктриной. В соответствии с этим экономика могла проникнуть в университеты и превратиться в техническую академическую дисциплину только при условии принятия университетами либеральной позиции (*laissez-faire*). Впервые это происходит в Англии после реорганизации британских университетов реформой гражданской службы в 1864 году. Поэтому в плане осуществления неоклассической (то есть академической) революции Англия оказалась особенно значимой.

Германия представляла собой особый случай. Немецкие университеты были специализированными научными институтами задолго до всех прочих. Начиная с 1700-х годов здесь были учреждены должности для экономистов, связанные с преподаванием

административной науки. Но политическая позиция либералов британского стиля была не приемлема в Германии с ее аристократической традицией и тяжеловесной правительственной бюрократией. Германский академический мир, особенно после 1850 года, или исходил из консервативных позиций, или был ориентирован на идеологию всеобщего благосостояния (а иногда и на то и на другое). В обоих случаях здесь не было разговоров об автономии бизнеса и свободном рынке. Германские экономисты вели серьезную научную работу, но они концентрировались на истории институтов, а не на законах чистого рынка. Новые идеи маргиналистской теории подвергались критике за отсутствие реализма и апологию капиталистической идеологии. Некоторых германских профессоров экономики даже называли *Kathedersozialisten* (социалистов на стуле) из-за их приверженности к консервативной форме социализма². Все это стало тем историческим фоном, на котором возникает социология. Макс Вебер начал свою карьеру как экономист и принимал участие в спорах между соперничающими школами: исторической, марксистской и маргиналистской. В Соединенных Штатах Торстен Веблен и Джон Коммонс были известными реформаторами и сторонниками институциональной экономики. По сути дела, они транслировали германскую традицию через Атлантический океан в тот период, когда американские университеты проходили процесс реформ по немецкой модели.

Франция представляет собой противоположный пример. Здесь уже с 1830-х годов идеологи бизнеса крепко сидели в седле и контролировали все должности, связанные с преподаванием экономики в Коллеж де Франс и административных школах. Здесь

² *Kathedersozialisten* — презрительное название группы немецких профессоров экономики, которые заложили идейные основы социальных реформ Бисмарка. В 1873 году они основали *Verein für Socialpolitik*, которая постепенно превратилась во влиятельную организацию германоговорящих экономистов. Опираясь на эволюционную теорию, они мыслили телеологически и исходили из универсальных идеалов, которые многие социологи считали слишком абстрактными и оторванными от конкретных общественных реалий. Их программа реформ поэтому давала слишком абстрактные предписания. В связи с кабинетным характером их идей Торстен Веблен называет их «социологами на стуле» (*socialists of the chair*) в одной из своих статей. *Veblen, T. The Army of the Commonweal, in Essays in Our Changing Order.* — New York: Viking, 1894/1949. — Прим. перев.

в академических учреждениях не было должностей, ориентированных на исследования, но были синекуры для политической и интеллектуальной элиты, больше заинтересованной в публичных заявлениях, чем в технической экономической теории. Поэтому профессиональные экономические труды математика Антуана Корно и инженера Леона Вальраса не были приняты, хотя последний, изобретатель общей модели равновесия, впоследствии приобрел репутацию самого крупного из всех теоретических экономистов. Вальрасу пришлось принять должность в Швейцарии, где он вдохновил другого бывшего инженера, итальянца Вильфредо Парето, на новые разработки экономической теории. Уже в преклонном возрасте Парето развил циклическую теорию в социологии, которая дополнила его теорию экономического цикла. Итальянские университеты, обновленные по немецкому образцу в конце столетия, стали главными центрами развития экономической теории благодаря влиянию Парето. Австрия, где университеты следовали немецкому образцу, но в правительстве которой было более либеральное деловое влияние, породила другого пионера теории предельной полезности, профессора права Карла Менгера. Скандинавские университеты, где условия были сходны с Австрией, также стали центрами современной неоклассической экономики.

XX век предоставляет и другое доказательство этой политической формулы. Совершенствование системы сбора государственной статистики в 1920-е годы привело к теоретическому развитию национальных бухгалтерных моделей с их принятыми и сегодня показателями, такими как валовый национальный продукт (ВНП). Соединенные Штаты скоро стали занимать лидирующие позиции в экономической науке уже в силу самой многочисленности профессорских должностей и разрастания университетов в массовые системы, несопоставимые ни с какими другими в мире. Здесь экономика, сконцентрированная на бизнесе, была не только приемлема, но и принималась как идеологический центр, и поэтому только британская либеральная традиция рассматривалась в качестве нормы. Германский пример иллюстрирует важность политики. С падением консервативной Германской империи и подъемом либеральной Веймарской республики в 1920-е годы Германия заняла свое место в классической экономике британского образца. Несколько неожиданно нацистский период в Германии и фашистский период в Италии мало повлияли на академическую экономику. Маргиналистская модель, особенно в той форме, которую

практиковал Джон Мейнард Кейнс, стала практическим инструментом для государственного управления деловой системой с акцентом на всеобщее благосостояние и поэтому подходила почти для всех государств XX века. Основным исключением был советский блок, в котором конкурирующая форма экономики сочеталась с политической идеологией, марксизмом. Экономика как наиболее политизированная социальная наука остается и сегодня всеобщей теорией только в той степени, в которой она совместима с доминирующей политикой государства, внутри которого она практикуется.

Психология становится независимой

Психология складывается из трех основных составляющих: философии, медицины и педагогики. Спекулятивная философия от Платона до Артура Шопенгауэра и Рудольфа Лотце имела дело с разумом и способностями знания и восприятия. С подъемом медицинских исследований в начале XIX столетия к этому предмету стали подходить с точки зрения исследования нервной системы. К середине 1800-х годов германские университеты стали ведущими центрами этих исследований. Экспериментальная психология возникает на стыке этих двух традиций. Рост количества ставок в области физиологии после первого периода экспансии вызвал приток физиологов и распространение их методов в крупной, но застойной сфере философии. Бывший физиолог Вильгельм Вундт учредил первую европейскую лабораторию по изучению данных человеческого сознания экспериментальными методами. В это же время теми же самыми вопросами занимался американский исследователь в области медицины Уильям Джеймс. В академическом мире подход Вундта стал довольно успешным. Вундт и его коллеги, экспериментальные психологи, привлекли большое количество студентов из Германии и из-за рубежа, и члены этой группы распространили психологические исследования по всему миру. Несколькими десятилетиями позже германская психология воплотилась в школе гештальта в психологии восприятия и в одном из ее подразделов — социальной психологии под предводительством Курта Левина.

Психология в Германии, однако, оставалась одной из специализаций в рамках факультетов философии и продолжала быть связанной с изучением традиционного философского предмета — сознания. В Соединенных Штатах психология (главным образом воз-

главляемая учениками Вундта, несмотря на ранние лабораторные работы Уильяма Джеймса) тоже начиналась в рамках философских факультетов. Но американские университеты быстро умножали число студентов и, соответственно, преподавателей. Позже, в начале 1900-х годов, психология смогла выделиться в отдельный факультет. В тот период когда американская психология пыталась отстоять свою независимость, сформировалась бихевиористская программа. Вместо интроспективных попыток пробраться к иллюзорной и донаучной области разума американские бихевиористы провозгласили предметом научной психологии законы явного поведения. С социологической точки зрения это была идеология академической фракции, пытавшейся резко дистанцироваться от философии для того, чтобы учредить самостоятельный профессорский пост в этой области. И эта борьба оставила американской психологии специфически бихевиористское наследие. Прошло 50 лет, прежде чем эта тема утратила полемический уклон и сознание было, наконец, признано полноценным предметом психологических исследований.

В развитии психологии немецкий и американский пути не были единственными. Во французских и английских университетах в период движения Вундта в Германии философия рассматривалась как своего рода средневековый анахронизм. У британских и французских медицински ориентированных психологов не было особых стимулов для вторжения на территорию философии и превращения ее в науку о сознании. Вместо этого психология прямо критиковалась как часть науки. Но без привязки к философии не было стимулов для создания теории, и акцент во французской и британской психологии делался на прикладных аспектах. Во Франции бывший биолог Альфред Бине выступил с идеей тестов на уровень интеллигентности. Френсис Гальтон, британский джентльмен и исследователь, работал над статистическими параметрами, различающими генетически высшие и низшие способности. В последние годы элитистские предпосылки этих параметров стали предметом споров, но в течение десятилетий они были приемлемыми «научными» формами практической социологии.

В России возникла несколько другая психологическая традиция. Российские университеты находились под сильным немецким влиянием, но они проявляли меньше интереса к философии. Физиологи Иван Павлов и Владимир Бехтерев более радикально критиковали проблематику Вундта, исследуя условные рефлексy у животных.

С этого начиналась традиция психологических исследований, которая простиралась от нервной системы к тому, что русские называли второй сигнальной системой языка. После коммунистической революции материализм благоволил этой системе, а ее связь с педагогикой делала ее плодотворной областью для изучения развития ребенка. В Швейцарии мы находим другого наследника школы Вундта: можно проследить прямую линию влияния учеников Вундта на исследования Жана Пиаже в области когнитивного развития ребенка. В своей работе Пиаже объединил немецкий интерес к общей теории разума с эмпирическими данными. Для того чтобы смоделировать последовательные стадии развития умственных операций, он сначала использовал собственных детей, а потом и педагогические учреждения Женевы. В последние годы эта «когнитивная революция» наконец преодолела бихевиористский крен американских психологов и стала процветающим предприятием по обеим сторонам Атлантики.

Другой областью этой науки была клиническая психология. Наиболее важной фигурой в этой области стал венский доктор Зигмунд Фрейд. До Фрейда психиатрия тщетно пыталась искать физиологические причины психологических проблем. Подобно Вундту, Марксу, Адаму Смиту и нескольким другим фундаментальным теоретикам, Фрейд сочетал в себе несколько ролей. Череда академических неудач и антисемитизм заставили этого человека, получившего подготовку в области медицинских исследований, оставить престижный академический мир и стать практикующим врачом. В Германии того времени практические функции такого рода не были особенно престижны, и Фрейд проявил заинтересованность в создании новой науки из тех необычных эмпирических данных, которыми снабжали его клиенты. Практический мир давал ему фактическую базу, а академический мир — теоретическую ориентацию. Фрейду и его последователям не удалось пробиться в научный мир германской психологии, но его влияние было наиболее сильным в Соединенных Штатах и Британии, где психология (по крайней мере, ее часть) была более практически ориентирована. Теория Фрейда, вероятно, страдала от отсутствия систематической исследовательской академической базы. Тем не менее она была озабочена динамическими аспектами человеческой личности и мотивации, которым не уделялось должного внимания в академической психологии, акцентировавшей чистое познание и занимавшейся бихевиористскими экспериментами над лабораторными животными.

Антропология находит свою нишу

Стимулом для развития антропологии изначально послужило открытие племенных обществ Америки, Африки и Тихоокеанского региона. Данные этих открытий вдохновляли социальных философов от Гоббса и Локка до Тюрго и Кондорсе. Теперь больше нельзя было по образцу средневековых философов говорить о европейском обществе как о порядке, данном от Бога. Возникли различные теории общественных изменений, через социальный контракт или эволюцию, из изначального природного состояния. Эти исследования оказали значительное влияние на биологию. Карл Линней и Жорж Бюффон создавали тогда таксономии видов, оставляя свои ячейки для «человека в природном состоянии» и для «цивилизованного человека». Эти таксономии предвосхитили Дарвина в том смысле, что в них человек был помещен в те же таблицы, что и приматы и другие животные, хотя люди еще и не были связаны с ними узами родства. Термин «антропология» появился в 1700-х годах, обозначая науку о *человеческой* биологии, и его использовали в заглавии книг по анатомии.

Основная линия развития антропологии в следующем столетии была в той же степени частью биологии и родственных естественных наук. Второй линией была культурная история, особенно филология (история языка) и история искусства. Социальные формы незападных обществ мало изучались сами по себе. Хотя социальные мыслители от Огюста Конта до Герберта Спенсера и Уильяма Грехам Самнера использовали этот материал в своих исследованиях, они находились вне сферы самих антропологических исследований и не имели значительных последствий для ориентации таких исследований до подъема социальной антропологии в XX веке. Основные теоретические интересы антропологов были связаны с учеными-медиками и биологами — Георгом Вайцем и Рудольфом Вирховым в Германии, Полем Брока во Франции и Джеймсом Причардом в Англии, — которые начали измерять и классифицировать все живые народы по физическим типам и исследовать кости древних народов, найденные в результате случайных раскопок или специальных геологических экспедиций. Подобные случайности не были вполне случайны, поскольку происходили именно в то время, когда интерес к ним был на пике. Именно поэтому на старые кости вообще обратили внимание. Например, в юго-западной Германии в 1857 году рабочие нашли кости неандертальца. Они принесли их к городскому доктору, который в свою очередь рассказал

о находке членам местного научного клуба. Как в биологии, так и в антропологии роль ученого-любителя оставалась чрезвычайно значимой в течение всего XIX века. Эта роль была особенно велика в Англии, где богатые представители джентри, подобные Чарльзу Дарвину, могли посвящать время в своих поместьях исследованию ископаемых остатков и собиранию отчетов путешественников. Следует отметить, что для британских антропологов была характерна относительно внетеоретическая ментальность коллекционеров по сравнению с более систематическими и энциклопедичными исследователями в Германии.

К середине столетия в распоряжении антропологии было достаточно исследователей для основания организованных научных сообществ (в 1843 году в Англии, в 1859 году во Франции, в 1869 году в Германии). Антропологические открытия регулярно освещались на биологических, геологических и географических конгрессах. Количество антропологов росло, и «случайные» открытия уступали свое место организованным экспедициям, подобным тем, которые сделали возможными открытие Трои в 1875 году или Микен в 1876 году. К 1920-м годам открытия были *почти* предсказуемы, как, например, в случае с китайской экспедицией, которая открыла пекинского человека, или в случае конкуренции британской, американской или французской экспедиций на Ближнем Востоке.

Для ведения целенаправленных поисков нового и понимания значимости открытий необходима общая концепция. Такая необходимая теоретическая основа для руководства исследованиями была найдена в концепции истоков. Она позволяла проследить ту цепочку фаз, через которые происходило развитие человечества, и таким образом заполнить лакуну, образовавшуюся в результате кризиса библейской теории творения. Теория естественного отбора Дарвина давала ту элегантную теоретическую формулировку, которая была применима как к культурному, так и к физическому развитию. С 1860-х годов эволюционная модель стала основой для научных исследований. Она же легла в основу нескольких теорий расового и прочего (семейного) наследственного превосходства, а в некоторых пунктах совпала с программами национализма и евгеники. Эти теории выдвигались в основном интеллектуалами, не связанными с университетом и ориентированными преимущественно на политические аудитории. Не удивительно, что они больше были заинтересованы в поддержке своих политических программ, а не в критериях строгих научных исследований. Поэтому такие универ-

ситетские профессора, как Георг Вайтц, П.У.А. Бастиан и Франц Боас, критиковали расистские антропологии не столько по политическим соображениям, сколько на основании их несоответствия стандартам научного сообщества. В контексте будущего подъема нацизма особенно интересно то, что именно немецкие антропологи были первыми научными критиками расистских теорий, так как именно в Германии антропология была прежде всего академической наукой. С точки зрения критериев германских университетов расистские теории игнорировали факт непрерывных расовых смешений на всем протяжении истории и значительные пересечения между расовыми группами, языками и другими элементами культуры. Другими словами, раса не была подходящей и полезной научной концепцией.

Изучение культурной истории стало другим составляющим элементом антропологии. Развитие филологии в германских университетах достигло своей кульминации в начале 1800-х годов не только в плане научной истории под предводительством Нибура и фон Ранке, но и в сфере исследований языка, искусства, права и других областей творчества. Братья Гримм собрали немецкие народные сказки, знаменуя начало *Kulturgeschichte* (культурной истории), которое вело все дальше в область изучения европейского, ближнего и дальневосточного прошлого. Это интеллектуальное движение естественным путем распространялось на классические штудии более традиционных британских и французских университетов, где оно вызвало первые прорывы в «современную» науку. Среди участников этого движения выделялись работы Нумы Дениса Фюстеля де Куланжа (учителя Дюркгейма) по греческой и римской религиям, работы Генри Самнера Майна по греческому праву, в которых был сформулирован известный социологический закон, согласно которому общества движутся от «статуса» к «контракту», и работы Джеймса Фрезера на темы ритуалов плодородия в доклассический период. Не будет большим преувеличением сказать, что наука немецкого образца проникла в Англию через изучение классиков, которое было основой традиционного образования, когда каждый студент должен был изучать латынь и греческий. В британских университетах классические отделения предоставили антропологии свою нишу, придав ей ту респектабельность, которой еще долго не будет у социологии (в большинстве мест в Великобритании это произойдет только в 1960-е годы).

Таким образом, антропология возникает как бы в области пересечения культурной истории и полевого научного исследования.

В лице основателей немецкой антропологии П.У.А. Бастиана и его английского коллеги Эдварда Тейлора эти два направления исследований соединяются. Оба они много путешествовали по миру, первый в качестве судового врача, а второй – в качестве странствующего джентльмена. Оба интересовались религиями, языками, искусством и археологией многих культур, о которых они периодически докладывали в Берлин и Оксфорд. Оба в конце концов устроились на работу в музеи или на академические должности и начали систематизировать свои труды. К концу XIX века работа полевого исследователя включала в себя как культурные, так и биологические аспекты, и антропология приобрела свою научную идентичность в рамках дисциплины «изучения человека».

На рубеже XX века антропология стала неотъемлемой частью программ университетов Англии, Франции и Германии, хотя и под разными рубриками: некоторые позиционировали себя как часть факультетов классических языков и филологии, другие были ближе к биологии и медицине, третьи находились на независимых кафедрах археологии, истории искусств, истории религий или *Volk-erpsychologie* (психологии народов). Созданное в Соединенных Штатах «Бюро по делам индейцев» было учреждено в 1879 году, и в его рамках возникли должности профессиональных антропологов для каталогизации индейских культур. Антропологи стали получать должности в музеях, объединенных факультетах антропологии и социологии. Следуя немцу Францу Боасу (в прошлом ассистенту Бастиана), американские антропологи отказывались от изучения эволюционной теории в пользу детальных описаний культур и исследования исторически специфичных образцов культурной диффузии. В германской традиции они подчеркивали уникальную структуру культуры. Рут Бенедикт, ученица Боаса, отстаивала этическую позицию «культурного релятивизма». В ее глазах все культуры должны были оцениваться с точки зрения их собственных критериев правильного и ложного.

Но в период своих академических успехов антропология оказалась перед лицом небольшого кризиса. Главная линия исследований происхождения народов и культур привела к накоплению подробных описаний культур и множеству свидетельств культурной диффузии, которые разрушали картину гармоничной эволюционной модели.

Полевые исследования превращались во все более детальное изучение взаимодействия различных культурных влияний. Беспокойство по поводу библейской трактовки творения постепенно со-

шло на нет, популярная доктрина о расовом неравенстве была дискредитирована, а новые открытия, касающиеся генеалогической связи людей с приматами, больше не шокировали. Но вся эта область исследования грозила засильем чисто эмпирического материала, что не оставляло места для новых, выдающихся идейных вех и масштабных концепций и мыслителей.

Именно эта ситуация расчистила путь для современной социальной антропологии. Во Франции в первые годы XX века Эмиль Дюркгейм искал подходящее научное сообщество, которое могло бы заняться вновь изобретенной им социологией. Он указал на антропологию как на наиболее вероятного кандидата. В результате теоретическая традиция Дюркгейма стала основой для синтеза эмпирических исследований антропологов и для альянса этих дисциплин, который продолжался во Франции через племянника Дюркгейма Марселя Мосса и последующих антропологически-социологических мыслителей, подобных Клоду Леви-Строссу и Пьеру Бурдьё. Аналогично, когда в Германии психология закрыла свои двери для Фрейда и его последователей, они увидели в антропологии источник систематических данных. В Британии эти теоретические традиции были импортированы в антропологию Брониславом Малиновским и А. Р. Радклифф-Брауном, проводившим полевые исследования в британских колониях и занимавшим академические должности. В результате этого сочетания теории и полевой работы возникло движение, известное как британская школа социальной антропологии, с ее интересом к ритуалам, символам и их связи с социальной структурой. В Америке функционалистская школа Дюркгейма оставила гораздо меньший след в собственно германской традиции культурной истории (*Kulturgeschichte*), которая развивалась последователями Боаса. Но популяризация фрейдовской психологии в Америке открыла путь для мощной традиции в психологической антропологии, которая подчеркивала культурную социализацию и социальные последствия воспитания детей.

И, НАКОНЕЦ, СОЦИОЛОГИЯ

Корни социологии как общей науки о социальных феноменах чрезвычайно разнообразны. У ее истоков лежат материалы истории, обобщения философов истории, проблемы, поднятые институциональными и историческими экономистами, сбор данных публичными администраторами и социальными реформаторами, а также

психологами, озабоченными проблемами общества, и проблематика антропологов, связанная с первобытными культурами и человеческой эволюцией. Каждая из этих отраслей исследования выделилась в особое научное сообщество со своим предметом (история, экономика, психология, антропология), но ни одна не занималась обществом как таковым. Социология получила свою независимую идентичность в ходе движения политической идеологии и реформ. Соответственно, она смогла превратиться в обобщающую науку только там, где существовала академическая система, куда допускались левые либеральные реформаторы. В этом отношении социальные условия возникновения социологии были сходны с предпосылками экономики. Однако экономика возникает с подачи Либералов (с большой буквы) в старом смысле этого слова — деловые интересы стремятся здесь освободиться от господства аристократии — в то время как социология была связана с деятельностью либералов, которые были заинтересованы в реформах в духе государства всеобщего благосостояния, хотя они и не были чужды высокой оценке традиции. Социологии было сложнее добиться политической поддержки или толерантности, поскольку ее приверженцы, хотя и многочисленные, никогда не были слишком могущественны.

В 1700-х годах социология и политическая наука были почти неразличимы, составляя звенья единой и аморфной интеллектуальной сцены. С одной стороны, существовали социальные философы вроде Гоббса, Локка, Монтескьё, Руссо, Тюрго и Кондорсе, с другой — германские профессора административной науки с их философией права и дескриптивной «статистикой». По большей части такое положение дел сохранялось и в 1800-е годы, но к тому времени интеллектуальный мир стал все более специализированным и организовывался в особые группы. История, экономика, психология и антропология постепенно раскалываются. В то же время индустриальная революция и демократизация правительств Западной Европы вызывали рост политических движений и партий среди растущего городского класса, что дает социологии более крупные политические мишени. Первыми важными социологами или политологами — мы еще не можем различить эти категории — стали люди типа графа де Сен-Симона, Огюста Конта, Алексиса де Токвиля, Карла Маркса, Джона Стюарта Милля, Фредерика ле Пляя и Герберта Спенсера. Все они были аутсайдерами в академическом мире и обращались к политическим аудиториям. В их идеях мы находим основные формулировки большинства важных

идеологий, которые впоследствии приобрели популярность: либерализма в форме классического *laissez-faire* и в форме государства всеобщего благосостояния, коммунизма и корпоративного консерватизма. Если мы расширим наши критерии и включим вторичных мыслителей, то сюда нужно будет добавить мыслителей XIX века: идеолога утопических сообществ Шарля Фурье и фашистского идеолога Артура Гобино.

Наиболее важными фигурами в развитии социологии были сочетавшие в себе университетскую ориентацию с политическими и популистскими интересами. Одним из таких людей был Конт, который получил подготовку по естественным наукам в элитной *Ecole Polytechnique* в Париже. Огюст Конт пытался заимствовать политическую идеологию Сен-Симона для построения из нее социальной науки, для обозначения которой он придумал термин «социология». Изначально Конт ставил своей задачей введение этой новой науки в *Polytechnique*. Только после неудачи в этом начинании он обратился к политике и основал свою позитивистскую «церковь» как политическое движение, направленное на переустройство общества. Другим гибридом социальных ролей, как мы уже видели, был Маркс, который наверняка бы стал заметным профессором философии, если бы его не вывели из университета политические обстоятельства. Создание всеохватной общей теории на основе своих революционных идей стало для него своего рода компенсацией. Третьим примером такого рода может служить Ле Плей, единственный полевой исследователь в этой группе. В основе его скрупулезных исследований европейской семьи лежали его навыки, связанные с инженерным образованием, и интерес к консервативной политике (тогда, как и сейчас, семья для консерваторов была излюбленным предметом исследования). Токвиль стоит здесь особняком. Политик, не связанный с академией и занимавший в какой-то период пост чиновника в кабинете министров, он тем не менее сочетал в себе своеобразную наблюдательность с примечательной способностью к обобщениям, что отражалось в его путевых заметках и исторических исследованиях. Токвиль был последним из философов Просвещения, сочетавших в себе множество интеллектуальных ролей, подобно Тюрго и Монтескье.

Институциональная слабость этих социологических мыслителей состояла в том, что их идеи настолько непосредственно апеллировали к политическим движениям, что им не так то просто было стать основой для сообщества научных исследователей. Эта

теоретическая ориентация будет зависеть от академического контекста. В XIX веке проводились фактические исследования, но они велись главным образом практическими администраторами. Множество такого рода исследований проводилось в Германии. В 1872 году группа германских профессоров и администраторов организовала *Verein für Sozialpolitik* (Союз по социальной политике). Макс Вебер позже вошел в эту группу, но ему казалось, что ее концентрация на сборе детальной информации и формулировке программ благосостояния слишком узка для порождения каких-то обобщающих идей об обществе. В Англии подобная работа осуществлялась правительственными комиссиями по расследованиям, которые изучали условия жизни на фабриках. Ближе всего к собственно теории подошел бельгийский астроном Адольф Кетле в 1830-х годах. Он погрузился в данные правительственной статистики рождений и смертей, самоубийств, преступлений и т.п. и выступил с идеей социальной физики. К сожалению, законы Кетле сводились к простым расчетам нескольких простых вероятностей и демонстрации того, что темпы изменений численности населения и уровня преступности могут быть предсказаны на основании данных предыдущих лет. Статистика Кетле вызвала волну интереса, который, впрочем, вскоре спал, поскольку эта статистика не оправдала ожиданий, связанных с ее практической полезностью и возможным вкладом в развитие теории.

Социология стала входить в университетский обиход к концу 1800-х годов. В Соединенных Штатах это совпало с периодом университетской революции. В это время основываются многие новые университеты и многие из них обновляются ориентированными на исследования аспирантурами и изменениями в курсах обучения и введением новых дисциплин. Университеты преобразовывались по немецкой модели, сохраняя некоторые американские черты. Теперь их курировали президенты, а не факультеты. Университеты были ориентированы на расширение потока студентов и привлечение финансовой поддержки любыми доступными средствами. Это означало, что американские университеты были гораздо более восприимчивы к новым предметам по сравнению с немецкими, поскольку для нововведений было достаточно заручиться согласием президента, а не всего состава факультетов. Возможно, американские университеты находились под властью президентской автократии, но зато они освободились от автократии традиционных профессоров, заинтересованных в контроле над своими областями знания и настроенных против новых людей. В то время как

германские университеты были снобистски враждебны к практическим предметам, американские были восприимчивы к ним, поскольку административные интересы, а не научные фракции диктовали необходимость привлечения студентов любыми доступными средствами. Увеличение числа студентов означало увеличение доходов за счет оплаты за обучение, пожертвований выпускников и государственных дотаций. Это были жизненно важные источники финансирования для американских университетов, не столь существенные для немецких. Американские университеты были ориентированы на рост, что означало возможность непрерывного увеличения количества преподавателей в противоположность европейской ситуации (было принято держать на ставке только одного профессора на всю научную область).

По всем этим причинам новые американские университеты скоро включили в свои курсы все разновидности социальных наук и достигли количественного перевеса по объему исследований. В Америке XIX века существовало множество движений за социальные реформы, включая последователей Конта, Фурье, подражателей британских организаций за либеральные реформы и многих других. В 1865 году наиболее уважаемые из этих групп влились в Американскую ассоциацию по развитию социальных наук, и уже от нее отпочковались разные подспециальности, готовые сформировать свои профессиональные сообщества, претендующие на собственное место в университетах. Таким образом, сначала история и экономика в 1880-х годах, а потом социология, антропология и политические науки в 1890-х обрели свои права в университете. В американских университетах психология впервые смогла отделиться от философских факультетов около 1910 года. Первый департамент социологии был учрежден в новом Чикагском университете в 1892 году, и другие вскоре последовали за ним.

Социология, подобно другим социальным наукам, обрела свой академический дом, поскольку ее политические и практические темы перекликались с доминировавшей атмосферой либерализма и практическими и популярными интересами разрастающихся университетов. И напротив, антропология, наименее политическая и практическая социальная наука, была не столь успешна, привлекая гораздо меньше сторонников и оставаясь самой небольшой из них. Во многих местах вплоть до 1940-х годов антропология оставалась в рамках социологических факультетов, и даже позже такая ситуация сохранялась в небольших колледжах. Противоположная ситуация имела место в Европе, где антропология

располагала политической и интеллектуальной респектабельностью задолго до того, как социология приобрела свою академическую нишу.

Одним из результатов этой ситуации стало то, что социология в Америке стала интересоваться преимущественно «социальными проблемами», а не развитием и проверкой общих теорий. В той мере, в которой теория была необходима для интеллектуального подтверждения исследований, первые американские социологи обращались к популярным доктринам эволюционизма и социальной психологии философских факультетов. Так как психология еще не выделилась в отдельный факультет и еще не была настолько бихевиористской, какой ей предстояло стать, она была превращена в социальную психологию Чарльзом Хортоном Кули, Джорджем Гербертом Мидом, У.И. Томасом и др. Эта дисциплина стала известна как символический интеракционизм. Такой вид социальной психологии получил определенный политический резонанс. Американские психологи были либеральными реформаторами, а не радикалами и не консервативными циниками. Они хотели видеть Америку государством равенства и открытых возможностей. Социальная психология поэтому концентрировалась на индивиде и небольших сообществах и оставляла в стороне неудобные вопросы о более широких структурах стратификации, богатства и власти.

В Британии социология едва проникла в академический мир. Социально и интеллектуально элитарные университеты Оксфорда и Кембриджа не могли принять дисциплину, которую они считали плебейской, лишенной серьезного научного содержания. Британская социология сначала обосновалась в Лондонской школе экономики, основанной фабианским социалистом Сиднеем Веббом, где ей удалось обзавестись кое-каким теоретическим багажом через ассоциацию с антропологией. На основе этих скудных ресурсов сложно было говорить о каком-то ее влиянии до тех пор, пока она не начала приобретать университетские посты в ходе расширения академического притока студентов в 1960–1970-х годах.

Главные теоретические прорывы в социологии были связаны с континентальными университетами. В конце XIX века многие социологически ориентированные философы откликнулись на политические доктрины Герберта Спенсера и Карла Маркса. Некоторые из них развивали спенсеровские биологические аналогии в своих моделях общества как организма (Альберт Шеффле, П. фон Лилиенфельд, Рене Вормс), другие восприняли в свои теории некоторые

идеи Маркса (Фердинанд Теннис) или неокантианскую философию социальных форм (Георг Зиммель). Но эти теоретики не смогли обрести серьезной опоры в философии. Их социология была отмечена сомнительной связью с либерализмом и иногда с позитивизмом, то есть с идеей о том, что методы науки могут быть использованы для решения социальных проблем. Этот лозунг использовался реформаторами в Англии и радикалами во Франции, и поэтому он стал анафемой в абсолютистской Германии. Социология исключалась потому, что она происходила из идеологии, чуждой господствующей в Германии политике. Зиммель и Теннис не могли получить должности полного профессора по философии в течение 30 лет. Даже психологи получали этот статус в среднем за 15 лет, а ученые в более традиционных дисциплинах и гораздо раньше.

Самый великий немецкий социолог Макс Вебер начинал свою деятельность не в области философии, а в области исследования истории права и экономики. Но он пошел дальше узких интересов германских историков, интерпретируя эти материалы в более широкой перспективе, связанной с социологией, в которую он был посвящен через сотрудничество с различными группами либеральных реформ. У Вебера был достаточно циничный, но в то же время вполне доброжелательный интерес к Марксу, последователи которого только приобретали политическую значимость. Вебер способствовал основанию Германской социологической ассоциации в 1908 году и предпринимал значительные усилия для разрушения стены предубеждений против своих друзей-социологов и леваков — Георга Зиммеля и Роберта Михельса. Веберовская кампания против ценностных суждений была попыткой подорвать влияние националистических политических критериев, не позволявших социологии быть признанной академической дисциплиной. Это ему не удалось, и его психосоматическая болезнь, в течение многих лет удерживающая его вдали от академической жизни, могла быть, по крайней мере отчасти, результатом его внутреннего конфликта по поводу компромисса с таким состоянием дел. Только в краткосрочный период Веймарской республики, когда либерализм наконец был принят, социология обрела свое место в германских университетах. Некоторое время в этой сфере наблюдался интеллектуальный подъем, связанный с именами Карла Маннгейма и таких марксистов, как Георг Лукач, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, пока нацистский период опять не смел социологию с подиума.

Веберовская социология балансировала между специфическими интересами германской исторической школы и обобщающими

теориями социологического позитивизма. Во Франции Дюркгейм, классический защитник общей теории, не нуждался в такого рода компромиссе. С падением Второй империи Наполеона III в 1870 году вновь созданная Третья республика была доброжелательно расположена к либерализму. Дюркгейм был страстным республиканцем, а также половинчатым социальным реформатором, с симпатией относившимся и к патриотизму, и к социальной стабильности, социальной справедливости и умиротворенности рабочих. У него было преимущество и в плане принятия новой науки социологии, поскольку французская система образования претерпевала период экспансии и реформ. Республика только что создала систему государственных школ, вырвавшую образование из рук консервативной церкви. Молодой Дюркгейм был протеже министра образования Луиса Лиарда, который послал его в Германию для изучения успехов университетской системы последней. Для комплектации новых публичных школ университетская система должна была провести реформы в области подготовки преподавателей. Дюркгейм стал профессором педагогики и получил возможность влиять на этот процесс. Вся система образования реформировалась, чему сопутствовали притоки в нее интеллектуалов, сравнимые разве что с теми, которые имели место столетием ранее в период реформы системы образования в Пруссии.

Благодаря энергичным административным маневрам и своей интеллектуальной силе Дюркгейм смог превратить свою кафедру педагогики в профессорскую должность в области социологии, первую на континенте. Должность профессора в области социологии несколько ранее была учреждена в Соединенных Штатах. Но французская университетская система контролировалась снобистской интеллектуальной элитой, и интересы в социальных реформах и практические соображения, которые могли бы быть достаточной причиной новшества в Америке, были не достаточны для легитимизации новой дисциплины во Франции. Задачей Дюркгейма стало превращение социологии в интеллектуально уважаемую область, сравнимую с другими академическими областями. Ему удалось это сделать в результате сочетания своей способности к философским обобщениям и интереса к новым эмпирическим материалам, которые он взял из исследований, предоставленных прежними неспециализированными социологами. Исследования Кетле помогли ему увидеть полезность статистики самоубийств, но он использовал для обращения к этим материалам более строгие научные методы систематического сравнения для установления кор-

реляции и причины. Исследования историков, в частности его учителя Фюстеля де Куланжа, помогли ему понять полезность сравнения правовых кодексов, семейных структур и указания их связей с различными формами социальной организации. В сфере антропологических данных он обнаружил материалы, позволявшие построить общую теорию ритуала, символизма и морали. Всем этим Дюркгейм подчеркивал, что социология должна была стать наукой, использующей аналог научного метода эксперимента, то есть принимающей все теории как гипотезы, которые должны проверяться систематически контролируемым сравнением.

Подобно другим социологам, у Дюркгейма были свои предрасудки и идеологические шоры. Тем не менее он кажется наиболее успешным создателем социологии не только потому, что он учредил эту дисциплину в элитной университетской системе Франции, но и потому, что он положил в ее основу строгие представления о методе и научном содержании, которые стали ее фундаментом и могли использоваться другими социальными науками. Поскольку наиболее близким академическим конкурентом социологии была психология, Дюркгейму стоило больших усилий различить психологический и социологический типы анализа. Дюркгейм является архетипическим социологом, потому что в институциональном смысле он должен был быть наиболее чувствителен к специфической области социологии. Поскольку он действовал в чрезвычайно централизованной и элитистской системе, последователи Дюркгейма были сравнительно небольшой группой, которая сильно пострадала в результате Первой мировой войны. Теория Дюркгейма сохранилась во Франции главным образом благодаря своей ассоциации с антропологией. Под видом антропологии ее экспортировали через канал в Англию. Но в Соединенных Штатах с их гораздо более крупными департаментами социологии и общим духом эклектики социология Дюркгейма нашла для себя более прочное место, и здесь ее идентичность как интеллектуального сообщества уже не подвергалась сомнению.

Мы заканчиваем наш анализ в начале XX века. После многообещающего начала в Германии и Франции конвульсии мировой политики заставили социологию переместиться в Соединенные Штаты. Нацисты ненавидели социологию, и в период между их приходом к власти в 1933 году и окончанием Второй мировой войны германская социология или погибла, или бежала за границу. Немецкая оккупация Франции также заставила многих социологов бежать, хотя в отличие от немцев, бежавших в Соединенные Штаты, большин-

ство французских социологов (включая Леви-Стросса) вернулось домой. В Британии, как мы видели, социологию к этому времени еще не стала университетской академической областью, поэтому Соединенные Штаты получили комбинацию мировых социологий и прошли через этап смешения и развития разных теоретических позиций. Соединенные Штаты приобрели мировое лидерство как в теории, так и в области исследований благодаря своему богатству и разветвленности своей университетской системы. Замкнутые национальные традиции в социологии исчезли в том смысле, что большинство представителей этих традиций оставили родину и эмигрировали.

В 1970-х годах происходит новая трансформация мирового процесса. Энергичная экспансия в британской и европейской академической системах почти повсеместно поставила социологию на новую основу. Но после рассмотрения институциональной основы социологии настало время обратиться к ее внутренней истории — остановимся на четырех ее великих идейных традициях.

1. ТРАДИЦИЯ КОНФЛИКТА

Борьба есть отец всех вещей... расходящееся само с собой согласуется: возвращающаяся к себе гармония, как у лука и лиры.

Гераклит, 500 до н.э.¹

Это направление мысли, которое имеет многовековую предысторию, подчеркивает значимость социального конфликта. На первый взгляд, кажется, что оно рассматривает только определенные драматические события, но эта перспектива гораздо шире и включает в себя все, что происходит в обществе. Основной тезис этого идейного направления заключается не просто в том, что общество состоит из конфликтов, а в том, что даже происходящее вне открытого конфликта включает в себя элементы господства. Это видение социального порядка предполагает наличие групп и индивидуумов, пытающихся продвинуть свои собственные интересы за счет других; в процессе борьбы за преимущества могут происходить открытые столкновения. Называя эту перспективу перспективой *конфликта*, мы имеем дело со своего рода метафорой. Это название указывает только на верхнюю часть айсберга: зримые события революций, войн, социальных движений. Но эта позиция имеет в виду равным образом и повседневные структуры господства: наличие доминирующих и подчиненных групп со своими интересами, которые часто пребывают в той части айсберга, которая находится под водой.

Это конфликтное видение общества не очень популярно. Не случайно социологи конфликта часто находились в интеллектуальном подполье. Доминирующие взгляды о своем собственном сообществе обычно рисовали гораздо более благодушную картину, были ли они основаны на вере в религиозные основы социального мира или на секулярной вере в благость правителя и благие намерения правящей элиты. С точки зрения социологов конфликта, такого рода верования являются идеологиями, прикрывающими реальные интересы

¹ Примечание переводчика. Цитируется по: Материалисты Древней Греции / Пер. М. А. Дыникова. М., 1955. С. 45.

групп, скрывающихся за ними. Очевидно, что такого рода идеи вряд ли смогут сделать кого-то особенно популярным в обществе.

Тем не менее точка зрения конфликта возникала вновь и вновь там, где присутствовали проницательные политические наблюдатели. Мы находим ее в ренессансной Италии, запечатленной Николо Макиавелли в изгнании из Флоренции, которая была охвачена государственным переворотом. Мы обнаруживаем ее уже за две тысячи лет до этого в трудах Фукидида, который также из своего изгнания повествует о конфликтах в его родных Афинах. Если мы углубимся еще дальше в историю, мы обнаружим перспективу конфликта у индуистского государственного деятеля и махинатора Каутильи и в работах древнекитайского философа Мо Ди. Точка зрения конфликта возникает везде, где интеллектуалы серьезно пытаются писать историю, когда они выходят за пределы обычных хроник славных подвигов королей для того, чтобы понять, что происходило на исторической сцене и почему. Поскольку история была в значительной степени истори-

Некоторые отправные точки традиции конфликта

1800–1840	Классическая экономика: Риккардо	Гегель
1840–1870	Немецкая историческая экономика <i>Realpolitik</i>	Маркс и Энгельс
1870–1900	Ницше	Диалектический материализм Энгельса
1900–1920	Вебер, Михельс	Марксистские теории империализма Зиммель
1920–1940	Маннгейм, Лукач, Грамши	Франкфуртская школа Марксистская социология науки
1940–1960	Герт, Миллс Теория организации Теория стратификации Политическая социология	Функционалистская теория конфликта: Козер
1960–1990	Теория конфликта: Дарендорф, Ленски, Коллинз	Неомарксизм и неовеберизм Теория мировых систем историческая социология революций социальные движения и государство

ей конфликтов, войн, политических восстаний, маневров и перемен различных фракций. И это относится не только к написанию истории государств, но и к истории идеальных институтов, например, религии. История всякой церкви — христианской, мусульманской, буддистской или любой другой, независимо от того, насколько любвеобильна или пацифистски ориентирована ее доктрина — была тем не менее историей борьбы, фракций, преследований и конфликтов и часто связана с действием экономических и политических фракций во всем обществе. Поэтому социологи конфликта были склонны концентрироваться на исторических материалах и обращать особое внимание на долгосрочные модели изменений. Эта интеллектуальная традиция также может называться «исторической», или традицией «исторического конфликта», в социологии.

ОСЕВАЯ ПОЗИЦИЯ КАРЛА МАРКСА

Мы могли бы начать наш анализ традиции конфликта со многих различных мыслителей. Но для наших задач наиболее целесообразно начать с Карла Маркса. То, что имеется в виду под идеями «Маркса», скорее символ, чем труд одного человека. Маркс — это центр той традиции, которая драматизирует конфликт более, чем какая бы то ни было другая. Это традиция, которая легла в основу доктрины политического движения, которое в какой-то момент было революционным. Однако с момента победы коммунистов в России в 1917 году и впоследствии в других местах марксизм был поставлен на службу целям официального политического истеблишмента. В результате марксизм прошел через череду расколов и приобрел множество разновидностей, которые соответствовали политическим спорам внутри коммунистического лагеря и внутри революционных движений в других частях мира. Эти политические связи и практические применения определили привлекательность марксизма для некоторых интеллектуалов, но они же вызвали и продолжают вызывать неприятие многих других. Поэтому мы будем рассматривать *идейный* вклад марксизма в реалистическое понимание мира, находящегося в ситуации господства и конфликта. Это означает, что мы не будем рассматривать ортодоксальные и неортодоксальные социалистические или коммунистические направления и сконцентрируемся на тех идеях, которые оказались наиболее ценными в родословной, отмеченной именем «Маркса». Само существование коммунистических режимов в сегодняшнем мире и формы их внутренних конфликтов не могут быть поняты вне кон-

текста родословной социологии конфликта, которая была открыта марксистской традицией.

Мы говорим о «Марксе» как о символе еще и потому, что ему удалось объединить различные направления анализа конфликта, которые существовали в его время. Хорошо известно, например, что Маркс опирался на философию Гегеля. Гегель более чем кто-либо другой со времен Гераклита подчеркивал значение конфликта, и для него это было решающим обстоятельством. Гегель был последним из великих германских политических философов и при этом наиболее динамичным из них. Кант показал, что реальность не дана в опыте сама по себе; она является нам только через призму наших субъективных идей, включая категории времени и пространства. Гегель сделал эти идеи менее субъективными и менее статичными, объясняя их как постепенное раскрытие Духа, которое составляет сам мир. В известном смысле Гегель (подобно Канту до него) встал на защиту религиозного мировоззрения в эпоху роста научного знания. Дух — это Бог, но понятый еретически и модифицированный таким образом, чтобы охватить меняющиеся исторический и физический миры, тайны которых постепенно раскрывались наукой. В противовес нахлынувшей волне химии, физики и биологии Гегель защищает духа в человеческом царстве сознания. Философия, религия и право — это не только субъективные реальности, но и реальности со своей историей, которые представляют Дух поднимающимся от низших к высшим формам просвещения и познания. В свете этих идей Гегель хотел показать, что чрезмерное внимание к материальному миру, характерное для науки, было только временным этапом в развитии Духа. Человеческое сознание неизбежно проходит через историческую стадию, в которой оно принимает внешние явления за сущности вещей. Дух, который является чистой идеей, внешне являет себя на каком-то этапе как идея материальных вещей. Это происходит потому, что Дух здесь отделен от самого себя, отчужден и опредмечен — в дальнейшем Маркс и некоторые его последователи восприняли эти термины в свое мировоззрение. Однако в конце концов Дух приходит к полному самосознанию. Люди постепенно поймут, что и они, и мир являются Богом и Духом. Это состояние и будет золотым веком.

Как и во всех религиозных и околорелигиозных схемах, конечную точку гегелевской системы трудно представить себе в реальных терминах. Ранний мистицизм Гегеля (сформулированный в тяжелые дни германских национальных реформ, отвечавших

на вызов Французской революции) уступил место идеологическому оправданию законов прусской монархии, как представляющей историческое или рациональное совершенство. К 1830–1840-м годам, когда Маркс был студентом, гегелевская система стала прекрасной основой для молодых либералов и радикалов, которые пытались сделать из нее гораздо более далекоидущие выводы. С точки зрения Гегеля, религия была прогрессивной силой, указывающей дорогу для будущей истории и преодолевающей человеческое отчуждение. Для младогегельянцев 1830–1840-х годов религия была инструментом прусского авторитаризма и потому должна была быть разоблачена и решительно очищена. Некоторые из них, подобно Дэвиду Штраусу, использовали новые критические методы для того, чтобы показать, что Иисус был человеком и исторической фигурой. Другие, подобно Бруно Бауэру (учителю Маркса), отстаивали религию, основанную только на любви без сверхъестественных санкций и консервативных догм. Третьи, подобно Людвигу Фейербаху, критиковали всю основу гегелевского идеализма, переворачивая его и настаивая на том, что мир всецело материалистичен. Власть науки, которую Гегель пытался превзойти и сдержать внутри своей идеалистической прогрессии, тем не менее продолжала расти, и интеллектуалы больше не придерживались религии, которая навязывалась грубой силой ортодоксального государства.

Окружение Маркса составляли младогегельянцы. Он разделял их восторженность по поводу атеизма и материализма. Но Маркс был амбициозным интеллектуалом, стремившимся идти еще дальше. В отличие от своих соратников он был гораздо более политизирован. Чисто интеллектуальная и аполитичная позиция других претила ему, как, например, мягкотелая и утопическая религия любви, проповедовавшаяся Бауэром и Фейербахом. В то время, когда его соратники подвергали Гегеля резкой критике, Маркс защищал Гегеля и говорил о его превосходстве по отношению к тем, кто пришел после него, поскольку он смотрел на всю историю с точки зрения долгосрочной динамики. Его история проходит через неизбежные этапы и не зависит от утопических схем и благодушного мышления людей того времени. Марксу также импонировал явный акцент на конфликте в гегелевской схеме. Конфликт был встроен в гегелевскую логику и являлся движущей силой в его системе. Логические противоречия, которые Гегель вскрывал в каждой философской концепции, иллюстрировали диалектику и процессы перемен. С точки зрения Гегеля, история философии была ключом

к самой истории мира. Позднее Маркс будет рассматривать такого рода схему как идеологию. Но для ее корректировки нужно было только перевернуть эту схему: Гегель поставил мир с ног на голову, Марксу нужно было только поставить его назад на ноги. Таким образом, в отличие от Фейербаха и других материалистов материализм Маркса полностью сохранял гегелевское историческое видение, включая неизбежные противоречия и изменения, этапы развития и утопический результат.

Гегельянство стало первым идейным приобретением Маркса и оставалось фундаментальной основой его мышления на протяжении всей его карьеры. Уже в начале 1840-х годов Маркс приспособил Гегеля к своему политическому радикализму. В материальной системе его времени содержалось неизбежное противоречие, которое, в конце концов, приведет к падению системы и началу новой эры. Логически, конечно, не исключено и возникновение других этапов, но подобно Гегелю, Марксу казалось, что он живет или приближается к эпохе последнего перехода, когда человеческое отчуждение будет в конце концов преодолено. Оставалось только найти механизм, через который этот переход может осуществиться. Слабостью идейной конструкции Маркса оказались ее утопические и миллениаристские элементы. Но два аспекта, которые он взял из философии Гегеля, дали положительный импульс для социологии конфликта. Одним из них было рассмотрение конфликта как движущей силы. Хотя Гегель опирался главным образом на философскую и религиозную историю, он, тем не менее, включил в свою великую схему исторических этапов феномен человеческого господства. Он без лишних сантиментов охарактеризовал древнее общество, имея в виду главным образом Грецию и Рим, как мир господ и рабов, а средневековое христианство как своего рода возмездие рабской ментальности. Отсюда был только один шаг до идей классового господства и конфликта. История, говорит Гегель — это «бойня, в которой счастье людей... приносилось в жертву». Более того, он видел конфликты и изменения мировой истории не как случайные, а как логические и неизбежные. Несомненно, собственно гегелевская теория этих изменений преувеличена и ошибочна, но лежащий в ее основе принцип прямо указывает на путь создания социологической науки. Гегелевская теория утверждает, что социальные конфликты и трансформации могут быть объяснены в рамках развития общей модели и базовых каузальных обобщений. Поэтому как бы много ни сохранила в себе марксистская традиция от гегелевских мистификаций (вклю-

чая недавнюю моду на подчеркивание уникальности каждого периода истории), они дали толчок в направлении общей социологической науки.

Историческая неизбежность коснулась и собственной карьеры Карла Маркса. Прусское правительство подавляет радикальных антиклерикальных профессоров вроде Бруно Бауэра. Потеряв своего учителя и шанс на академическую карьеру, Маркс едет в Париж, на родину революций. Он быстро воспринимает идеи французских социалистов-утопистов, подобных Шарлю Фурье (или его британскому коллеге Роберту Оуэну), но идет дальше них. Фурье отстаивал уход от общества в процессе построения социализма, но этот путь вряд ли мог предотвратить неизбежную интервенцию окружающего общества и конфликт с ним. Нужно обратить внимание на то, что Маркс читал труды французских историков об их собственных революциях — например, Франсуа Гизо, который видел социальные классы как деятелей на сцене, хотя эти труды и ограничивались разговорами о триумфе промышленной буржуазии над устаревшей земельной аристократией. Материализм Маркса начал наполняться классовым содержанием.

Наиболее важным было то, что Маркс открыл для себя экономику. Это была не просто архетипическая наука о материальной стороне общества; она также содержала в своей классической литературе множество элементов перспективы конфликта. Экономика, которую изучал Маркс, была тем, что мы называем сегодня «классической» экономикой, чтобы отличить ее от неоклассической экономики, созданной усилиями таких людей, как Джевонс, Менгер и Валрас в 1860–1870-е годы. В «классической» форме экономика все еще покоилась на трудовой теории стоимости: то есть доктрине, что источником всякой ценности является трансформация природного мира через человеческий труд. Эта перспектива уже подразумевала критический подход: рабочий имел право на получение плодов рук своего труда, и, следовательно, можно было говорить об эксплуатации, когда он их не получал. (Неоклассическая экономика избавится от этой радикальной идеи и отбросит трудовую теорию стоимости в пользу психологической концепции предельной полезности: ценность теперь определяется не с точки зрения предоставленных материалов и обслуживания, но с точки зрения психологии относительной в них потребности.) Собственность также рассматривалась как ключевой элемент в экономической теории, особенно в классической форме: владельцы земли и капитала противостоят рабо-

чим, у которых ничего нет, кроме их труда, который они вынуждены продавать, чтобы остаться в живых. Эти «факторы производства» должны были стать основными классовыми деятелями в схеме Маркса. Маркс нашел уже готовое видение ужасающего экономического конфликта в трудах Томаса Мальтуса и Давида Риккардо. Они считали, что интересы различных экономических классов неизбежно противоположны. С точки зрения Мальтуса, перепроизводство рабочих классов доводило их заработную плату почти до уровня жизни впроголодь. С точки зрения Риккардо, эта ситуация вызывалась неизбежным недостатком земли и давала преимущество землевладельцам.

В их работах Маркс нашел множество материала для своего видения социального конфликта. Он, конечно, резко критиковал буржуазных экономистов за их поддержку позиции капиталистов и за их неспособность понять, что их экономические «законы» представляли собой экстраполяции только отдельного периода в человеческой истории. Гегелевское видение Маркса превратило конфликты капиталистической экономики в противоречия, которые приведут к ее падению и смене другим типом системы.

После долгих поисков и синтезов различных идей Маркс создал систему, которую искал. В основу своего социализма он положил различные революционные политические цели, и этот социализм должен был стать не утопическим, но неизбежным. Это было гегелевское видение череды исторических эпох, движимых внутренними противоречиями к последнему преодолению человеческого отчуждения. Материализм Маркса не был статическим; он исходил из динамики капиталистической экономики, которая вызывала кризисы, классовые конфликты и, в конечном счете, революции. Марксова система ошеломляет уже одной только архитектурой своей интеллектуальной всеохватности. Вне зависимости от своей правдоподобности для реального мира Марксова система впечатляет и вызывает восхищение. Поэтому неудивительно, что у его идей всегда было много последователей.

Но, если говорить коротко, Марксова система основывается на идее о том, что труд является источником не только экономической ценности, но и прибыли. В чистой рыночной системе, которая оперируется через механизмы спроса и предложения, все вещи обладают ценностью. Отсюда возникает проблема: откуда берется прибыль? Ответ Маркса гласит: прибыль возникает из труда, который является единственным фактором производства, из которого можно выжать ценность большую, чем издержки по воспро-

изводству. Технически это эквивалентно «эксплуатации труда», что означает необходимость для рабочего работать дольше, чем количество часов, необходимых для воспроизводства его труда. Но капиталистическое соревнование заставляет производителя вводить трудосберегающие технологии, которые в свою очередь подрывают его собственную экономическую базу. Источником прибыли по-прежнему является эксплуатация труда, и чем больше труд заменяется машинами, тем меньше основа для прибыли. Говоря схематически, в результате падает уровень прибыли и следует череда деловых кризисов. Из-за этих кризисов капитал все больше монополистически концентрируется, так как слабейшие капиталисты выпадают из системы и пополняют состав рабочих. В то же время возможности производства последовательно превосходят спрос со стороны вытесненных и продолжающих терять работу рабочих. В конце концов, продуктивные технологии системы оказываются в полном противоречии с капиталистическими правовыми формами собственности. Идеологическая и политическая надстройка разрушается. За экономическим кризисом следуют классовые столкновения и политическая революция.

С точки зрения Маркса, экономический механизм — не единственная причина той материалистической динамики, которая ведет к гегелевским неизбежным противоречиям и трансформациям. История движется как целое. Гегелевская последовательность философий, религий и законов тоже является частью системы, но в этом случае зависимой частью, а не движущей силой. Экономика объясняет политику, право и человеческую культуру. Во всем этом процессе есть даже глубокий духовный элемент. Духовное отчуждение, встроенное в гегелевскую последовательность фаз, полностью принимается в Марксовых экономических фазах. Подобно тому, как Дух отделен от самого себя в форме опредмеченных идей материального мира, которые как будто действуют на индивидуальное сознание извне, в Марксовом видении человечество подавлено материальным миром, который сам порожден человеком. Рабочие создают социальный и экономический мир своим собственным трудом и потом оказываются закабаленными своими собственными продуктами, которые им теперь противостоят. Таким образом, преодоление капитализма и установление социализма — это не просто экономическое изменение, но историческое освобождение от отчуждения. Мир, созданный людьми, наконец, возвращается под их контроль и тем самым кладет конец отчуждению собственной сущности.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС: СОЦИОЛОГ В ТЕНИ

Очевидно, идеи Маркса не сводятся только к социологии. Это и технические вопросы экономики, и своего рода метафизика – философия, одновременно политически-критическая, пробуждающая к действию и предлагающая квази-религиозную надежду на конечное спасение человеческой сущности. Эти черты плюс то, что они смыкаются вместе в единую архитектонику всеобъемлющей системы, объясняют чрезвычайную привлекательность Маркса для интеллектуалов, пытающихся выйти за пределы узкой и маловдохновляющей специализации. В то же время я должен сказать, что эти свойства марксизма были своего рода ловушкой и соблазном, уведившими в сторону от путей реалистической социологии. И дело не в том, что в марксизме не было элементов заслуживающей внимания социологии, но они были так тесно увязаны с остальной системой, что они часто оказывались приниженными или недооцененными, и вся система в целом держалась на достоинствах ее философского и политического видения. Однако ее экономика и философия были гораздо более шатки и уязвимы по сравнению с социологией.

Маркс является символической фигурой и в другом смысле. О «Марксе» и «марксизме» обычно говорят, имея в виду труды Маркса и Энгельса. Некоторые из наиболее важных марксистских работ были написаны обоими, например, «Коммунистический манифест» или «Немецкая идеология». Из них двоих Фридрих Энгельс был более социологически ориентированным мыслителем. Бытует миф по поводу отношений между Марксом и Энгельсом, который состоит в том, что Энгельс был теоретически менее состоятельным: он был верным учеником и идейно зависимым соратником в теоретической системе, которую разработал Маркс. В действительности идеи Энгельса достойны отдельного рассмотрения. Во многих отношениях его вклад в «Марксову» теорию конфликта был более фундированным и жизнеспособным.

Миф о Марксе и Энгельсе так сильно закрепился не в последнюю очередь из-за позиции самого Энгельса. По окончании их совместной политической деятельности в молодые годы и участия в революции 1848 года Маркс оказался в лондонском изгнании, а Энгельс стал работать сначала клерком, а потом и менеджером на британской фабрике своей семьи в Манчестере. Вскоре после этого Энгельс оставил интеллектуальную стезю, а Маркс продолжал подпольную политику коммунистической революции и рабо-

тал над своими крупными экономическими трудами на те средства, которые ему мог присылать Энгельс. Только в 1870-х годах Энгельс вновь появляется в сфере интеллектуальной и политической деятельности после двадцатилетнего отсутствия. К этому времени Маркс уже был болен и не особенно продуктивен. Энгельс попытался поправить положение, работая не только над своими собственными трудами, но и представляя Маркса в его политических и интеллектуальных предприятиях. После смерти Маркса в 1883 году Энгельс стал представителем «марксизма», придумывал его лозунги и формулировал его доктрины, а также редактировал и печатал посмертные тома Марксова «Капитала». Свою собственную деятельность Энгельс представлял в свете интеллектуальной личности Маркса.

Такая модель их отношений сложилась еще в период революционных десятилетий в 1840-х годах. В их совместных публикациях имя Маркса всегда шло впереди. Маркс даже публиковал под своим именем работы, которые были написаны Энгельсом, например, энгельсовский анализ европейских переворотов, озаглавленный «Германия: революция и контрреволюция», написанный для *New York Tribune* в 1851–1852 годах. Маркс часто просил Энгельса отредактировать его манускрипты, но не указывал на это в самой работе. Маркс также мог внести изменения в работы самого Энгельса и послать их в печать без его ведома. Энгельс никогда не возражал против этого и не выражал недовольства. Он был совершенно предан Марксу. Его пассивность подтверждала впечатление о том, что в работе гения он был всего лишь мальчиком на побегушках.

Но эта картина вряд ли верна. Энгельс был мыслителем значительной оригинальности и широты, в некоторых отношениях даже больше, чем Маркс. В конце своей жизни Маркс признавал это в одном из своих писем Энгельсу: «Ты знаешь, что, во-первых, я медленно прихожу к пониманию и, во-вторых, всегда иду по твоим стопам». Странное откровение! Однако именно Энгельс первым понял важность экономики, критикуя и отрешиваясь от ее буржуазной идеологической подопрелки. Именно он в 1844 году напечатал в Марксовом журнале «Критику политической экономии», пока Маркс вел свои философские баталии с младогегельянцами. В этом эссе Энгельс говорил, что частная собственность неизбежно ведет одновременно к подъему капиталистических монополий и к росту их смертного врага, рабочего класса. В ответ Маркс попытался перевести эту экономику в термины Гегеля в своих так называемых

«Философско-экономических рукописях 1844 года». Именно Энгельс показал публикацией в 1845 году своих исследований на фабриках Манчестера «Положение рабочего класса в Англии», что абстракции мало что значили в сравнении с конкретными социальными условиями реальных общественных классов, захваченных лихорадочной капитализма.

Короче, Энгельс шел впереди, а Маркс следовал в том же направлении в результате потерпевшего крах идеализма Гегеля и на примере Фейербаха. Но многие недооценивают, в какой степени Энгельс продолжал вести его за собой, особенно в области социологии. В то время пока Маркс был занят критикой немецких философов, Энгельс стремился к более эмпирической и научно-обобщаемой концепции реального мира. Именно Энгельс написал первый набросок «Коммунистического манифеста» и придал ему социологический уклон, в то время как Маркс продолжал свою критику философских и политических соперников, раскрашивая ее своим литературным даром и едкими инвективами. Маркс продемонстрировал свой гений способностью увидеть в новом свете текущие политические события, например, в случае его блестящего анализа контрреволюции во Франции «18 Брюмера Луи Бонапарта» (1852). Энгельс же расширил метод поиска исторических параллелей и обобщений в «Крестьянской войне в Германии» (1850). Маркс всегда был скорее политиком, Энгельс же был в большей степени чистым интеллектуалом и более крупным историческим социологом.

Обширная переписка между Марксом и Энгельсом отнюдь не свидетельствует о его интеллектуальном превосходстве в их отношениях. Она показывает, напротив, что Энгельс забрасывал в письмах новые мысли и идейные заготовки, в то время как Маркс был больше озабочен изложением своих личных и политических новостей, рассказами о своих мытарствах и бегстве от враждебных властей, живописал свои трудности с издателями и чаще всего описывал свои финансовые затруднения, обращаясь с просьбами о помощи. Из одних только писем может создаться впечатление, что Энгельс был в большей степени интеллектуалом. Но, строго говоря, это не так. Маркс был слишком узко сосредоточен на своем политическом крестовом походе, и его идейная жизнь выплескивалась в почти маниакальную одержимость строительством системы политической экономии, которая могла бы лечь в основу его видения коммунистического будущего.

С точки зрения социологии, решающим событием в жизни Маркса была, несомненно, его дружба с Энгельсом. Мы сможем это

понять, если сравним те работы, которые они написали отдельно, с тем, что они написали в соавторстве. До встречи с Энгельсом Маркс был левым гегельянцем, в области философии предрасположенным к материализму и социализму, но лишенным реального понимания экономического и социального мира. После того, как Энгельс ввел его в суть экономической социологии, они написали серию совместных работ. Некоторые из них — «Святое семейство», «Немецкая идеология», «Коммунистический манифест» — содержат в себе изрядное количество высказываний Маркса против младогегельянцев и других оппонентов слева. Но такого рода страницы не особенно актуальны для сегодняшнего дня, в то время как долговечные и известные идеи высказываются там, где Маркс и Энгельс объясняют свою социологию в общих терминах. В этот же период Маркс и Энгельс также пишут отдельные работы, анализирующие революции, перемежающиеся по своей форме и жанру — от аналитического журнализма до исторической социологии. Но после 1852 года, когда Энгельс погрузился в свою деловую рутину в Манчестере, Марксова социология исчезает. Маркс больше не пишет ничего, кроме разбора технических проблем экономики и доктринальных и тактических заявлений, относящихся к тактическим маневрам коммунистической политики. В конце концов, Энгельс возвращается и в серии книг и статей, написанных с 1878 года и до своей смерти в 1895 году, пытается вытащить марксизм из сферы экономических уточнений и превратить его в общую науку по всем вопросам: социологическим, историческим и даже захватывающим в свою орбиту законы природы.

Без Энгельса Маркс занял бы материалистический левый фланг младогегельянства, на шаг вперед в направлении, взятом Штраусом, Бауэром и Фейербахом. Возможно, он нашел бы свой собственный путь к экономике. Он однозначно отдавал ей интеллектуальное предпочтение. Продолжая работать над экономической системой Риккардо, он не только искал в ней поводов для пролетарской революции, но и пытался привести ее в соответствие с гегелевскими категориями противоречия, отчуждения и диалектики общего и особенного. С начала 1850-х годов Маркс работал над крупным проектом в области экономики, только одной из частей которого был «Капитал» (наряду с томами о земельной собственности, наемном труде, государстве, международной торговле и мировом рынке). Вся система должна была получить название «Критики политической экономии». Так была названа Энгельсом его небольшая работа 1844 года, которая и привела Маркса к этим темам. В хо-

де своей жизни Маркс опубликовал различные разделы этой работы, включая введение «К критике политэкономии» (1859) и первый том «Капитала» в 1867 году. Даже эта последняя часть составляла только одну треть первых шести частей этого проекта, и Энгельс посмертно опубликовал оставшиеся две трети «Капитала» в 1885 и в 1894 годах. Почти через сто лет фрагментарный черновик этой рукописи, известный как Grundrisse, был опубликован к радости его почитателей. Но даже эти 800 страниц были только малой толикой целого. Очевидно, Маркс поставил перед собой колоссальную задачу, которая отступала по мере того, как он погружался во все более педантичные детали в тех разделах, над которыми работал. Энгельс все время подталкивал его к быстрейшему завершению и публикации, но у Маркса не было дара Энгельса писать быстрые и сбалансированные обзоры. Если говорить правду, то тысячи страниц Марксовой экономики с их переходами через сложные гегелевские абстракции представляли собой утомительный лабиринт. Их было бы совсем скучно читать, если бы они не перемежались пафосом политического крестового похода Маркса против капитализма и его идейных оппонентов; только инвективы морального возмущения в этих пассажах возвращали его скучную прозу к жизни. Именно эта комбинация эмоционального пыла и бесконечных интеллектуальных абстракций производила большое впечатление на современников Маркса и считалась признаком его гения; она продолжает вызывать восхищение тех, кто предпочел окатиться в орбите его влияния.

Говоря напрямиком, социология не должна находиться в плену у этого лабиринта мыслей Маркса. Энгельс вдохнул социологические идеи в его видение, и только собственные труды Энгельса и те труды, над которыми Маркс работал с ним в соавторстве или вдохновлялся их совместными работами, показывают, что социология может взять из теорий «Маркса»².

² Некоторые комментаторы обращали внимание на различия в позициях Энгельса и Маркса. По большей части их различие происходило за счет Энгельса, который считался в большей степени догматическим материалистом и доктринером. Поздняя статья Энгельса (1873–1874), где он применяет диалектику к естественным наукам, критиковалась философами-марксистами 1920-х годов, Георгом Лукачем и Карлом Коршем. Недавние марксисты (например, *Norman Levine, Tragic Deception: Marx Contra Engels*, Oxford: Clío Press, 1975) критиковали Энгельса за отсутствие у него Марксова гуманистического видения, которое шло от младогегельянцев. В результате Энгельс оказывался предте-

Естественно возникает вопрос: почему Энгельс сознательно отказался от своего оригинального вклада в пользу Маркса. С одной стороны, Энгельс и Маркс действительно сходились в некоторых своих идеях, особенно на ранних этапах своей деятельности, когда Маркс полностью погрузился в свой проект гегелизированной экономики. Оба были молодыми и деятельными революционерами. Энгельс возглавлял военное восстание в своем родном городе Бармене в Германии в 1848 году. После спада революции Маркс продолжал вести подпольную политическую работу и возглавил Коммунистический интернационал, вклад же Энгельса состоял в том, что он управлял фабрикой и поддерживал Маркса финансово. Несомненно, что эта политическая преданность и более сильная политическая личность Маркса и послужили основой их единомыслия, во всяком случае на публике. К тому же с Марксом трудно было ладить. Энгельс был одним из немногих знакомых, с которым он не поссорился. Фактически Энгельс был его единственным другом. Условием их дружбы было то, что они избегали всяких идейных расхождений; в публичных ситуациях Энгельс не должен был ставить под сомнение факт Марксова превосходства в их сотрудничестве. Вероятно, такая ситуация даже была на руку Энгельсу, поскольку с внешней стороны он слыл в Манчестерском обществе уважаемым руководителем бизнеса. Маркс же не только

чей сталинских репрессий, которые бы осудил более гуманистический Маркс. Эта критика была совершенно не по адресу. Действительно, все более «мягкие» гегельянские интерпретации Маркса становились все более популярными в последние несколько десятилетий (частью этого умонастроения стало возрождение интереса к Лукачу и Коршу, оба из которых были гегельянами). Но это произошло в значительной степени из-за крушения веры в экономическую неизбежность капиталистического кризиса и общего чувства антагонизма против науки, чуждого и Марксу, и Энгельсу. Гегельянство является в значительной мере стихией мистификации, которая не позволяет нам видеть реальные социологические процессы, на которые указал Энгельс. Реальная сложность Марксовой экономической системы как раз и заключалась в том, что он настойчиво пытался уложить ее в каркас гегелевских категорий.

Энгельс не желал обращать слишком много внимания на младогегельянцев (он не хотел добавлять большого раздела, посвященного Фейербаху, к «Немецкой идеологии», считая его не очень реалистическим; из рукописей Маркса, опубликованных Энгельсом посмертно, он не напечатал только «Экономико-философские рукописи 1844 года»). И это было воспринято как проявление слабости Энгельса, как и отсутствие интереса у него к более абстрактным

мирился с бедностью, но также и с опасностями, сопряженными с деятельностью политической полиции и с бесконечной борьбой с цензорами на континенте. Возможно, Энгельс даже испытывал внутреннее идейное удовлетворение. В конце концов, это он инициировал «критику политической экономии» и систему материалистической социологии конфликта в 1840-х годах, и он, вероятно, находил удовлетворение в том, что его проект теперь работал во всех деталях, тщательно проработанных усилиями его друга. Через 25 лет он смог сам вернуться к идейной борьбе, но теперь у него в руках уже был более или менее законченный продукт. После того как Маркс заболел и умер, Энгельс оказался в центре внимания как популярный и влиятельный глашатай, мыслям которого придавали большое значение, и предложил ввести новые элементы в систему. Можно сказать, что ценой отсутствия должного признания Энгельс смог пожать плоды приятной и успешной интеллектуальной карьеры в гораздо большей степени, чем это удалось Марксу в течение своей жизни.

Если кому-то угодно играть с названиями, можно сказать, что название «марксизм» — это миф и что, с точки зрения социологии, Маркс мог бы быть более корректно назван «энгельсианцем». Маркс писал более крупные и более систематические работы, но в более узком и мономаниакальном ключе. Энгельс брал шире и был

лабиринтам Марксовой экономики. Но справедливее было бы сказать, что у Энгельса было лучшее чутье на то, что достойно внимания для реалистического анализа социального мира. К тому же Энгельс отнюдь не был более догматичным из них. Его статьи по «Диалектике природы» не были особенно успешны и только указывали на своего рода метафорические сходства между диалектикой и различными физическими и биологическими процессами. Но эти статьи показывают его интеллектуальную широту и его интерес к законам природы, который был частью его стремления к созданию также и науки об обществе. Он использовал диалектику на своей собственной почве для того, чтобы пробудить чувствительность к процессам конфликта и изменения, как это можно видеть по его историческим трудам. Фактически для Энгельса была чрезвычайно важной идея приоритета эмпирической сложности над априорными теориями, и он использовал диалектику для того, чтобы *преодолеть* всякий грубый материализм. Он готов был предоставить «надстройке» политики и идеологии статус независимого полюса в ее диалектическом взаимоотношении с экономическим «базисом» (*Leonard Krieger, "Introduction" to Friedrich Engels, The German Revolution, Chicago: University of Chicago Press, 1967: XX*).

более социологичен. Он больше стремился к работе над наскоро написанными статьями, испытывая новые идеи на бумаге — отсюда поверхностность некоторых его мыслей, например, его мысли о диалектике природы или его упрощенный эволюционизм в трактовке истоков семьи и государства. Но Энгельс был также достаточно гибок, чтобы признать свои методологические просчеты и предвосхитить прогрессивное развитие все более эмпирически адекватной социологии конфликта. Конечно, то, что делали Маркс и Энгельс, было только началом. Маркс, несомненно, обладавший гигантской интеллектуальной силой и энергией, впитал в себя ранние идеи Энгельса, усилил его аргументы и сделал их своими, как можно видеть на примере его блестящего «Восемнадцатого Брюмера». Когда он стал работать в одиночку и отошел от влияния Энгельса, социолог в нем уступил место одержимому одной идеей экономисту-гегельянцу. Но в конце концов, не так важно, какой именно вклад внес каждый из них. Говоря о темах, которые могут быть названы «энгельсовскими», я делаю это только потому, что их труды неоднородны и их вклад неравноценен. Но здесь мы рискуем созданием несколько мифического «Энгельса» вместо уже изрядно мифологизированного Маркса. Теперь имеет смысл обратиться к тем направлениям их мысли, которые оказали наиболее долговременное влияние на социологию.

Теория социальных классов

Социальные классы находятся в центре концепции истории Маркса и Энгельса. Так как речь идет об экономических классах, они должны иметь свою материальную базу. Но имеется в виду не только технология экономического производства. Классы определяются прежде всего своим социальным отношением, которое связывает вместе материальную, идеологическую и политическую стороны общества. Речь идет о собственности, то есть юридическом праве на определенные материальные блага, поддерживаемое государством. Каждый тип общества имеет не только особую форму экономического производства, но и особую форму собственности и отсюда социальных классов. Энгельс и Маркс дали только набросок того, каковы могут быть типы этих обществ и каковы типы классовых систем. Этот набросок не должен восприниматься как установление каких-то неизменных стадий, а только как иллюстрация классовых систем. Например, в древних обществах Средиземноморья (Греция, Рим) производство основывалось на собственности на ра-

бов. Поэтому основными социальными классами были патриции — класс рабовладельцев — и сами рабы — основные производители в этом обществе, но существовал также и промежуточный класс — плебеи, в число которых входили те, кто не был рабом и не владел рабами. Очевидно, что эта структура была не так проста. Рабы иногда поднимались на восстания, но главной формой классового конфликта в древнем обществе выступал конфликт между рабовладельцами и плебеями, промежуточным классом. Как мы увидим, такие трехсторонние конфликты чрезвычайно распространены в мировой истории.

Точно так же «феодалное» общество (Маркс и Энгельс так называли аграрные государства европейского Средневековья) основано на продуктивной собственности, которая состоит из земли и рабочих, привязанных к ней. Поэтому основными классами здесь были землевладельческая аристократия, крепостные крестьяне, привязанные к земле, и промежуточный класс городских ремесленников и купцов, которые делились в свою очередь на мастеров гильдий, поденщиков, подмастерьев и т.д. Можно говорить и о дальнейших градациях в разделении собственности, и, соответственно, возможности множественных классовых конфликтов. В конечном счете, в капиталистическом обществе, единственном обществе, которое Маркс и Энгельс хорошо знали, основной формой собственности был промышленный капитал. Поэтому основными классами и основой классового деления были капиталисты, которые владели средствами производства, и пролетариат, или рабочие, которые не владели никакой собственностью и вынуждены были продавать свой труд, чтобы выжить.

Классы — это основные деятели на мировой сцене. Классы ведут экономическую и политическую борьбу, вступают в альянсы и стоят у истоков социальных изменений. У каждого класса есть своя культура и свое мировоззрение. Поэтому идеи и верования каждой исторической эпохи и каждого сектора общества определяются составом их классов. Нужно подчеркнуть, что Энгельс и Маркс представляют отнюдь не механическую концепцию классов, связанных с каждым способом производства. В своих конкретных исторических и политических трудах, например, в работе о крестьянских войнах в Германии и революциях во Франции, они выделяют множество различных классовых подразделений. Так высшие классы середины XIX века включали в себя не только собственников промышленного капитала, но и финансистов и класс землевладельцев. Эти три части буржуазного общества могли ве-

сти политическую борьбу между собой. Существовал также промежуточный нижний средний класс, состоявший из торговцев, лавочников, мелких производителей и ремесленников. Он также составлял независимую культурную среду и сам мог включаться в политическую борьбу. Маркс и Энгельс часто называли выходцев из этой группы «мелкобуржуазными радикалами». Но такие классы не были фиксированными. Маркс и Энгельс ожидали, что мелкая буржуазия будет терять свою собственность и будет пополнять ряды пролетариата в результате цикличности капиталистической экономики, которая постепенно ведет ко все большей промышленной концентрации.

Все эти классы ясно определены отношением к определенному рода собственности. Но в схеме Маркса и Энгельса есть и другие классы, основа которых более загадочна. Тем не менее и они могут играть важную политическую и культурную роль. Например, существует люмпен-пролетариат: попрошайки, воры, бродячие рабочие и увеселители, а также буржуазные изгои, азартные игроки, бродяги, проститутки, которых в то время всех вместе называли «*la bohème*». Маркс описывал эту группу как шоковые войска контрреволюции во Франции между 1848 и 1851 годом. Еще ранее Энгельс описал армии бродяг, которые играли двойственную роль на обеих сторонах конфликта в германской крестьянской войне во времена Реформации. Класс люмпен-пролетариата, структурные изгои общества, происходит не из экономического базиса общества и не связан с владением собственностью. Тем не менее это был переменчивый класс *par excellence*, который могла подкупить любая сторона. Именно такие структурные силы со стороны чрезвычайно усложняют классовый конфликт. Другим примером могут служить интеллектуалы, которые обычно обслуживают пожелания своих богатых патронов, но которые, тем не менее, часто позиционируют себя в качестве независимых и даже революционных сил, когда в экономической структуре общества появляется истинно революционный класс.

Среди высших классов также есть структурные группы, нетождественные классу собственников. Маркс упоминает, в частности, армию и правительственных чиновников. Они могут быть названы хищническими классами, живущими за счет надстройки. Эти классы впоследствии будут играть важную роль в нео-марксистских теориях революции, например, в теории Баррингтона Мура Младшего или Теда Скокпола. Энгельс обнаружил политические деяния такого типа также в среде высших классов феодального

общества, подчеркивая, что немецкая аристократия 1500-х годов была расколота между князьями, высшим священством (католическая церковь была богатым и привилегированным владельцем собственности) и мелкими рыцарями. Войны Реформации включали в себя не только восстания крестьян (в которых участвовали и армии попрошаек) и городской буржуазии (от лица которой выступал Мартин Лютер), но также и движения различных слоев аристократии, борющихся между собой за распределение собственности в обществе.

Концепция социальных классов не была изобретением Энгельса и Маркса. Эта концепция уже была частью терминологии их европейских предшественников. Их вклад состоял в разработке начал *теории* классов, демонстрации причин их возникновения и последствий их деятельности. Их анализ был сильнее в плане анализа последствий: они, в частности, показали, как любая политическая борьба может быть проанализирована с точки зрения конфликтов и альянсов социальных классов, преследующих различные экономические интересы. Они также предложили общую схему причин возникновения социальных классов, то есть условий, при которых они выходят на сцену. Эта часть их теории была только предложена, но не разработана в деталях. В целом мы видим, что тип системы собственности каждой эпохи создает определенные основные классовые деления. Но для возникновения классов требуются различные вспомогательные условия. Условия, которые их производят и которые направляют их в специфических направлениях в классовой борьбе, остаются темами для разработки в традиции социологии конфликта по модели Маркса и Энгельса.

Теория идеологии

Основной принцип материализма состоит в том, что человеческое сознание исходит из определенных материальных условий, без которых оно не могло бы существовать. Маркс и Энгельс выдвинули эту идею достаточно рано, в период критики (и переворачивания) гегелевского идеализма. Но их аргумент не сводится к абстрактному утверждению о том, что «надстройка» идей отражает материальный базис. Дело не в том, что экономика определяет тип идей. Побочные процессы объясняют множественность социальных классов, их конфликты и даже их степени относительной автономии. В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс утвержда-

ют, что господствующие идеи любой эпохи — это идеи господствующего класса, так как они контролируют процессы ментального производства.

Здесь содержатся две важных идеи. Первое — это то, что социальные классы склонны видеть мир особым образом. Идеи отражают их экономические интересы, а также социальные условия, сопряженные с этими интересами. В качестве идеологии идеи служат двум целям: они служат орудиями самовозвышения и орудиями сокрытия собственных интересов в идеальной форме, что вызывает почтительное к ним отношение. Аристократия феодальной эпохи, например, культивировала идеи чести и верности. Это отражало их позицию воинов и также косвенно подтверждало их наследственные притязания на землю и их право на смиренную покорность их крепостных крестьян. «Честь» значила мужество в битве и рыцарские правила в отношении «почетных» оппонентов из того же класса; также подразумевалось, что чувство чести связано с семьей и воспитанием. Поэтому честь исключала как мероприятия, ориентированные только на извлечение прибыли, как, например, в случае купцов и ремесленников, так и грязную трудовую деятельность, как в случае крестьян, за счет которых они жили. Таким же образом буржуазия выступила с новым комплексом идеалов: свободой, равенством, «вечными правами человека». За этим абстрактным универсализмом — за революционными речами против наследственной аристократии, провозглашающих достоинства коммерции, за разговорами о необходимости работы для жизни и о социальном подъеме за счет собственного богатства — скрывался классовый смысл. Но одновременно эта идеология возвышала универсальные правила денег, которые не знают родословной, спускала с пьедестала аристократию и пыталась удержать рабочих на своем месте, утверждая абстрактное равенство и умалчивая о том, что соревнование на рынке работает против рабочих.

В политических баталиях различные идеалы стали отправной точкой для антагонистических классов. Маркс смотрел сквозь идеологию соперничающих политических партий Франции в предреволюционный период 1848 года — «легитимистов», которые хотели восстановить старую бурбонскую монархию, и «орлеанистов», которые поддерживали альтернативный королевский дом, — указывая на экономические интересы, которые представлял каждый из этих лагерей. Владельцы земельной собственности, выступающие за «легитимистов», с одной стороны, и новые финансовые ка-

питалисты, защищающие «прогрессивную» политику Орлеанцев — с другой. Политика всегда ведется с использованием особого кода, который должен быть расшифрован. Партии редко спускаются на воду под своими собственными парусами.

Идеологии высших классов всегда отражают их интересы, хотя и в идеализированном виде. Это происходит потому, что они имеют возможность контролировать *материальные средства*, которыми производятся идеи. Это средства духовного производства: книги, печатные станки, газеты, церковные паперти, с которых возглашаются позиции тех, кто может оплачивать счета. Интеллектуалы тоже являются специалистами в области идей; они тоже должны зарабатывать средства, приспосабливаясь к экономической структуре своего времени. В условиях средневекового феодализма интеллектуалы могли выжить, становясь священниками и монахами или получая доход от земельных угодий церкви, или попадая к какому-то благородному патрону, которого надо было развлекать. Поэтому интеллектуалы, которые в принципе были свободны высказывать любые идеи, пришедшие им в голову, тем не менее, создавали идеологии, удобные для тех, кто их кормит: средневековые поэты воспевают благородные добродетели, а священники в своих теологиях провозглашают наследственные титулы в обществе отражением вечного порядка, данного нам от Бога.

Когда происходят изменения экономической эпохи, открываются новые формы поддержки интеллектуалов: например, рынок книг и газет, который получил начало в капиталистической Англии и Западной Европе в 1700-х годах, или школьная система, требующая учителей. Когда у интеллектуалов есть выбор относительно альтернативных средств поддержки, увеличивается их интеллектуальная автономия, и они могут включаться в критику старого порядка и даже переходить на сторону революции. Но это не означает, что идеи автономны и могут свободно циркулировать: они всегда отражают социальные и материальные обстоятельства интеллектуалов и становятся революционными именно в те времена, когда материальный базис общества и его способ идейного производства претерпевают изменения, как, например, в конце 1700-х, когда французские интеллектуалы были зачинателями и барабанщиками революции 1789 года.

Энгельс и Маркс не разрабатывали теорий способов интеллектуального производства систематически. Но их общая идея была достаточно плодотворна для последующей социологии. Энгельс и Маркс интересовались прежде всего производством политиче-

ских идеологий. Теория материальных и социальных условий применима к различным формам интеллектуального творчества. Арнольд Хаузер и другие использовали ее для объяснения изменяющихся форм искусства и литературы в различные исторические периоды. Это направление мысли также дало толчок социологии науки, начало которой пришлось на 1930-е годы, когда марксистские ученые Д.Д.Бернал, Джозеф Нидэм и Борис Гессен предприняли попытку показать, почему наука возникает только в определенных исторических и экономических условиях. Это не означает, что социология науки двигалась в строго марксистском направлении. Роберт Мертон и другие реагировали на вызов марксизма попытками показать внутреннюю нормативную социальную организацию науки.

В последние годы мы ближе подошли к концепции науки как серии *гнездовых слов* институтов: внешние экономические и политические системы при определенных условиях (некоторые из которых мы обсудили в прологе) позволяют существовать университетской системе и исследовательским лабораториям. В свою очередь они становятся промежуточным слоем социальных и материальных условий, в рамках которых могут работать ученые и другие интеллектуалы. Но внутри этой сферы ученые переживают свои конфликты: они разбиваются на отдельные группы, которые пытаются работать на разных видах лабораторного оборудования; они рассматривают идеи как интеллектуальный капитал, который можно инвестировать (в терминологии французского социолога Пьера Бурдьё), и, по словам Томаса Куна, они разделяются на консерваторов, защищающих свои «парадигмы», и «радикалов», которые осуществляют интеллектуальные «революции». В последнее время социологи, которые изучали процессы, имеющие место в научных лабораториях, заметили, что то, что рассматривается как «знание», часто формируется материальным субстратом самого исследовательского оборудования и тем способом, каким результаты будут объявлены в печати. Сейчас мы знаем значительно больше о средствах духовного производства и движемся ближе к цели Энгельса и Маркса — демонстрации того, как идеи отражают свои материальные социальные обстоятельства.

Я рассматривал теории идеологии в двух ее изводах: с точки зрения объяснения политических идей господствующих классов и с точки зрения производства специализированных идей интеллектуалами. Общая теория идеологии имеет и другие последствия. Она подразумевает, что каждый социальный класс обладает своей осо-

бой культурой и мировоззрением, которые отражают социальные обстоятельства его жизни. Такой анализ классовых культур, как мы увидим, значительно усовершенствовался с веберовской концепцией статусной группы и был подтвержден эмпирическими исследованиями XX века. В третьей главе я попытаюсь показать, каким образом традиция Дюркгейма добавила важное звено в теоретическое объяснение причин, по которым различные классы избирают для себя разные интеллектуальные и моральные миры. Энгельс и Маркс с их преимущественным интересом к политике не пошли в этом направлении слишком далеко. Но они заложили некоторые важные ведущие принципы.

В своем обсуждении немецких крестьянских восстаний в период Реформации Энгельс попытался показать, почему крестьяне должны были завуалировать свои революционные требования в религиозной форме. В «Восемнадцатом Брюмера» Маркс заимствовал идею Энгельса для объяснения причин, по которым крестьяне Франции поддерживали диктатора Луи Бонапарта против Парижской революции. В обоих случаях общая идея состояла в том, что крестьяне были скованы и изолированы в своих небольших деревнях и фермах. Материальные условия не давали крестьянам сформировать никакой концепции себя самих как класса с общими интересами, противостоящими другим социальным классам. Они не видели ничего, кроме своих местнических интересов и неизвестного и враждебного внешнего мира. Поэтому сознание крестьян мистифицировалось: в одном случае оно сосредоточилось на религиозных идеях о приходе «золотого века» и падении Антихриста, который правил миром под видом Римского Папы, в другом случае речь шла о национальной мифологии императора Наполеона, который пришел для того, чтобы спасти Францию. Обе этих идеологии оставляли крестьян на милость политических сил, которые они не были в состоянии понять.

С теоретической точки зрения, объяснение, к которому прибегли Энгельс и Маркс, давало ключ к пониманию некоторых решающих механизмов классовых культур. Социальные классы не формируют своих идеологий одинаковым образом. Высшие классы, которые лучше внутренне организованы и могут контролировать средства интеллектуального производства, разрабатывают идеологии, имеющие более абстрактный характер и более ориентированные на самовозвеличение. Идеологии подчиненных классов, гораздо менее пригодные в качестве орудий для достижения их целей, отражают, тем не менее, условия их жизни. Мы начина-

ем понимать, что мы имеем дело с идеологической стратификацией и идеологическим господством наряду с чисто экономическим и политическим господством. Мы входим в сферу, где существуют особые отношения между физическим насилием и тем, что Бурдье называет «символическим насилием». И мы видим посредника между этими двумя царствами: социальные и материальные условия повседневной жизни, которые и составляют средства духовного производства.

Теория политического конфликта

Политика, экономика и социальные классы решительно связаны. Поскольку экономическая система организована вокруг собственности, которая определяет классы, *собственность поддерживается государством*. Собственность — это не тот объект, которым владеют. Нечто принадлежит какому-то лицу только потому, что государство устанавливает юридическое право и будет защищать это право применением силы вплоть до привлечения сил армии. Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» смеялись над буржуазными идеологами, которые считали, что собственность — это неотчуждаемое право индивида, которое никак не связано с обществом. Особые типы собственности возникают только в особых социальных системах. Человек, законно владеющий куском земли, но у которого нет капитала, чтобы ее культивировать, не располагает ничем, кроме фикции. Бумажные деньги тоже ничего не стоят, пока мы не примем условий общества, которые делают их легальным тендером.

По этой причине любой господствующий экономический класс должен быть заинтересован в политике. Это не означает, что он должен заниматься повседневным управлением делами государства. Но он должен быть уверен, что государство продолжает защищать его интересы собственности, и ему необходимо вмешательство государственной власти, чтобы этот класс мог заработать еще большие богатства. Феодалная аристократия хотела, чтобы государство держало крестьян в зависимости, но она также хотела, чтобы государство продолжало вести войны, которые бы давали выгодные возможности побед, предоставляли монопольные права на прибыли иностранных плантаций и позволяли обкладывать налогами товары, которые перевозят по дорогам. Капиталистическое общество еще более переплетено с государством, потому что оно зависит от монетарной системы и от сложной сети акций, ссуд, выплат про-

цента, налогов, монополий и регуляций, адвокатов, судов и юридических тяжб.

Отсюда можно понять различие между внутренней и внешней формами политики. Внешняя политика включает в себя личности политиков, их скандалы, драматические кризисы иностранной политики, лозунги национализма, коррупцию, реформы, либерализм и консерватизм. Господствующий экономический класс не нуждается в том, чтобы принимать активное участие во всем этом, хотя для богатых всегда остается возможность лично заниматься политикой. Но внутренняя форма политики, слишком скучная для людей и для публики в целом, — это то, что позволяет классовой системе функционировать: она включает в себя малоприметные взаимодействия между казной и банками, финансирование государственных займов, установление законов в отношении контрактов и бесчисленные другие технические регуляции. В этом состоят реальные интересы господствующего класса, и в этом, согласно Марксовой концепции, он обычно добивается своего.

Политика — это борьба за контроль над государством. В концепциях Маркса и Энгельса господствующий класс, обладающий собственностью, всегда побеждает в этой борьбе за исключением тех исторических случаев, когда происходит смена способа производства. Тогда политический контроль уходящего правящего класса сходит на нет, и он заменяется новым классом. Здесь необходимо провести различие между тем, как должна была работать Марксова экономическая система и той социологией, которую Маркс и Энгельс связали с ней. Согласно экономической концепции Маркса внутренние противоречия капитализма должны привести к концентрации капиталистической собственности, росту огромного безработного и низкооплачиваемого пролетариата и, в конечном счете, экономическому кризису настолько крупномасштабному, что единственным выходом из него должно было стать уничтожение системы частной собственности. Его экономическое предсказание не осуществилось, и по ряду экономических причин можно уверенно утверждать, что оно никогда не сбудется. Современные марксисты пошли другим путем в поисках источников революции, причем таких, которые не были бы зависимы от самих экономических кризисов. Если бы капиталистическая экономика работала так, как ее описал Маркс, то капиталистический класс господствовал бы в политике до тех пор, пока резкий переход власти не передал бы ее в руки политических лидеров пролетариата. В действительности политика оказалась гораздо сложнее этой схемы.

Революции, когда они происходили, всегда имели в качестве своих участников различные социальные классы, сражающиеся в сложных коалициях. Маркс и Энгельс, анализируя революции своего времени, уделяли большое внимание борьбе различных слоев капиталистического класса (или в случае войн Реформации, проанализированных Энгельсом, – борьбе различных слоев аристократии). Короче говоря, социология Энгельса и Маркса была гораздо более реалистичной в сравнении с их экономикой. Если бы их экономическая теория была эффективной, их социология стала бы только дополнительным маховиком в машине, перемалывающей политические результаты экономических процессов. Но если их экономика потерпела фиаско, это не означает, что мы должны выбросить и их политическую социологию. Наоборот, их социология дает начальные интуиции той реалистической теории конфликта, которая применима к различного рода ситуациям, а не только к особым экономическим сценариям, которые они описали. Крепы, сжимающие социологический маховик, ослабевают: при желании мы можем полностью сбросить со счетов всю их экономическую машину. При этом у нас останется в руках группа принципов, которые покажут нам, кто завоевал какую степень политической власти и почему. Буржуазия не должна все время побеждать. Теперь мы сможем объяснить условия, при которых возможны различные либеральные реформы, представительство интересов рабочего класса, а также классовые расколы. Короче говоря, в наших руках оказывается мощный инструмент понимания всей сложной и хаотической реальности политики.

Один из этих важнейших принципов состоит в том, что *власть зависит от материальных условий мобилизации*. Этот принцип восходит к энгельсову анализу причин господства аристократии над немецкими крестьянами. Численно крестьяне значительно превосходили своих угнетателей. В ходе крестьянских восстаний они располагали армиями, в десятки раз превосходившими армию аристократии, посланные сражаться с ними. Тем не менее аристократия всегда побеждала. Это ей удавалось за счет раскола крестьянства и за счет подкупа одной из его групп, пока она сражалась с другой. Аристократия располагала лучшими *средствами мобилизации*: она была организована как группа, специализировавшаяся на движениях и коммуникации на длинные дистанции, с своими лошадьми, альянсами, знакомством с военными маневрами. Так как крестьяне могли прийти только к мистифицированному пониманию окружающего мира за пределами их местных мирков, у них не было

материальных средств самоорганизации для политической борьбы. Маркс еще более энергично утверждает эту позицию в отношении французских крестьян своего столетия: они были разъединены, говорит он, «как картофелины в мешке», просто сброшенные вместе без всякого единства между собой. Их материальные условия разделяли их и не давали им достичь никакой политической силы.

Класс владельцев собственности политически доминировал, поскольку он располагал лучшими средствами политической мобилизации. Капитализм представляет собой взаимосвязанную систему. Деловые люди активно вовлечены в торговлю между собой, они наблюдают за конкурентами, берут ссуды, формируют картели. Финансовые сети и сам рынок выступают средствами коммуникации, которые соединяют капиталистический класс в закрытую сеть. Поэтому деловой класс, особенно его верхние финансовые круги, всегда уже заранее чрезвычайно хорошо организован. Деловой класс располагает сетью учреждений, которую он может легко использовать, чтобы войти в политику, если ему это понадобится. Рабочие классы, с другой стороны, не располагают такими средствами организации. Чтобы принять участие в политике, они должны слишком многое предпринять для создания политической организации и попытаться связать рабочих из разных мест в единую силу. Таким образом, несмотря на огромное численное превосходство рабочих над деловой элитой, превосходящие средства политической мобилизации последних передают баланс политической власти в их руки. Контроль среднего класса над средствами духовного производства — владение газетами, телевидением и тому подобным в современном обществе — означает, что сравнительно небольшое меньшинство владельцев малого бизнеса может определять политические проблемы из своей перспективы и завоевывать политическую власть вне всякой пропорции к своей собственной численности.

По этой причине капиталистический класс исторически предпочитал ту или иную форму республиканского правления. Демократия избирателей оказывается благоприятной для деловых интересов, потому что деловой класс гораздо лучше других мобилизован для борьбы за власть. Можно сказать, что те же самые материальные условия, которые конституируют саму деловую систему, могут быть легко обращены на подчинение рынка избирателей. Несколько лет назад Баррингтон Мур Младший использовал этот принцип для объяснения причин возникновения де-

мократии, а не социалистического и фашистского правительств, в определенных исторических ситуациях. Ниже мы проанализируем эти и другие импликации политической социологии Маркса и Энгельса.

Есть и другая важная причина, по которой для капиталистов достаточно легко доминировать в политике демократии, по крайней мере, в вопросах, в которых они наиболее заинтересованы. Эта причина — важность финансов в правительстве, особенно вопросов национального долга. Маркс подчеркивал, что революционное правительство Франции в 1848 году не посмело вести радикальную экономическую политику, поскольку его собственная платежеспособность зависела от силы французской валюты. Банки взяли правительство в заложники, так как программы, которые мешали деловой уверенности, автоматически приводили к безработице, падению налоговых поступлений и в целом усугубляли проблемы оплаты счетов правительством. Правительство, конечно, могло взять в свои руки банки и руководить тем, чем оно хотело, но только ценой крушения всей деловой системы. В отношении капиталистической экономики правительство оказалось в ситуации хозяина гуся, который несет золотые яйца, только пока за ним хорошо ухаживают. Так как правительство не может выжить без обеспечения своих войск и своих гражданских служащих, не говоря уже о поддержании уверенности у населения, оно должно поддерживать экономическое процветание. Всякие повороты влево автоматически становятся саморазрушительными, так как они вызывают такую реакцию в деловом сообществе, которая создает экономический кризис. Мы видели, как в XX веке подобного рода механизм приходил в действие каждый раз, когда социалистические и либеральные правительства вступали в права правления в Европе в 1920-е годы или в Латинской Америке: эти правительства не могли удержаться из-за быстрорастущей инфляции. В результате становится ясно, что любой половинчатый социалистический путь обречен на поражение. Только очень сильное революционное правительство может преодолеть потерю деловой уверенности и возникший на ее основе период экономического кризиса, когда оно немедленно забирает все деловые и финансовые дела в свои руки и навязывает полностью регулируемую экономику.

Эта схема также объясняет условия, при которых власть рабочего класса может возрасть. В «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс подчеркивают, что капитализм преодолевал изоляцию и фрагментацию, характерную для старых низших классов.

Если небольшие фермы изолировали крестьян, то сам процесс концентрации бизнеса, который имел место при капитализме, собирал рабочих вместе. С покупкой малых бизнесов все большее количество рабочих приходило на огромные фабрики, где их стало легче организовывать. Формировались не только профсоюзы, но и политические партии рабочего класса. В конце концов, с ростом тенденции к монополизации рабочие консолидируются и их единство теперь может позволить им материализовать их численное превосходство и сбросить капиталистов.

Это не совсем то, что на самом деле случилось, но Маркс и Энгельс были отчасти правы по поводу исторической тенденции и даже еще больше в отношении теории. Исторически партии рабочего класса создавались по мере того, как капитализм становился все более концентрированным, хотя этот процесс не зашел так далеко, как ожидали Маркс и Энгельс, поскольку одновременно происходили изменения средств политической мобилизации, и процесс монополизации стабилизировался на промежуточном уровне. Внутри организационная структура возникших крупных капиталистических корпораций мобилизовала различные группы работников по-разному. Подчиненный высшему менеджменту, средний слой офисных работников приобрел свое собственное самосознание на основе общих условий работы и таким образом стал независимой промежуточной политической силой. За пределами гигантских корпораций росли связанные с ними сети специалистов и профессионалов: небольшие инновационные фирмы, инженеры и архитекторы, адвокаты, представители средств массовой информации, консультанты по инвестициям, ученые, интеллектуалы. Эти различные профессии, каждая по-своему, тоже были мобилизованы и вплетены в свои собственные системы связи, даже еще в большей степени, чем деловой класс. При этом средства политической мобилизации оставались чрезвычайно важными. Говоря эмпирически, эти средства мобилизовывали большое количество различных, преследующих свои собственные интересы, профессиональных групп. Вместо того, чтобы упроститься до противостояния капиталистов и рабочих, современная политика раскололась на сложную систему действий многих независимых мобилизованных групп со своими собственными интересами. Таким образом, политика оказалась связанной с переговорами различных коалиций.

Но фактически такова была ситуация и до этого. В анализе революций своего времени Энгельс и Маркс великолепно писали о ко-

алициях. Как я пытался показать, их теория политики и сегодня применима к новым обстоятельствам. Эта теория говорит не о деятелях, которые будет играть роль в определенный момент, а о том, какое политическое оружие они могут использовать и каких можно от них ожидать результатов при условии, что мы знаем этих игроков. Современные теории социальных движений, особенно теория мобилизации ресурсов Чарльза Тили и Антони Обершалла, продолжают это направление анализа.

Теория революций

У Маркса и Энгельса была общая теория революции, которая, как они ожидали, приведет к конечному падению капитализма и откроет эпоху социализма. Но их более важные и полноценные теории революции основывались на их специальных исторических исследованиях менее глобальных революций той эпохи (а в случае Энгельса также и на размышлениях по поводу революционных аспектов протестантской Реформации). Их базовый анализ состоял в том, что революции проходят через разные фазы из-за *нестабильных коалиций между различными социальными классами*. Низшие классы часто вносят наибольший вклад в разрушение старого режима своими бунтами и восстаниями. Но у низших классов часто есть тенденция действовать в интересах высших социальных классов. В 1789 и 1848 годах пролетариат и мелкая буржуазия вели борьбу в интересах верхнего слоя буржуазии, подобно тому, как немецкие бюргеры боролись за интересы немецких князей против римской католической церкви.

Почему революции приобретают это особое качество ложного сознания и действия в интересах кого-то другого? Мы уже видели некоторые части ответа на этот вопрос. В результате дифференциального контроля над средствами духовного производства высшие социальные классы могут определять цели революции и ее врагов. Рабочие и крестьяне ведут бой, а буржуазия и аристократия говорят им, за что они борются. Так как целая группа классов борется за власть, формируются коалиции, и их интересы сливаются. Коалиции всегда идеологичны, поскольку им нужны общие лозунги, с которыми можно маршировать. Таким образом, различные общественные классы, которые могут ненавидеть друг друга в определенный период времени, в другие моменты должны маршировать вместе, чтобы защитить то, что они считают общим делом. В 1848 году легитимисты и орлеанисты (землевладельцы и капиталисты)

должны были положить конец своей внутренней склоке, поскольку всем видам собственности угрожала опасность со стороны революционной республики. Один из общих принципов состоит в том, что коалиция удерживается со своими врагами. Только после исчезновения врагов ее члены могут драться между собой. Сходным образом в 1848 году революционная партия была коалицией двух антагонистических классов: нижнего среднего класса лавочников, которые благоволили капитализму, и рабочих, которые боролись за социализм. Эти странные партнеры удерживались вместе своими врагами, реакционными высшими классами, которые угрожали республике. Борьба между этими двумя группами велась с противоположными лозунгами, но оба из них вводили в заблуждение относительно их действительных целей. Консерваторы нападали на них, называя их всех социалистами и врагами социального порядка; революционеры должны были забыть о своих экономических различиях и сконцентрироваться на общем лозунге защиты демократии.

В конце концов, консерваторы смогли мобилизовать больше ресурсов и расколоть своих оппонентов, отщепив крыло радикальных рабочих от республиканцев. Но здесь вошел в силу другой принцип: *опасность победы для коалиции*. Нижний средний класс (то, что современные политологи называют «коалициями минимальной победы») теперь оказался ослабленным перед лицом консерваторов. Власть сдвинулась вправо. Но даже это не сулило стабильности, потому что консерваторы оказались во главе республиканского правительства, чье право на существование они отрицали. Они оказались в ловушке своей собственной идеологии и теперь были еще больше скованы начавшимися разногласиями с другими членами коалиции (легитимистами и орлеанистами) в своих собственных рядах. Тем самым был расчищен путь для новой политической силы: Луи Бонапарта и его диктаторского режима, который мобилизовал люмпен-пролетариат и получил идеологическую поддержку, играя на национализме крестьян. Единственной возможностью остановки войны коалиций стали истощение и дискредитация всех классовых сил.

Такая модель революции подспудно возникает в серии комментариев Маркса в его анализе истории, которая разворачивалась перед его глазами. Последующие теоретики продолжали исследовать не только мобилизацию различных классов, но также и те условия, которые приводят прежде всего к разрушению государства и открывают путь для революционного кризиса. Ниже мы познакомимся с этими теориями.

Теория сексуальной стратификации

После смерти Маркса Энгельс сформулировал свою общесторическую теорию семьи³. Тем самым он положил начало изучению проблемы равенства и неравенства среди мужчин и женщин и социальных причин изменения моделей этих отношений. Энгельс выдвинул концепцию особой сексуальной собственности: права этой собственности присваиваются и охраняются так же, как и права экономической собственности. В раннеплеменном обществе, считал он, существовал сексуальный коммунизм. Потом с введением частной собственности в экономику и с развитием классов возникла также частная сексуальная собственность: женщины стали сексуальной собственностью доминирующих в обществе мужчин. Энгельсовская модель смены эпох эволюции не слишком точна, хотя он и опирался на труды ведущих антропологов своего времени, когда антропология делала только первые шаги. Энгельс считал, что между эпохой первобытного коммунизма и эпохой патриархата была эпоха матриархата. Но его отношение к этим эпохам не было догматическим, и он был бы рад модифицировать свою теорию на основе лучшей теории группировки исторических фактов.

Но несмотря на все проблемы, его теория была верной в нескольких важных пунктах. Почти наверняка не существовало никакой всеобщей эпохи первобытного сексуального коммунизма или

³ Характерно, что Энгельс отдавал приоритет Марксу, идеи которого он якобы просто развивал. Это кажется сомнительным. Теория Энгельса стала точкой отсчета для феминисток. Под ее влиянием германская социалистическая партия заняла феминистскую позицию, утверждая, что единственным путем достижения сексуального равенства было свержение капитализма социализмом. Маркс, напротив, был скорее антифеминистом. В 1872 году он отдал распоряжение Международной ассоциации рабочих исключить ее американское отделение, которое возглавляла Виктория Вудхалл и в котором феминизм (а также права негров) был одним из приоритетных направлений деятельности. Маркс провозгласил, что организация должна очистить себя от тех, кто «отдает предпочтение женскому вопросу над трудовым вопросом» и кто отстаивает «женские франчайзы и... тому подобную чепуху» (см. *Hans Gerth, ed., The First International: Minutes of the Hague Conference of 1872*, Madison: University of Wisconsin Press, 1958: 177–178, 194–195, 246, 264–267). В своей частной жизни Маркс также разделял традиционные антиженские предрассудки. У него была викторианская авторитарная семья, на свою жену он смотрел как на домохозяйку и мать своих детей и в своих письмах Энгельсу писал о ней как о глупом

матриархата. Но от одного типа общества к другому происходила смена типов отношений сексуальной собственности. Патриархальные семьи древних и средневековых государств действительно представляли собой структуры, где господство мужчин достигло наивысшей степени. С переходом от племенных к классово-стратифицированным обществам статус женщины резко снизился. Энгельс также обратил внимание на то, что подъем капиталистического общества и его концепции семьи дали только формальную свободу женщине. Хотя женщины и были вольны вступать в брак по своему выбору, они должны были делать это на брачном «рынке», где у них отсутствовала всякая экономическая собственность. Поэтому типичной капиталистической формой ухаживания и брака стал обмен: женщина предоставляла секс и свою домашнюю субординацию в обмен на брачный контракт с мужчиной, который мог ее содержать.

Энгельс также дал важное общее объяснение различных систем сексуальной стратификации, соотнося их с экономической системой общества. Теория Энгельса таким образом могла совершенствоваться, способствуя и соотносясь с лучшим пониманием исторических данных. Прошло много времени, прежде чем его система была разработана в этом направлении. Макс Вебер, интересовавшийся феминизмом в связи с тем, что его жена была лидером феминистского движения в Германии, развил теорию Энгельса, кри-

создании (*Levine, 1975: 232, 238–239*). Дочь Маркса, которая поклонялась ему, перечисляет его ответы на вопросы: «Твоя любимая добродетель в мужчине: сила. Твоя любимая добродетель в женщине: слабость» (цит. в *Erich Fromm, ed., Marx's Concept of Man* (N.Y.: Frederick Ungar, 1961: 257)). Маркс, видимо, считал, что отношение мужчины к женщине было просто естественным отношением [в его «Экономико-философских рукописях 1844 года», *Ibid, 126*]. Энгельс, напротив, был скорее романтиком и поддерживал новые подпольные идеалы сексуального освобождения. Он поддерживал и жил с рабочей женщиной ирландского происхождения Мэри Бернс. Но Маркс и его жена целенаправленно третировали Мэри Бернс, когда Энгельс пытался познакомить ее с ними, так как она не была замужем за Энгельсом. Их моральное неприятие обрушилось всецело на Мэри Бернс, а не на ее партнера. Когда Мэри Бернс умерла и Маркс даже не выразил никаких соболезнований, Энгельс был впервые глубоко обижен на Маркса. В свете таких глубоких различий в их отношении к этому вопросу не удивительно, что Энгельс опубликовал «Истоки семьи, частной собственности и государства» только через год после смерти Маркса.

тикуя ее за слабость исторической базы, но вместе с тем высоко оценивая ее как весьма плодотворную. Вебер разработал сравнительную историю семьи, которая также подчеркивала разнообразие экономических структур семьи и форм сексуальной собственности, которые она предполагала. Вебер также дополнил свою теорию анализом политических факторов как определяющих формы сексуальной стратификации⁴.

Наиболее разработанные теории сексуальной стратификации стали появляться только в последние 20 лет; продолжают предприниматься попытки построить реестр различных объяснительных факторов. Основные идеи Энгельса занимают важное место в этом процессе. Одни из этих исследований берут за основу его концепцию экономического базиса семьи, утверждая, что домашний труд женщины является частью капиталистической классовой структуры. Работа женщин в качестве жен и матерей, хотя они и не получают деньги за свой труд, также является важной частью цикла воспроизводства рабочей силы. Без нее наемные рабочие, необходимые капиталистической экономике, не смогли бы выжить. Таким образом, под спудом более очевидных классовых отношений на рынке существуют еще и скрытое экономическое давление и скрытая классовая борьба. Продолжаются и споры о статусе женщины: являются ли они частью более широко определенного рабочего класса или в качестве домработниц они образуют второй женский рабочий класс, который находится в неявном противостоянии капиталистической системе и мужчинам-рабочим, своим мужьям.

До сих пор мы вели речь о применении экономической теории к половой стратификации в современном обществе. Другим примером применения этой теории может быть объяснение исторических различий между обществами с разными типами и степенями половой стратификации. Такие теоретики, как Ре Лессер Блумберг и Карен Сакс, обнаруживают зависимость между социальной властью женщин и свободы и степенью их вклада в экономическое производство и контроля над своей экономической собственностью.

⁴ Эта теория Вебера не слишком хорошо известна. Она остается погребенной среди его крупных работ, особенно его энциклопедической «Экономика и общество», а также в его лекциях по «Общей экономической истории». Изложение и развитие этой теории дается в *Randall Collins, "Weber's Theory of the Family", Weberian Sociological Theory* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1985).

стью. Это уточнение теории Энгельса не предполагает идеи последовательности эволюционных фаз, через которые якобы проходят все общества. Различные типы племенных сообществ, например, могут допускать господство мужчин или различные степени господства женщин в зависимости от их специфических экономик, основанных на половых различиях. В древних и средневековых («феодальных») обществах статус женщины обычно падал, так как они были вытеснены из основного экономического производства, хотя некоторые женщины-аристократки и могли получать преимущества там, где система брачной политики давала им контроль над собственностью. Даже и в нашем современном обществе относительный статус мужчин и женщин в каждой семье в значительной степени определяется их экономическим положением. Женщины, которые попали в русло более доходной карьеры, также часто не вписываются в модель традиционного брачного рынка.

Теория Энгельса является осевой, так как она подчеркивает не только экономические определяющие факторы в семье и сексуальных отношениях, но также признает феномен сексуальной собственности и обсуждает природу контроля над самой сексуальностью, подобной контролю над собственностью. Это направление анализа развивалось достаточно независимо от анализа экономического фактора. Отсюда возникли различные теории политики пола. Такие антропологи, как Клод Леви-Стросс и Марвин Харрис, развили теории «альянса» семейных структур в различных племенных обществах, анализируя те способы, которыми сексуальные обмены используются как политические стратегии для того, чтобы связать группы вместе в военном и экономическом плане. Я применил этот анализ к изменяющимся моделям сексуальных отношений, характерным для патриархальных семей средневековых аграрных обществ и «викторианского» периода брачного рынка современности, а также сексуальных трансформаций, происшедших в XX веке и продолжающихся сегодня.

В течение долгого времени тема половой стратификации совершенно игнорировалась социологами и другими учеными. Так как доминация мужчины в социальном порядке рассматривалась как нечто само собой разумеющееся, ученые не рассматривали мужеженскую стратификацию. Энгельс первым обратил внимание на этот аспект как на предмет теоретического объяснения. Более чем через полвека после его смерти его линия анализа конфликта семьи, экономики и пола стала развиваться в сложную общую теорию.

МАКС ВЕБЕР И МНОГОМЕРНАЯ ТЕОРИЯ СТРАТИФИКАЦИИ

Веберовскую социологию часто рассматривают как противоположность марксистской. В действительности Вебер был скорее ее продолжателем и представителем следующего поколения исторической традиции конфликта германского идейного мира. Вебер родился в 1864 году и идейно вырос в 1880–1890-х годах, то есть в тот период, когда Энгельс и его последователи оказывали сильное влияние на немецкую интеллектуальную жизнь. Маркс не был особенно известен в период своей жизни за пределами революционного подполья. Но в 1880-х годах германская социалистическая партия, основанная на профсоюзах и следующая марксистской теории как своей официальной доктрине, стала заметной силой в германской парламентской политике. Сама партия участвовала в выборах и становилась все менее революционной, но она была достаточно крупной, чтобы поддерживать свои газеты и партийные школы, а также своих политических представителей. Она приобрела материальную базу для поддержки собственных интеллектуалов. Таким образом, именно в Германии марксизм (или, может, энгельсианство) поднялся над землей и оказался в орбите внимания академического и интеллектуального мира.

Вебер хорошо знал о таком развитии событий. Его отец был членом другой политической партии в Рейхстаге в Берлине, буржуазной партии, представляющей крупных производителей. В их доме встречались крупные политики, адвокаты и ученые, и Макс Вебер с юных лет учился понимать маневры на заднем плане политики. На него также очень повлияла мать, которая была истовой протестанткой. Она настаивала, чтобы он принимал участие в движении за христианское социальное благосостояние, которое было своего рода религиозным ответом на социализм рабочих. Движимые соображениями религиозного долга и благотворительности, высшие классы сами предлагали предоставить рабочим достаток вместо того, чтобы ему самому участвовать в классовой борьбе и добиваться реформ. Таким образом, Вебер был политически активен с ранних лет и находился в контакте с двумя значительными политическими силами, каждая из которых по-своему была озабочена растущим влиянием социализма. Сам Вебер не был социалистом, но он был против существующей политики консервативного правительства. Как мы уже упоминали, он женился на молодой женщине Марианне Шнитгер (Вебер), которая стала одним из лидеров феминистского движения в Германии. Он противостоял преследованию сторон-

ников социализма и выступал за академические свободы, борьба за которые велась в университетах его времени. Вебер даже хотел вступить в социалистическую партию, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Но в конце концов он пришел к выводу, что это было бы нечестно с его стороны, поскольку он считал капитализм более совершенной социальной системой в смысле роста человеческой свободы и экономической продуктивности. При всем своем несогласии с капитализмом как политической программой Вебер тем не менее выучился многому в плане содержательной социологии от Маркса и Энгельса. Он взял у них их вопросы, хотя и дал на них отличные и более сложные ответы.

Конечно, в его теориях были и другие идейные составляющие. Вебер был экономистом в германском стиле. Он не пользовался абстрактной общей теорией рынка, ни в форме предельной полезности, недавно разработанной Карлом Менгером в Австрии, Леоном Вальрасом во Франции, Вильфредо Парето в Италии и Уильямом Джевansom и Альфредом Маршаллом в Англии, ни в ее классической форме, использованной Марксом для его экономической системы. Немецкая школа экономики может быть названа «институциональной», или «исторической». Она не принимала никаких универсальных законов экономических процессов (таких как спрос и предложение, движение цен и т.п.), но пыталась показать различные исторические периоды развития различных типов экономик. Такие теории концентрировались на таких возможных стадиях, как семейная или помещичья экономика, местные рынки, мировой рынок и тому подобное. В некотором смысле Вебер был последним из плеяды исторических экономистов, которые пытались показать, какие типы экономических систем предшествовали капитализму и благодаря каким процессам возник капитализм. Вебер также изучал и практиковал право. Он многое знал об истории различных частей мира — гораздо больше, чем могли знать Маркс и Энгельс, поскольку история в то время делала только первые шаги. Хотя лично Вебер не был слишком религиозным, он хорошо понимал религиозные мотивы окружающих людей и религию как движущую силу прошлой истории.

Можно сказать, что его главной темой была проблема капитализма, та же самая, что и у Маркса. Но если Маркс занимался преимущественно экономическими законами капитализма, его кризисами и будущей гибелью, Вебер интересовался подоплекой капитализма, загадкой его появления в первую очередь. Вебер подходил к этому вопросу не с точки зрения серии стадий, а с точки зрения

сравнительного анализа. Почему современный капитализм возник в Западной Европе, а не в одной из других великих цивилизаций: в Китае, Индии, Риме, исламском мире? Социология Вебера была ответом на этот вопрос. Его социологические теории были попыткой создать инструментарий для анализа институциональной подоплеку экономики и показать, какие силы способствовали и тормозили его в различных обществах. Можно сказать, что экономика была тем, что он хотел объяснить, но его объяснения привели его к социологии, и в частности, к высокой оценке роли политических и религиозных факторов.

Конечно, это не единственная возможная интерпретация Вебера. Некоторые его комментаторы (такие, например, как Талкотт Парсонс) изображают его идеалистом, противостоящим материализму Маркса. Вебер считается поборником теории истории, в которой идеи играют решающую роль. Представители этой школы мысли обращают особое внимание на фундаментальную раннюю работу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1904), которая переворачивает Маркса с ног на голову. Если Маркс рассматривал религию как идеологию, отражающую интересы экономических классов, Вебер показывал, что капитализм был не продуктом экономических сил, а вдохновлялся религиозными идеями, а именно — пуританскими попытками избавиться от беспокойства по поводу спасения или проклятия; эта идея оставалась в неопределенности из-за теологической доктрины предопределения. Примерно в то же время Вебер также написал статью, в которой он утверждал, что основной метод «гуманитарных наук» должен быть *verstehen* (понимание). Невозможно объяснить социальные процессы абстрактными законами; необходимо проникнуть внутрь субъективного мира самого деятеля и увидеть мир его глазами, чтобы понять его мотивы.

Приведем два свидетельства идеализма Вебера, которые указывают на то, что он приписывал идеям предельно высокую значимость в материальном мире. Вебер никогда не упускал материальных реальностей в жизни людей. Но у него были и другие вариации «идеалистической» темы. Он часто занимался проблемой рационализации различных институтов в контексте развития абстрактных расчетов соотношения средств и целей. Он описывал современный капитализм как рационализированную экономику, бюрократию как рационализированную организацию, современное государство как институт, основанный на формальных процедурах и правилах рационально-юридической власти. Например, особенностью евро-

пейской музыки примерно со времен Баха он считал наличие так называемой рационализированной музыкальной гаммы, которая превращала ее в своего рода абстрактную математику. Не случайно некоторые комментаторы, особенно немецкие, Фридрих Тенбрук, Юрген Хабермас и Вольфганг Шлюхтер, утверждали, что тенденция в направлении рационализации является главной темой Вебера в описании мировой истории. Если веберовский метод *verstehen* и подчеркивание им религиозных идей являются разновидностью идеализма Канта или «гуманитарных наук» Вильгельма Дильтея, то в своей трактовке всемирной истории как рационализации Вебер кажется современным наследником Гегеля.

Но наиболее важным в Вебере было то, что он видел мир многомерным. Он рассматривал все факторы, избегая односторонностей идеализма и материализма. Он не поклонялся рационализации, которую он, несомненно, считал основной тенденцией последних столетий на Западе, подобно Парсонсу и некоторым другим из его немецких интерпретаторов. С точки зрения Вебера, рационализация была палкой о двух концах, предполагающей как увеличение формальных процедур, так и подрыв сущностно человеческой способности к сознательному достижению целей.

Прежде всего Вебер стремился к объективности и сознавал искажающий потенциал ценностных суждений, заинтересованности и субъективности. Его многомерная перспектива делала его в фундаментальном смысле теоретиком конфликта. Ведь конфликт — не просто один из факторов среди прочих. Конфликт является выражением самой многомерности вещей, множественности различных групп, интересов, перспектив, которые конституируют мир. В конечном счете, мир не существует как единое социальное и метафизическое целое. Несмотря на согласие и солидарность, которые можно наблюдать в некоторых сегментах общества, мир представляет собой смешение борющихся частей. Именно такой подход — в дополнение к его ученичеству в стане марксистов/энгельсманцев — определил колоссальное влияние Вебера на всю последующую традицию конфликта. Вебер рассматривал не только множественность социальных сфер, но и борьбу за господство в каждой из них. Экономика была для Вебера классовой борьбой, хотя и более сложной в сравнении с ее марксистской трактовкой. Политика выступала другой сферой борьбы между соперничающими политическими интересами и между политиками и экономическими классами. Мир идей также представал разделенным между заинтересованными группами. Например, религии характеризу-

ются своими внутренними конфликтами, основанными на социальной организации самой церкви, которые противопоставляют профессиональных теологов «церковным политикам», а последних — смиренной пастве. Даже там, где Вебер, казалось бы, ведет речь об автономном влиянии идей, он исследует сложное развитие теории идеологии.

Таким образом, Вебер видел историю как запутанный многосторонний процесс конфликта на нескольких фронтах. Он был противником упрощенных понятий эволюционных стадий или прочих элегантных моделей, которые теоретики всегда пытались навязать в своей трактовке сложностей исторической реальности. Уже этого достаточно, чтобы поставить под сомнение тезис о том, что Вебер видел рационализацию как «главную тенденцию» истории. Был ли Вебер в таком случае историцистом, верил ли, что не существует общих законов, а только исторические особенности, отличающие принципы каждой эпохи от последующей? Иногда Вебер действительно кажется именно историцистом, особенно в начале своей карьеры, когда он писал главным образом методологические заметки. Но такой подход несовместим с социологией, по крайней мере, с социологией как обобщающей наукой. Но в действительности у Вебера сохранил выход из историцизма. Он подчинил социологию задаче демонстрации тех элементов, из которых делается история. Для этой цели он создал теорию *идеальных типов*, абстрактные модели бюрократии, класса, рынков и тому подобного, которые передавали аспекты сложной исторической реальности. При этом для понимания различных сторон социальных явлений нужно было использовать несколько различных идеальных типов одновременно.

Эти идеальные типы стали зародышами поствеберовской социологии. Каждый из них представляет собой разновидность отдельной теории, подобно тому, как химическая таблица элементов является теорией построения молекул. Вебер отрицал, что существуют законы всеобщей модели истории. Течение истории зависит от комбинации «молекул» в каждом конкретном случае. Но эти социальные «молекулы» оказались достаточно структурированными и полноправными на своем собственном уровне, и именно они породили теории классов, организации и тому подобного, давая реальное содержание веберовской теории конфликта.

Известная веберовская трехмерная модель стратификации дает ключ к пониманию его сложной системы. Американские переводчики Вебера, Ганс Герт и Райт Миллс, обозначили ее терминами

«класс», «статус» и «партия». Все эти три категории представляют разновидности заинтересованных групп (interest groups), которые могут противостоять как друг другу, так и интересам конкурирующих групп внутри себя. Эти группы тесно связаны, и каждая из них описывает особую сферу, которая является предметом отдельной теории Вебера.

С точки зрения Вебера, *класс* — это та же сфера, о которой говорили Маркс и Энгельс. Можно сказать, что Вебер рассматривал социологию Маркса и Энгельса как один из элементов своей системы. Таким подходом он изменил их модель. Для Вебера классовый конфликт был явлением гораздо более сложным, чем для Маркса и Энгельса. Последние имели дело главным образом с конфликтом капиталиста (по крайней мере, в своих теоретических работах) и рабочего, владельца средств производства и производителя труда. Вебер дополнил эту теорию конфликтом финансовых капиталистов (Маркс описал их в работе о революции 1848 года во Франции) с теми, кто берет деньги взаймы, а также противостоянием продавцов и покупателей. Эта схема была подхвачена не так давно Норбертом Уили, показавшим насыщенность американской политики классовым конфликтом. Здесь противостояние между капиталистом и рабочим было менее явно, чем противостояние между задолжниками и кредиторами. Последний вид противостояния доминировал в политике фермерских хозяйств в 1800-х годах; расовые восстания 1960-х годов выливались в противодействие потребителей продавцам в гетто. С точки зрения Вебера, классовый конфликт был цирком с тремя аренами.

Классовый конфликт, описанный Вебером, отличается от Марксова и в другом, более важном, аспекте. У Маркса классы определялись отношением к средствам производства. У Вебера классы определялись позицией на рынке. В споре с Вебером недавние марксистские теоретики подвергли критике его схему, как выводящую стратификацию на поверхностный уровень экономической циркуляции, а не на фундаментальный уровень экономического производства. Тем не менее, с моей точки зрения, в этом состоит скорее сила, чем слабость Вебера. Марксова схема прикрепляет классы к теории экономики, то есть к той части теории Маркса и Энгельса, которая оказалась наименее реалистической в плане описания исторических изменений. Изменения в средствах производства и в правах собственности на них не следовали тому пути, который очертил Маркс, ни в эпоху, последовавшую за его предсказаниями, ни даже общеисторически. К тому же соб-

ственное описание некоторых исторических событий — например, французской революции 1848 года, — осуществленное Марксом и Энгельсом, по-моему, подтверждает это несоответствие. В этих описаниях они ведут речь о гораздо большем количестве классов, и отнюдь не только о собственниках на средства производства и рабочих. Фактически действие всегда концентрируется именно на промежуточных классах и на различных нетривиальных расколах внутри правящих классов: расколами между финансистами и землевладельцами (которых Вебер считал потенциальным классом задолженников), а также крупными и мелкими промышленниками.

Вебер построил свою классовую теорию на экономических конфликтах, в тех сферах, где они наиболее реальны: в борьбе за контроль за место на рынке. С точки зрения Вебера, монополия — это не просто нечто, что возникает на поздних этапах капитализма. Это фундаментальный процесс, с которым мы сталкиваемся на протяжении всей истории. Общественные классы используют различные пути для установления контроля над отдельными рынками: деньги и кредит, земля, различные производящие индустрии, различные рабочие умения. Такой подход дает более реалистическую картину классовых конфликтов как они есть и общетеоретическую концепцию процесса стратификации. Господствующие классы — это те, кому удастся достичь жестко контролируемой монополии над некоторыми выгодными рынками. Классы с меньшей степенью доминации достигают только частичной монополии или монополии на менее привлекательных типах рынков. Те классы, которые не имеют монополии и должны соревноваться на открытом рынке, являются предметом нивелирующих сил монополий.

Теперь мы подходим ко второй категории стратификации Вебера — *статусной группе*. Эту категорию обычно понимают как противоположность экономической классовой стратификации. Если классы базируются на чисто экономических основаниях (группировка сходных интересов на основании сходных позиций на рынке), статусные группы находятся в сфере культуры. Это не просто статистические категории, а реальные сообщества, люди, которых связывает общий стиль жизни и мировоззрение, люди, которые самоидентифицируются через принадлежность к группе. Это заставляет нас вспомнить этнические группы, расы, религиозные группы, общины небольших городков, урбанистические соседские группы: группы, которые не подпадают под социальные классы и не прием-

люют классовых различий. Но фактически есть более глубокая связь между классом и статусной группой. Вспомним: классы — это группы, которые обладают какой-то степенью монополии на одном из рынков. Они достигают этого через особого рода организацию, через создание сообщества, приобретая особое самосознание, возведением каких-то юридических или культурных барьеров — короче говоря, становясь статусной группой.

Всякий успешный господствующий класс должен быть организован в статусную группу. Исторически это всегда было так. Исторические правящие классы Маркса и Энгельса были юридически и культурно организованы для контроля над собственностью. Средневековые землевладельцы не только владели землей и эксплуатировали крепостных: они делали это как благородное сословие со своими требованиями к наследственным родословным, рыцарскими манерами, рыцарским стилем жизни, который не давал им запачкаться ничем, кроме крови. В Индии группы занятости были еще более замкнуты и превратились в касты, которые избегали друг друга в контексте представлений о ритуальной чистоте, оправдывая это избегание религиозной доктриной прошлой кармы и будущих перерождений. С точки зрения Маркса, эти классы просто окутывали себя идеологией. Веберовская теория соглашается с этим, но делает уточнение: идеологическая или культурная сторона дела абсолютно необходимы группе для того, чтобы стать не просто группой людей в сходном экономическом положении, а реальным социальным сообществом. Статусная группа также дает свой ответ на экономическую ситуацию: благодаря статусной позиции группа становится достаточно сильной для того, чтобы монополизировать нужную часть рынка вместо того, чтобы соревноваться на равных основаниях со всеми остальными. Организация статусной группы — ее экономическое оружие.

Поэтому статусные группы имеют внеэкономический характер. Их стиль жизни и мировоззрение зависят от экономических ресурсов и положения в обществе. Замки аристократов, а также лошади и костюмы были возможны только из-за богатства этой группы. Переводя ситуацию на современный язык, можно сказать, что высшие классы устраивают балы и делают вклады в симфонические концерты и музеи искусства для того, чтобы превратить свой экономический капитал в культурный, как его называет Бурдьё. Даже их религиозные предпочтения подвергаются воздействию их классовой позиции. Вебер подчеркивал в своем сравнительном анализе, что высшие социальные классы всегда предпочитают достойную

религию, преисполненную государственного церемониала, но не требующую слишком сильной личной преданности. Средние классы предпочитают аскетическую моралистическую религию, которая поддерживает их респектабельность и мотивирует их на тяжелую работу. Низшие классы относятся к религии как к форме магии, сверхъестественным вмешательствам, которые принесут удачу и одолеют врагов. Эти различные культурные мировоззрения показывают высшие и низшие статусные группы как чуждые друг другу сущности. Мировоззрения также позволяют скрыть экономическую подоплеку разделения. Господствующая группа, которая оказалась организованной как статусная группа, всегда идеализирует себя и настаивает на своей инаковости не по причине богатства и власти, но из-за своего благородства, чести, вежливости и художественного вкуса, технических умений или чего-то другого в превалярующей статусной идеологии.

Обладание этим типом статусной идеологии облегчает для членов группы монополизацию экономических позиций. Аутсайдеры могут быть исключены, и соревнование может быть автоматически ограничено, так как только «подходящие люди» принимаются на предпочтительные позиции. Время от времени тип статусной идеологии может меняться, но здесь всегда имеет место сходный процесс. Во времена Вебера образовательный статус еще не был достаточно развит, но он понимал, что именно образование создавало современные статусные группы, которые служили монополизации более прибыльных позиций в системе занятости. Рост современных «профессий» показывает, в какой степени наша рабочая сила стала насыщена этим типом монополий. Доктора вовлечены в одну из форм этого труда, но они отделяют себя от остального рабочего класса построением развитой профессиональной культуры, ограничивающей доступ других, научными степенями и государственными лицензиями, приводящим к монополии на медицинские знания. В результате доктора построили выгодную для себя монополию в сфере распределения лекарств своими политическими маневрами, чтобы ограничить продажу лекарств на открытом рынке. Такой же тип анализа может быть обращен на многие другие сферы образования.

Ключевой элемент, который Вебер развил на основе марксистской теории классов, состоит в том, что экономическая борьба является гораздо более многосторонней по сравнению с представлениями Маркса. Классы стали подразделяться на статусные группы и получили контроль над специфическими секторами экономиче-

ских рынков. Возникает вторичный рынок статусных атрибутов, который невозможно однозначно соотнести с экономическим делением. Но под спудом этих атрибутов продолжается экономическая борьба. Эту систему не так просто увидеть, но она остается скелетом самой системы.

Наконец, *партии* или группы власти: здесь Вебер указывает на другую сферу борьбы, борьбы между политическими фракциями. Он утверждает, что маневрирование политиков не сводимо к борьбе экономических классов или даже статусных групп, так как у них есть свои собственные интересы. Тезис о том, что все не сводится к классовой борьбе, кажется антимарксистским. Но фактически Маркс и Энгельс были не так уж далеки от этой идеи в своей реальной социологии. Вспомним, что в дополнение к различным классам, противостоящим друг другу в их революционных сценариях, они также говорили о самих политических группах: армии и чиновниках во Франции 1848 года, императоре, противостоящем князьям и рыцарям в эпоху Реформации в Германии. Речь шла о реальных столкновениях между заинтересованными группами (*interest groups*), и хотя эти группы вступали в альянс с разными классовыми фракциями, их нельзя было к ним свести.

Но политические фракции — это не какой-то необъяснимый эпифеномен, «надстройка», выпущенная в сферу неопределенности. Это организованные группы, действующие в иной сфере, чем классы, но имеющие с ними общую основу. Как говорит Вебер, партии живут «в доме власти» — другими словами, они населяют государство. Государство — это организация. Теория бюрократии Вебера вытекает из его анализа государства, а потому из этого анализа также вытекает вся современная социология организаций. Но организация — это материальная сущность. По крайней мере, если она претендует на постоянство, она должна располагать собственностью, землей, зданиями, оружием, источниками доходов, чтобы поддерживать своих членов. У каждого государства есть своя экономика. (Кстати, Вебер говорил об этом в применении к каждой церкви: как только она перестает быть харизматической сектой и начинает рекрутировать постоянных руководителей, она приобретает собственность и трансформируется в экономическую сущность.) Поэтому у политической фракции есть свои собственные экономические интересы: власть и богатство их собственной организации, самого государства. То же самое относится и к более мелким политическим организациям, таким как, например, партия: ее официальный штат сотрудников кровно заинтересован в процвета-

нии самой организации, поскольку именно здесь они делают свою карьеру.

Отсюда следует, что политические фракции, живущие в «доме власти», пребывают в реальном доме наряду с другими организациями бизнеса, финансов и оставшейся классовой сферы. Специфическим для государства являются не конечные интересы его членов, а его оружие. Государство вооружено и может господствовать над всеми другими организациями. Маркс и Энгельс уже понимали это, говоря о том, что сила государства удерживает систему экономической собственности. Государство должно вкладывать средства в вооружения, военные подразделения и в полицию для удержания собственности. Обширный государственный аппарат чиновников, сборщиков налогов, судов и тому подобного возник для поддержания и снабжения этих сил. Но это создает уникальную экономическую проблему для государства: его собственные фискальные проблемы. Государства также имеют своих уникальных врагов, а именно — друг друга. Государства и их руководители борются за власть на международной арене и в сфере национального престижа. Прежде всего именно конфликты такого рода увеличивают власть одних государств и угрожают власти других. Но даже государства, успешные в военной сфере, испытывают экономический риск ввиду расходов на армию. Как мы увидим, современный анализ конфликта революций подчеркивает экономически-военные тяготы в государстве.

Государство также располагает другим критическим орудием — легитимностью. Это один из аспектов культурной и эмоциональной сферы. По словам Маркса и Энгельса, государство является великим мотором по созданию идеологий. В терминологии Вебера успешное государство заставляет большинство населения внутри своих границ ощущать себя членами единой статусной группы, нации. Существует множество способов создания легитимности: Вебер перечисляет среди прочих харизму сильного руководителя, традицию наследственных полномочий и рационально-правовой авторитет конституционного права. Каждый из них основывается на какой-то материальной или организационной основе. Легитимность не сваливается с неба. Она создается целенаправленно, и различные типы организаций, которые ее производят, могут быть названы иным аспектом средств ментального производства (или тем, что я называю «средствами эмоционального производства»). Позже на это обратил внимание неомарксистский анализ. Например, немецкий теоретик Юрген Хабермас утверждал, что революцион-

ная борьба современного государства происходит не из-за экономического кризиса, а из-за «кризиса легитимности». Американец Джеймс О'Коннор дал экономический анализ этого явления. Он говорит, что современный «фискальный кризис государства», который включает в себя ситуацию быстрого увеличения государственного долга, увеличивающихся налогов и инфляции, вызывается тем, что государство пытается купить свою легитимность, предоставляя гарантии служб социального обеспечения, будучи одновременно обескровленным монопольным сектором экономики. Как Хабермас, так и О'Коннор показывают, каким образом современные марксистские теоретики государства двигаются в направлении веберовского анализа.

XX ВЕК СМЕШИВАЕТ ИДЕИ МАРКСА И ВЕБЕРА

Вебер заслуживает звания родоначальника современной социологии конфликта. И дело не в том, что Маркс и Энгельс были менее фундаментальны, но с их точки зрения социология была погребена в политике (особенно в случае Маркса), экономике и философии. Будучи экономистом и юристом по образованию, Вебер, тем не менее, способствовал основанию Германской социологической ассоциации и идентифицировал свою работу с социологией. Кроме того, веберовские всесторонние попытки разложить все факторы, необходимые для понимания развития капитализма, установили очертания новой области исследования. Для поколений, пришедших после Вебера, социология стала гораздо более непосредственно эмпирической наукой, основывающейся не только на исторических сопоставлениях, но и на систематических исследовательских усилиях по сбору новых данных. Исторические и сравнительные данные, которые, конечно, являются эмпирическими, хотя их и собирают несколько иным способом, начали интерпретироваться в ключе построения или проверки теории. Самому Веберу это было присуще в меньшей степени. Его новаторские установки и идеальные типы дали то ядро концепций и теорий, которые приобрели плоть в последующих исследованиях и преобразились в ходе развития наших теоретических позиций.

В XX веке *политически* марксизм, конечно, поддерживал свою особую идентичность. Это затемняет тот факт, что *интеллектуально* традиция конфликта, которая объединяет Маркса и Вебера, исходила от обоих из них и что между ними было множество пересечений. Одним из интеллектуалов, который часто наведывался

в салон Вебера в Гейдельберге, был молодой венгерский марксист Георг Лукач, к которому Вебер относился с большим уважением, несмотря на их разногласия. Лукач, подобно своему итальянскому единомышленнику Антонио Грамши, отклонился от марксистского материализма и экономизма и развил гегелевский подход к классовому конфликту, сосредоточившись на «ложном сознании» высших социальных классов. С точки зрения Лукача, высшие социальные классы были гораздо более отчуждены от реальности и истинной человеческой сущности, чем угнетенные низшие классы общества, поскольку они защищали опредмеченную идеологию перманентности капиталистического порядка. Не совсем ясно, насколько сильным было влияние Вебера на его идеи. Тем не менее его пример показателен в плане того, насколько марксизм и веберизанство стали частью одной и той же интеллектуальной парадигмы.

Другим примером такого смешения может служить развитие социологии во Франкфурте. Здесь Франкфуртская школа марксистов под руководством Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно основала исследовательский институт при содействии состоятельного патрона (здесь опять можно говорить о материальных средствах духовного производства). Идеи Адорно развивались в русле лукачевской философии отчуждения и опредмечивания, а идеи Хоркхаймера – в русле синтеза марксизма с теориями Фрейда. Другим членом школы был Герберт Маркузе, который подхватил обе этих темы и занялся критикой капиталистической культуры, которая позже стала основой лозунгов радикального крыла студенческого движения 1960-х годов. Карл Витфогель выступил с более материалистической формой марксизма, пытаясь показать, что Китай и другие формы «восточного деспотизма» были специфичны в силу особенностей их экономической базы. По словам Витфогеля, они представляли собой «гидравлические цивилизации», основанные не на частной собственности на землю аристократии и рабовладении, а на ирригационных работах, проводимых государством. Поэтому государство было ключевой экономической сущностью на Востоке и частные классы оказались неразвитыми. Здесь мы опять видим, что схема Маркса и Энгельса была не просто законченной системой стадий, а стимулом для понимания различных обществ мировой истории с помощью разных экономических факторов. Это согласуется с идеей, высказанной ранее, о том, что государство должно рассматриваться как самостоятельная экономическая сущность.

ОРГАНИЗАЦИИ КАК БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Одно из наиболее влиятельных направлений анализа, связанных с Франкфуртской школой, представляло собой конфронтацию и синтез веберовского и марксистского подходов в более непосредственном смысле. В университете Франкфурта, а не в марксистском институте социальных исследований, заведующим отделением социологии был Карл Маннгейм. В 1928 году Маннгейм прославился своей книгой «Идеология и утопия», работой, которая повернула марксистскую теорию идеологии против самих марксистов. Если консервативные идеологии представляют интересы господствующего класса, политические требования рабочего класса также являются идеологическими и принимают форму утопий. Но еще более важной для развития социологии конфликта была веберовская тема, которую Маннгейм подхватил в своей следующей книге «Человек и общество в эпоху реконструкции», написанной в изгнании из нацистской Германии в 1935 году. Следуя Веберу, Маннгейм подчеркивал, что организации могут опираться на два различных типа рациональности. Существует субстанциальная рациональность: человеческое понимание того, как определенные средства ведут к определенным целям. Это тот тип рациональности, который мы обычно возвышаем и который является маркой нашей свободной от суеверий, научной и профессионализированной эпохи. Но существует и другой тип рациональности, который стал еще более заметным: *функциональная (или формальная) рациональность* бюрократических организаций. Здесь рациональность превращается в следование правилам и регуляциям, следование книге, которая как будто полностью раскрывает наиболее эффективные формы функционирования.

Формальный тип рациональности обычно подрывает субстанциальный. Чем более просвещенными и научно ориентированными мы становимся, тем больше мы пытаемся воплотить наши знания в громоздких организациях, которые больше не мыслят почеловечески, а просто следуют общим процедурам. Организация развивает свою собственную инерцию и ускользает от человеческого контроля. Маннгейм имел в виду гонку вооружений, которая инициируется правительственными чиновниками с начала XX века по модели, которую мы еще видим сегодня, но с добавочным элементом угрозы тотального уничтожения в ядерной войне. Эту модель Маннгейм различал уже в той гонке вооружений, которая привела к Первой мировой войне. Это была война, которой никто не хотел, но когда небольшой кризис на Балканах запустил в действие меха-

низм в 1914 году, уже не было средств удержать мобилизацию и контрмобилизацию, и весь мир оказался вовлеченным в чрезвычайно разрушительную войну. Маннгейм считал, что тот же самый механизм действует и в гражданских делах. Формальная рациональность капитализма в поисках прибыли не оставляла места для поисков субстанциальной рациональности всей экономической системы. Рациональность на одном уровне оборачивалась иррациональностью на другом, вызывая экономическую депрессию, которую уже невозможно было контролировать. Маннгейм утверждал поэтому, что фашизм (антимодернистская и антирациональная идеология) был не просто экстравагантной аберрацией, но реакцией на глубинное отсутствие рациональности в мире безличных современных организаций. Фашизм утверждал власть человеческого лидера, возвышающего Гитлера или Муссолини, как противоядия против безличных эффективностей и более крупных иррациональностей бюрократов.

Ганс Герт, ученый из Франкфурта, принес идеи Маннгейма в Америку. В качестве профессора в университете Висконсина он сотрудничал с молодым Райтом Миллсом над серией книг. Они пытались синтезировать Фрейда (подход франкфуртских марксистов), а также Джорджа Герберта Мида с Вебером в своем «Характере и социальной структуре». В 1946 году они выпустили самый влиятельный сборник веберовских работ, известное издание Герта и Миллса «Из Макса Вебера: Статьи по социологии». Это привлекло внимание к веберовской теории стратификации в разделе «Класс, статус и партия», а также к его теории бюрократии. В целом Герт и Миллс подчеркнули принадлежность Вебера к традиции конфликта, пытаясь сбалансировать его образ, данный в более раннем переводе «Протестантской этики и духа капитализма», выпущенном Талкоттом Парсонсом. В течении последующих 20 лет продолжалась борьба по поводу того, какая сторона присвоит и определит значение Вебера для американской социологии. Парсонс и его сподвижники издали веберовские труды с их абстрактными определениями капитализма (которые подчеркивали его концепцию рациональности) и позже его труды по праву и религии, а Герт и его коллеги исправили этот идеалистический образ Вебера изданием его более сбалансированных исторических трудов.

В 1950-х годах в американской социологии господствовали консервативные настроения. Талкотт Парсонс и другие функционалисты выступили с абстрактной категоризацией социальных институтов, обнаруживая во всех явлениях какую-то благоприятную функцию, способствующую поддержанию социального порядка. Социология

конфликта не умерла, но на нее больше не обращали внимания. Однако она успешно развивалась на эмпирическом фронте — в области исследований по политике власти в организациях и в области социальной стратификации. Райт Миллс был практически единственной заметной фигурой, отстаивавшей идеи теории конфликта. В американской политике тогда царил воинствующий антикоммунизм, который раздували правые охотники на ведьм вроде сенатора Джо Маккарти, но в менее экстремистской форме этот дух разделяли почти все. Либеральные ученые боялись использовать слово «Маркс» публично и предавали анафеме всякого, кто выказывал критическую позицию, чтобы самим не вызывать гнев правых сил, которые, по мнению многих людей, могли превратиться в нацистов. В результате, Миллс приобрел репутацию крайнего левака. Это было не совсем верно. Райт Миллс был просто мужественным человеком, который ясно писал и не боялся быть в меньшинстве из-за своей резкой критики господствующих тенденций в своей дисциплине.

В действительности теория Миллса была одной из аппликаций теории Маннгейма, а потому и Вебера. В своей самой известной книге «Элита власти» (1956) он утверждал, что Америка не управляется людьми, принимающими решения, то есть выбранными чиновниками, но находится под контролем трех громоздких бюрократических организаций. Это корпоративный бизнес-истеблишмент, военная бюрократия Пентагона и чиновники федерального правительства. Здесь можно различить веберовскую тему: тут есть и капиталисты Маркса, но они представляют собой только часть более крупного конгломерата властных групп, среди которых есть и государство (веберовская сфера «партии», «обитателей дома власти»). Миллс также обсуждает элитные статусные группировки, «высшее общество» и знаменитостей в голливудском стиле, хотя он и говорит, что это скорее продукт и камуфляж истинных центров власти. Главный момент в этой теории — это вариант тезиса Маннгейма: политика Соединенных Штатов на высшем уровне не определяется мыслящими людьми, опирающимися на сущностную рациональность. Избиратели не располагают средствами контроля над механизмами бюрократии. Реальными силами, владеющими контролирующими функциями, являются огромные бюрократии, которые следуют своей собственной логике самовозвеличения. Миллс утверждает, что краткосрочные интересы капиталистического истеблишмента слились с интересами чиновников Пентагона в развитии гонки вооружений. Частая смена позиций и перетекание высших должностных лиц между корпорациями, военными организациями и федераль-

ным правительством сцементировали конвергенцию между этими тремя группами. Все три этих сектора оказались вне контроля и двигались в одном направлении. Миллс опасался, что это может привести к третьей мировой войне.

В течение десятилетий многое из того, на что обратил внимание Миллс, оставалось в равной степени верным и пугающим. Персонал президентов, генералов и кабинетных чиновников менялся, но большая часть администраций, включая республиканскую и демократическую, оказывалась неспособной к тому, чтобы диссоциировать себя от тяги военной машины. Тем не менее мы узнаем и о некоторых противодействующих этому силах. Военная машина уходит из-под контроля, но это только одна из тенденций. Происходили также войны и ядерные конфронтации, но мы так ни разу и не провалились в бездну. На одну из таких противодействующих сил обратил внимание теоретик, о котором мы упоминали ранее. Джеймс О'Коннор подчеркивал, что современное государство испытало фискальный кризис, который можно отчасти объяснить экономическим перенапряжением того военно-индустриального комплекса, который обождал Миллс. Действительно накопление оружия несколько подстегивает капиталистическую экономику, но значимость этого явления может быть различной в разные периоды. Этот процесс также подгоняет растущие государственные расходы. Поэтому периодически мы пытаемся приспособиться к экономическому напряжению сокращением расходов.

Другим недостатком позиции Миллса было то, что она рассматривала Соединенные Штаты в изоляции, как единый капиталистический и бюрократический комплекс сам по себе. Впоследствии мы стали больше понимать важность всей мировой системы и открывать законы, которые позволяют ей функционировать. Например, в мире действует геополитика военной экспансии и сжатия, которая охватывает все государства, а не контролируется только одним из них. Различные аспекты геополитической теории были проанализированы Артуром Стинчкомбом, Кеннетом Болдингом, историком Уильямом МакНиллом и другими. В конце 1970-х годов я предложил синтетическую теорию, которая согласовывалась с моделью экспансии и сжатия государств в течение последних нескольких тысячелетий. Крупные и богатые ресурсами государства имеют тенденцию расширяться за счет меньших и менее богатых государств. Второй принцип состоит в том, что промежуточные государства, находящиеся на границе населенных районов, имеют тенденцию расширяться за счет тех, которые находятся посередине и которых окружают

враги с нескольких сторон. С течением времени эффекты этих двух принципов смыкаются: крупные становятся крупнее, а средние пожирают находящиеся посередине. В отсутствие двух других принципов этот процесс должен был привести к тому, что одно государство постепенно бы стало править всеми. Один из противодействующих принципов состоит в том, что государства на противоположных сторонах мировой системы (например, Россия с одной стороны, и Соединенные Штаты — с другой) постепенно встречаются как две гигантских империи или альянса, противостоящих друг другу в стремлении к мировому господству. Второй принцип состоит в том, что даже без противостояния другой сверхдержаве государства часто разваливаются, если они слишком расширяются. Когда внешние границы их империи находятся слишком далеко от дома, расходы империи могут привести государство к банкротству, и в кризисный момент они становятся уязвимыми и могут распасться.

В начале 1980-х годов я применил эти принципы к ядерной гонке вооружений, о неизбежности которой говорил Миллс, и пришел к неожиданному выводу. Геополитически Советский Союз, который занял позицию старой Российской империи, потерял все свои геополитические преимущества к середине XX века. Все факторы указывали на то, что он должен распасться. Опасность состояла в том, что он может развалиться не до, а после войны со второй сверхдержавой, Соединенными Штатами, что могло обречь на разрушение весь мир в ядерной войне. В 1980-е годы обе этих тенденции были очевидны: увеличивающееся экономическое напряжение в СССР, которое вело к реформам, которые должны были удержать чрезмерные военные расходы, с одной стороны, и эскалация ядерной гонки вооружений в атмосфере противостояния, которая угрожала разрушить обе сверхдержавы и увлечь за собой весь мир — с другой. К счастью, оказалось, что напряжение в СССР вызвало развал страны до того, как конфронтация двух великих держав достигла своего апогея. Теория Миллса обнаружила свою ограниченность.

Давайте кратко вернемся к развитию социологии конфликта в организациях. Маннгейм и Миллс способствовали разработке этой теории применением одного из аспектов веберовской теории бюрократии. В поисках другого важного аспекта нам потребуется обратиться ко временам самого Вебера. Одним из протеже Вебера был молодой марксистский социалист Роберт Михельс. Из-за своих политических пристрастий Михельс не мог получить позиции в академическом мире Германии, несмотря на активные хлопоты Вебера по его поводу. Но у Михельса уже стали появляться циничные умо-

настроения. Он был блестяще знаком с устройством марксистской партии своего времени, социал-демократами с их разветвленной бюрократией, основанной на профсоюзах и чиновниках. На примере этой организации Михельс сделал ряд наблюдений в русле веберовской концепции политического конфликта. Он заметил, что лидеры организации вклинены в борьбу за власть со своими соратниками: внутри каждой организации протекает своя миниатюрная версия классовой борьбы. Подобно тому, как небольшой высший класс в экономической системе может господствовать над гораздо большими низшими классами, элита организаций может принимать свои решения вопреки большинству последователей, несмотря на свою малочисленность, благодаря лучшей системе мобилизации. Организация представляет собой политическую среду, где внутренняя борьба за власть выигрывается теми, кто контролирует материальные средства администрации. Это развитие теории политической мобилизации Маркса и Энгельса и средств духовного производства. Элита контролирует организационную машину для внутренней коммуникации между собой и для того, чтобы диктовать образ реальности для своих членов. Члены элиты также стремятся идентифицировать интересы организации со своими собственными карьерными интересами. То, что делает организацию безопасной, устойчивой и богатой, дает преимущества ее лидерам, которые в результате получают более крупные посты и удобные работы. Это другая причина «организационного уклона», который различил Маннгейм. Руководители становятся заинтересованы в *status quo*. Они приходят к компромиссу со своей средой и делают все необходимое для того, чтобы организация выжила, невзирая на то, как далеко она отступит в результате от тех официальных идеалов, ради которых она была создана.

Теория Михельса заложила основы для серии эмпирических исследований организации в 1940-х и 1950-х годах. Филип Селзник показал, каким образом одни и те же процессы «вытеснения цели», которые Михельс обнаружил в германской рабочей партии, имели место в либеральной бюрократии Нового соглашения (New Deal) Франклина Д. Рузвельта. Эти процессы подрывали реформистские цели в интересах ослабления оппозиции местных элит. Селзник также показал некоторые новые тактики в организационной борьбе за власть: например, пути усмирения недовольных их выдвиганием на позиции, дающие им только формальные полномочия, где у них не будет возможности для маневра в защите своих идеалов. Перед нами механизм, который самим типом позиции в организации позволяет оглушить и обезвредить лидера оппозиции. Другие исследователи, напри-

мер, Алвин Голднер, занимались властными конфликтами, связанными со «сменой администрации» высших руководителей. Мелвилл Дальтон раскрыл техники борьбы за власть и попытки контроля над рабочими на уровне среднего звена менеджеров. Французский социолог Мишель Крозье подчеркивал, что ключом к победе в борьбе за власть и решающим оружием в ней является контроль над областями неопределенности. Ряд других исследований, некоторые из которых были проделаны социологами, а некоторые — школами бизнеса и общественной администрации, осветил многие аспекты организации.

К началу 1960-х годов стало возможным синтезировать полноценную теорию работы организаций. Например, Амитаи Этциони использовал веберовскую трехмерную систему класс-статус-власть для того, чтобы продемонстрировать три альтернативных техники контроля. Каждая из них лучше всего работает в особых типах технических сред, и каждая вызывает развитие особых типов стратегии борьбы между боссами и рабочими. *Экономический контроль*, который осуществляется через систему оплаты, является наиболее приемлемым для организации, где результат работы каждого рабочего измерим, но такой тип контроля ведет к отклонению внимания рабочего от качества самой работы к тому, как измеряется результат. Чистое *принуждение* как форма контроля, которая включает применение силы и угрозы, работает лучше всего в тех случаях, когда легко осуществлять наблюдение за рабочими. Но его недостаток состоит в том, что он отчуждающе действует на рабочих, которые становятся грубыми и скучными, если им не удастся избежать этого постоянного наблюдения. Наконец, для тех задач, которые требуют инициативы и независимого суждения, наиболее приемлемым является тип контроля, который Этциони называет *нормативным*. Для того, чтобы добиться достижения поставленных задач, менеджмент должен проводить различные манипуляции со статусными группами и их идеологиями — с этой целью создаются профессиональные и специализированные организации, которые существуют везде, где работа становится зависимой от технических и эзотерических знаний.

Дальнейшее развитие теории организаций связано с раскрытием многих принципов, которые позволяют им функционировать в различных обстоятельствах. Мы проанализировали различные технологии, которые делают организации отличными друг от друга, и начали намечать принципы отношений между организациями, которые создают особую среду или конкурентную экологию друг для друга. Организации живут, растут и сходят со сцены не только в результате внутренних процессов, но как части своего рода «мировой

системы» организаций, которые их окружают. Это особенно очевидно в случае капиталистических деловых организаций, но это применимо также к правительству, религиозным и прочим организациям. Над такими теориями продолжается работа. Гаррисон Уайт считает, что «рынки» состоят не из конкурентов, а из клик организаций, которые пытаются выделить себя в особые неконкурентные ниши. Такая теория может перевернуть все принятые экономические представления о капиталистической системе. Во всех этих работах путеводной нитью проходит мысль о необходимости экстраполяции идеи социологии конфликта, как она сложилась во времена Вебера. Борьба за господство происходит не только внутри общественных классов, но и в организациях. Это делает мир конфликта более сложным, поскольку борьба идет также между организациями и внутри них. Но сложность не тождественна хаосу. Организационная теория показала с достаточной глубиной, каким образом организации создают группы с особыми интересами и снабжают их орудиями, которые приводят к различным уровням их доминации. Понятая в самом широком контексте, теория организации является ключом к пониманию всей структуры и устройства общества.

КЛАССЫ, КЛАССОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И НЕРАВЕНСТВО: ТЕОРЕТИКИ КОНФЛИКТА

В 1940–1950-х годах стали проводиться также эмпирические исследования по стратификации социальных классов в целом. Значительную долю этих исследований можно считать попыткой смягчить классовую модель: например, показать, что существует непрерывный спектр или континуум занятий, которые различаются степенью престижа. Такая схема уничтожает классовые границы и таким образом как будто избавляется от классового конфликта, таким образом, переключая внимание от экономических интересов на субъективные и культурные различия между людьми. Другая популярная форма исследований стратификации сосредоточилась на проблеме социальной мобильности и вопросе о том, в какой степени принадлежность к социальному классу является перманентной, особенно в перспективе поколений.

Но независимо от того, как долго человек принадлежит к определенному социальному классу, эта принадлежность никуда не исчезает. Пока он принадлежит классу, классовая позиция оказывает мощное воздействие на его поведение и мышление. Экономическое неравенство до сих пор существует, даже если мы отвернемся от него для ис-

следования престижа и мобильности. И как нам уже показал организационный анализ, все те, кто занимает какую-то позицию, продолжают непрерывную борьбу за новые преимущества. Ключевым здесь является вопрос о природе и характере разделительных линий. Принимая во внимание наличие всех типов организационных фракций и частую ничтожность градаций престижа, можем ли мы, тем не менее, продолжать говорить о каких-то фундаментальных линиях раскола, которые определяют поведение людей?

В конце 1950-х — 1960-х годах возникла идея, которая позволила прийти к консенсусу по поводу этого важнейшего фактора. Им оказалась отнюдь не экономическая собственность сама по себе. Внутри сложных бюрократий современного общества главной социальной линией водораздела стал водораздел между рабочими и менеджерами. Эти группы принадлежат к различным сетям, обладают различными культурами и мировоззрениями и вовлечены в борьбу друг с другом. Но менеджеры, особенно среднего звена, не являются владельцами собственности, а только представляют административный труд. Напротив, малые независимые бизнесы (скажем, водопроводчики, электрики и тому подобное) во многих отношениях гораздо ближе рабочим, чем владельцам крупных бизнесов. Немецкий социолог Ральф Дарендорф предложил поправить марксизм, чтобы объяснить эти аномалии. Главная классовая линия раскола — это *властные группы (power groups)*, те, кто дает приказы, и те, кто получает и исполняет распоряжения. В некоторых случаях собственность может быть основой власти — в этих случаях властные классы совпадают с экономическими классами. Такова была ситуация в начале 1800-х годов, которую наблюдали Маркс и Энгельс и которая привела их к неверному выводу о том, что собственность была основой классового конфликта. Дарендорф предположил, что разделение по отношению к власти является более фундаментальным, чем по отношению к собственности.

Позиция Дарендорфа породила традицию конфликта, которая была более общей по сравнению с марксизмом, хотя она и включала в себя Маркса как одного из идейных предшественников. Дарендорф взял концепцию класса Маркса и Энгельса и обобщил ее в духе Вебера, делая веберовскую концепцию конфликта власти более фундаментальной. С моей точки зрения, это было важным стратегическим ходом по нескольким причинам. Как мы уже видели, веберовская теория конфликта власти напрямую связана с теорией организаций, так как власть мобилизуется в организациях. Более того, она позволяет нам перенести то, что мы узнали из организацион-

ного анализа, на построение теории социальных классов. Организации и классы — это различные пути членения одной и той же социальной реальности. Классы всегда имеют свою основу в качестве частей каких-то организаций, а организации создают классы и классовые конфликты.

Выигрышность этой позиции связана и с тем, что она позволяет лучше понять субъективную и индивидуальную сторону класса, те формы, в которых индивиды мыслят и действуют иначе на основании своих классовых позиций. Если фундаментальной реальностью класса служит различие между отдачей и получением распоряжений, то мы должны понять социальную психологию, которая лежит в основе этих процессов, Что значит быть человеком, дающим распоряжения? Как это воздействует на сознание человека? Какого рода вещи нужно делать человеку в этом положении в течение обычного дня? Те же самые вопросы следует поставить и относительно человека, получающего распоряжения. Ирвинг Гофман, исходя из совершенно другой теоретической позиции, продемонстрировал нам модель социальной жизни как серии смен передней сцены и закулис, своего рода театр современной жизни. Люди, которые контролируют переднюю сцену (то есть официальные части общества), оказываются теми, кто дает распоряжения, высшими классами общества. Те же, кто представляет собой послушную аудиторию этих официальных представлений, — это те, кто получает распоряжения, рабочие классы общества. Я оставляю детали этой теории третьей главе, так как теория Гофмана генетически связана с традицией социальных ритуалов Дюркгейма, а не с теорией конфликта. Но как я попытался показать в деталях в своей «Социологии конфликта» (1975), совмещение моделей Дарендорфа и Гофмана дает нам возможность объяснить с достаточной степенью строгости, почему различные классы имеют те типы мировоззрения, которые подтверждаются эмпирическими данными.

Другим подтверждением фундаментального характера модели властного конфликта выступает весьма успешная теория распределения богатства. «Власть и привилегия» (1966) Герхардта Ленски стала первой значительной работой по сравнительному анализу, которая поставила вопрос: какие условия определяют, будет ли государство иметь большую или меньшую степень экономического неравенства? Ленски исследовал все типы обществ — от племен охотников и собирателей до великих аграрных (в стиле Средневековья) империй и современных индустриальных обществ. Он показал, что с ростом экономического прибавочного продукта общее богатство

все больше распределяется не на основе экономических потребностей или производственного вклада, а на основе силы организации. Наиболее резкие формы неравенства существуют там, где прибавочная стоимость велика и власть наиболее сконцентрирована. Исторически наиболее неравные общества подпадают под следующее определение: это аграрные империи, где экономика производит значительный прибавочный продукт, но где военная аристократия, единственная политически мобилизованная сила, присваивает себе практически все. В индустриальных обществах распределение богатства становится более равным в той степени, в которой в них произошла *политическая* революция, которая дала больше власти массам населения. В капиталистических странах от этого поворота власти выиграли в основном средний и высший средний класс. В тех странах, где произошел *политический* поворот к социализму, степень неравенства упала еще ниже, как показали дальнейшие исследования. В той степени, в которой неравенства сохраняются в социалистических государствах, это происходит не из-за экономической собственности, а из-за концентрации власти в иерархии партийных функционеров. Модели Ленски и Дарендорфа, взятые вместе, проливают новый свет не только на неравенство в современных капиталистических государствах, но также и на очевидные разделения классов и конфликты, которые имели место в Польше, Советском Союзе и других странах.

КЛАССОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

В нашем обсуждении Маркса и Энгельса мы уже видели, насколько плодотворна была их модель для социологии политического конфликта. С началом социологических опросов и исследований в 1940-х годах социология вновь открыла для себя многие из их идей. Сеймур Мартин Липсет (в своей молодости марксист, хотя позднее он резко сдвинулся вправо) подвел итог свидетельствам о влиянии классов на политику, назвав выборы «демократической классовой борьбой». Социальные классы служили наиболее важными разделительными линиями в объяснении того, как люди голосуют. Другим показателем, позволявшим предсказать результаты голосования, были версии веберовских статусных групп.

Было показано, что социальные классы оказывают значительное влияние на мобилизацию людей в современной политике. Консервативные партии не исчезли в современных демократиях, хотя они представляют только меньшинство людей, так как вероятность уча-

ствия их покровителей из высших классов в голосовании и в финансировании, а также в их активном участии в партийных делах гораздо выше, чем в случае сторонников либеральных партий из рабочих классов. Материальные средства мобилизации продолжают играть решающую роль в современной борьбе за политическую власть. Зрелищные теории конфликта занимались в основном революционными восстаниями и другими социальными движениями. Однако «мобилизация ресурсов» не менее уместна в случаях более прозаических классовых конфликтов, которые происходят через посредство голосования.

Хотя эта модель в целом правильна — в том смысле, что высшие социальные классы обычно выступают за сохранение статус-кво и поддерживают права собственности, а низшие классы обычно поддерживают реформы и экономическое перераспределение, — в нее было внесено несколько уточнений. Маркс и Энгельс интересовались не только либеральной реформистской политикой, но и революционным рабочим классом. Они задавались следующими вопросами. Как далеко пойдут левые внутри общего право-левого континуума политики? При каких условиях это приведет к реформизму и при каких — к радикализму? При каких условиях из среды низших классов будут возникать реакционные движения? Отвечая на эти вопросы, сравнительные социологи сделали значительный шаг вперед.

Первая часть анализа имела дело с ранней фазой развития капитализма: проникновением капиталистической экономики в аграрные общества Европы в 1700-х годах, а также последующим его распространением по всему миру. Но Артур Стинчкомб и Баррингтон Мур Младший предложили модели аграрной классовой политики. Оба обратили внимание на то, что у самого капиталистического рынка есть тенденция к мобилизации социальных классов. Поэтому было существенно важным, сами ли крестьяне выбрасывали на рынок свой урожай или это делал за них их феодальный землевладелец. Французская революция 1879 года дала крестьянам их собственную землю. Но в результате они не превратились в радикальную силу, а стали силой консервативной: незащищенные монополиями, эти мелкие фермеры все время находились на грани выживания из-за колебаний рынка сельскохозяйственной продукции. Неудивительно, что подобно мелким фермерам в других местах, они превратились в типичную реакционную силу в современной политике, враждебные городскому обществу и социалистическим и профсоюзным программам рабочих, в которых фермеры видели систему комфорта за счет честных жителей. Мур замечает, что парадоксальным образом

установление современных демократий происходило наиболее гладко в таких странах, как Англия, где землевладельцы согнали крестьян с земли в города, где они потом преобразились из реакционной в либеральную силу. Мур утверждал в своей книге «Социальные истоки диктатуры и демократии» (1966), что самым худшим исходом было удержание крестьян на земле феодальным лордом и их принуждение к производству продуктов для рынков путем интенсификации традиционной дисциплины. Это формула фашизма, который развился в Германии и Японии. Наконец, существовала также возможность радикализации сельскохозяйственных рабочих. Это случилось, например, в Китае, где у крестьян не было земли, но они должны были вносить арендную плату землевладельцу (*absentee landlord*)⁵. В результате все давление рынка обрушивалось на крестьян, прижатых землевладельцами, которые требовали арендной платы независимо от состояния рынка. В этой ситуации их реакцией была поддержка движения по свержению всей системы собственности.

В книге Крэйга Калхуна «Вопрос классовой борьбы» (1982) такой тип анализа распространяется также на городских рабочих. Маркс и Энгельс ожидали, что концентрация рабочих на фабриках превратит их в «могильщиков капитализма», то есть в революционеров, мобилизованных на свержение системы. Но в этом вопросе их социология политического конфликта оказалась не совсем адекватной. Владельцы фабрик в непосредственной форме подвержены рыночным рискам, и этот опыт рынка мобилизует их и делает их политически активными и сознающими свои интересы, в то время как рабочие защищены самой организацией. Таким образом, рабочие ведут свою классовую борьбу на самой фабрике, пытаясь добиться большей безопасности своего места и лучшей заработной платы, но это происходит не на общенациональном уровне. Их борьба не направлена против института собственности как такового. Их фундаментальная позиция оказывается не радикальной и социалистической, а местной, профсоюзной или реформистской.

Калхун замечает, что настоящими радикалами были рабочие, более непосредственно подверженные рыночным рискам. Это были мелкие промысловики, независимые ремесленники и те работники предприятий, которые занимались первичной обработкой сырья, которое им поставляли купцы-предприниматели. Для них не суще-

⁵ *Absentee landlord* (отсутствующий землевладелец) — экономический термин, который означает землевладельца, владеющего и сдающего свою земельную собственность за прибыль, но не живущего на этой территории.

ствовало никаких мягких прокладок, которые бы защищали их от экономических спадов, грозивших немедленно разрушить их бизнес. У ремесленников к тому же не было врагов, с которыми они могли бы бороться – врагов в виде владельцев фабрик или начальников. Ремесленники не могли бороться за организационные реформы, так как они не работали в организации, принадлежавшей кому-то другому. Поэтому им приходилось протестовать против всей системы. Именно эти рабочие составляли костяк тех социальных движений, которые наблюдали Маркс и Энгельс в начале 1800-х годов, в десятилетия своей молодости, и именно эта группа работников убедила их в том, что грядет еще более крупное и радикальное социалистическое движение.

Все это, конечно, не означает, что радикальное социалистическое движение не возникнет вновь некоторое время спустя. Но тип анализа, предложенный Калхуном, созвучен общему подъему современной нетривиальной теории конфликта. Организации способны к сдерживанию и локализации классового конфликта, как и к созданию и оформлению своих собственных новых конфликтов. Для того, чтобы произошла полноценная революционная трансформация всей системы, необходимо взглянуть за пределы локализованных конфликтов, на те структурные силы, которые фиксируют конфликты на уровне всей системы собственности в целом. И такой подход вновь приводит нас к той господствующей суперорганизации, которая удерживает собственность насильственными средствами, – государству.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В последние 30 лет, вплоть до сегодняшнего дня, мы становимся свидетелями появления наиболее изоциренных и амбициозных проектов в области исторической социологии. Я уже упоминал некоторые из их главных достижений: изучение классового конфликта и подъема современного государства Баррингтоном Муром Младшим, Крэйгом Калхуном, изучение революционных социальных движений Чарльзом Тилли, из которого выросла теория мобилизации ресурсов, а также сравнительная модель неравенства в мировой истории Герхарда Ленски. К этому можно добавить недавние теории Тилли, который пытался продемонстрировать, что различие форм современного государства было связано с разными подходами этих государств к достижению контроля над экономическими ресурсами в построении своей военной организации. Другим триумфом исторической

социологии стал анализ Робертом Утноу трехсторонних конфликтов между государством, государственными элитами и культурными предпринимателями, которые привели к грандиозным идеологическим движениям, таким как протестантская Реформация, Просвещение и социализм. Реалистическая интерпретация истории всегда неизбежно приводила к парадигме социологии конфликта. Во всех этих работах темы Маркса и Вебера сливались. Некоторые компаративистские исторические работы были гораздо ближе к марксизму. Это относится, например, к работе британского социолога Перри Андерсона «Пути от античности к феодализму» (1974), который усматривал уникальность Запада не только в капитализме, но также в его основании на развалинах Древней Римской империи. Наиболее амбициозным из этих проектов была работа Иммануила Валлерстайна «Современная мировая система», три тома которой вышли между 1974 и 1989 годами. Работа Валлерстайна ближе всего примыкает к классической марксистской интерпретации, так как он рассматривает экономические процессы и противоречия как движущую силу истории. Но он расходится с классической марксистской моделью в том, что экономика у него дислоцируется не в каком-то конкретном государстве, но организована как мировая экономическая система, с ее долгосрочными циклами экспансий и сокращений.

Эти длинные волны глобальных экономических бумов и депрессий, каждая из которых занимает около 100 лет, связаны с империалистической политикой в отношении периферии в период подъемов и с войнами с центральными державами в период спадов, и приводящих к гегемонии нового государства. Проект Валлерстайна еще не завершен. Но уже сейчас он представляется наиболее многообещающим и всеобъемлющим взглядом на те механизмы, которые движут человеческим обществом со времен сравнительного изучения мировых религий Вебером. При этом проект Вебера был только фрагментом целого, который он не успел завершить.

Несмотря на то что Валлерстайн является самым «ортодоксальным марксистом» из всех современных компаративно-исторических социологов, я бы все же сказал, что в его логике мировых систем есть явный веберовский уклон. Военная гегемония государств центра является ключевым фактором их экономической доминанции над мировой системой, но остается открытым вопрос о том, какое именно из государств центра побеждает в каждый из периодов противостояния. Я бы предположил, что это определяется другим процессом геополитических отношений между самими государствами. Здесь играет роль такой фактор, как географическое положение государств, про-

тивостоящих друг другу: государства, находящиеся на внешнем кольце населенной территории, имеют военное преимущество перед государствами в середине, так как в длительной перспективе последние обычно сжевываются в процессе многосторонней войны. Идут процессы накопления преимуществ и недостатков, так как государства-победители наращивают победоносный импульс и увеличивают свой размер и ресурсы, в то время как их соперники продолжают борьбу из ослабленных позиций. Но существует также и внешний предел способности государства завоевывать новые территории. Срабатывает принцип «военного перенапряжения» (*military overextension*), который становится главной причиной фискального кризиса государства, который мы уже обсуждали выше. Когда происходит такой перенапряжения, государства могут потерпеть фиаско гораздо быстрее, чем им удалось изначально вырасти, и в таком случае они распадаются, на счастье своих соседей.

Я бы сказал, что принципы геополитики являются более общими даже по отношению к принципам капитализма. Геополитика определяла военные циклы древних и средневековых империй — те же самые принципы действуют и сегодня, хотя капиталистическая мировая экономика и оказалась наложенной на них. Геополитическая позиция государства оказывает решающее влияние на его внутреннюю политику, включая и опыт революции. Теда Скокпол в своей ставшей знаменитой книге «Государства и социальные революции» (1979) показала на примере сравнительного анализа французской, русской и китайской революций, что для революции необходима не только мобилизация социальных классов, выступающих с радикальными экономическими требованиями. Революция всегда начинается с кризиса государства, разрушения, вызванного войной или фискальным кризисом, который парализует правящие классы в борьбе с администраторами государственного сектора и господствующими классами собственников за пределами этого сектора. Эта теория достаточно убедительна. Можно только добавить, что новые проблемы государства, с которых начинается этот процесс, отнюдь не случайны. Они вытекают из положения государства в более широкой геополитической ситуации. Франция до 1789 года, Россия до 1917 года, Китай до 1949 года находились в особой ситуации наличия значительных геополитических преимуществ в одних отношениях и серьезных геополитических слабостей — в других. Все они были государствами с кумулятивными преимуществами в плане ресурсов, но в то же время чрезвычайно расширенными и сталкивающимися с соседними государствами в слишком многих направлениях. С этой

точки зрения, революционное восстание является конвульсией внутри государственной системы, в которой классы, направлявшие катастрофическую геополитическую политику, должны поплатиться за нее. Как справедливо показала Скокпол, с устранением неэффективных моментов постреволюционные государства вновь устанавливают военную и милитаристскую национальную идентичность и вновь становятся агрессивными державами на мировой геополитической сцене.

Джек Голдстоун расширил теорию революции в результате распада государства, предложенную Скокпол. Сравнивая различные исторические прецеденты распадов государств в Европе, а также рассматривая опыт Оттоманской империи и Минской династии в Китае, Голдстоун смог показать с впечатляющей точностью, какие условия приводят государства к революции и при каких условиях революции не происходят. Голдстоун расширяет модель Скокпол, показывая, что фискальный кризис государства и внутренние конфликты между элитами, которые разваливают государство, вызываются в том числе и системами налогообложения, экономическим развитием и ростом населения. Голдстоун показывает, что бум населения в начале нового времени оказал негативное влияние почти на все аспекты фискального благосостояния государства и, таким образом, подготовил крах государств и революции. Означает ли это, что революции не могут происходить в государствах, которые в состоянии контролировать размер своего населения? Вовсе не обязательно. Модель Скокпол—Голдстоун, взятая в целокупности, показывает, что главным фактором, определяющим способность государства к удержанию контроля, является его фискальное здоровье, которое может быть разложено различными причинами: ростом населения, неадекватной системой налогообложения, геополитической напряженностью или комбинацией этих факторов, если напряжение достигает высокого уровня. Эпоха революций, вероятно, еще не закончилась. Даже такие гиганты, как СССР, оказались уязвимыми в плане своих ресурсов, а фискальные вопросы государств в других частях современного мира (включая и Соединенные Штаты) показывают, что и они не застрахованы от проблем в длительной перспективе.

Сегодня традиция социологии конфликта остается действенной и продолжает развиваться во многих направлениях. При этом она остается неоднородной. Постоянно вспыхивают споры между марксистами и веберианцами и между различными точками зрения внутри этих лагерей. Это происходит отчасти потому, что традиция конфликта остается наиболее политически активной из всех разделов

социологии. Мы выбираем свои идейные позиции на основании того, что они нам могут дать в плане политических программ, которые мы развиваем. Но помимо этих неизбежных вопросов, касающихся проблем политики, она содержит в себе также систему принципов о том, как функционирует мир. Социология конфликта с необходимостью конфликтна, как и все прочее. Отсюда ее значимость для традиции социологического реализма, которая стала достаточно изолированной. Если мы хотим подняться над нашими собственными социальными конфликтами и пытаемся представить себе науку о функционировании общества, то социология конфликта должна стать центральным элементом такой концепции.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗИММЕЛЬ, КОЗЕР И ФУНКЦИОНАЛИСТСКАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА

Термин «теория конфликта» иногда используют и в применении к совершенно другой традиции анализа, которая была инициирована одним из современников Вебера, Георгом Зиммелем. В 1950–1960-х годах она была возрождена и формально изложена немецко-американским ученым Льюисом Козером. Тем не менее ее общий тон и аналитический аппарат движутся в направлении, отличном от идейного наследия Вебера и Маркса. Козер пытался показать, что конфликт может быть включен в функционалистскую теоретическую перспективу как средство поддержания социального порядка. Если мы взглянем на изначальные аргументы Зиммеля, то окажется, что консервативные темы у него еще более ярко выражены.

Главная социологическая работа Зиммеля «Социология» (1908) демонстрирует программатическую структуру, которая могла бы быть весьма плодотворной. Зиммель настаивает на структурной перспективе изучения социальных форм, которые надлежит анализировать вне их специфически эмпирического содержания и чисто психологических мотивировок. И если интерес к формам идет от кантовской философской традиции, Зиммель остается немцем и в своем интересе к стартификации и конфликту. Иерархия («суперординация и субординация») – фундаментальная тема Зиммеля. Он разбирает ее в начале своей книги, после чего переходит к проблеме конфликта, который часто сопутствует иерархии. Он отнюдь не утопический идеалист.

Тем не менее очевидно, что интерес Зиммеля к этим теоретическим аспектам общества достаточно негативен и полемичен. Самая первая глава [в книге под редакцией Курта Волфа «Эссе по соци-

ологии, философии и эстетике» (1965) название этой главы переведено как «Проблема социологии»] начинается с критики существующих подходов к социологии, которую Зиммель рассматривал как побочный продукт подъема социалистического движения в XIX веке. Именно это движение (вероятно, Зиммель имеет в виду Конта и Маркса) возвышает класс над индивидом и тем самым поднимает его на новый уровень анализа. Сам Зиммель переходит на этот уровень анализа. Он делает это, провозглашая, что социология должна дистанцироваться от обыденного содержания социальных проблем и заниматься формальным анализом структурных форм, которые лежат в основе общества. Он оправдывает такой подход (в разделе под названием «Как возможно общество?») отсылкой к неокантовской категории формы.

Подход Зиммеля к социологии достаточно двусмыслен. Он приходит к пониманию социологии как структурной науки, но это оказывается лишь прикрытием его полемических целей: критики социалистического мировоззрения и защиты индивидуализма. Например, наиболее содержательная глава его книги начинается с параграфа «О важности чисел для социальной жизни». Многообещающее начало. Но там, где мы ожидаем абстрактного анализа, он заявляет в самом начале параграфа «Социализм», что социализм невозможен как современный политический идеал, так как равенство возможно только в небольших группах. Это не годится даже в качестве теоретического заявления — из практики известно, что небольшие группы могут быть авторитарны и иерархичны (возьмем, к примеру, патриархальную семью), а большие сообщества могут в различной степени приближаться к идеалам социального равенства. Даже если забыть об абсолютном равенстве, экономические различия между сегодняшними социалистическими и капиталистическими обществами весьма существенны.

К сожалению, этот пример слишком показателен в смысле того, как Зиммель использует свой формальный подход. Снова и снова он делает заявления якобы универсального и теоретического характера, которые представляют собой не более чем его собственные предрассудки. Большие группы авторитарны и лишены разумности — вряд ли это особенно оригинальная идея, но идея достаточно типичная для консерваторов его времени. (Впрочем, и гораздо более давних дней — это то, за что Аристотель критиковал демократию.) В своем обсуждении бедных Зиммель добавляет раздел «Негативный характер коллективного поведения». Он говорит о «социологической ошибке социализма и анархизма», которая состоит в том, что они

ищут свободу там, где можно найти только господство, так как большие группы всегда должны быть иерархическими. (Должны ли они становиться все более иерархичными по мере того, как увеличивается их численность? Зиммель предполагает, что это так, но он нигде этого не доказывает и даже не думает, что здесь возможны вариации.) Насилие он обсуждает не совсем в реалистическом ключе. Насилие не является основой господства, но господство иногда дополняют насилием. Зиммель обсуждает применение силы только в контексте философской доктрины о том, что людей нужно принуждать для блага общественного порядка. Зиммель не совсем с этим согласен (в конце концов, он либерал XIX века), но он все-таки верит, что большинство людей нуждается в принуждении (Зиммель — элитистский либерал, а не Джон Стюарт Милль).

И в том же духе он продолжает. Снова и снова заголовки Зиммеля обнадеживают, а содержание разочаровывает. Причина в том, что Зиммель занят только своей полемикой, от начала до конца. В этом отношении поучительно сравнить его с Вебером, который разделял многие его взгляды. Вебер очень серьезно относился к идее ценностной нейтральности. В сравнении с ним Зиммель мелок. То же самое относится и к эмпирической стороне дела. Зиммель делает кое-какие эмпирические отсылки, заполняя страницы примерами различных социальных групп. Но это в основном обыденные наблюдения, неплохие истории для рассказа за ужином, которые никому не придет в голову проверить (например, Зиммель иллюстрирует роль цифр в социальной жизни анекдотом о группе друзей, которые раскололи тарелку на множество частей, и каждый сохранил часть как символ их единства). Есть также и исторические примеры: обычаи и политические конституции древних греков и римлян, городские собрания в Новой Англии, структура и практики средневекового папства (последнее — один из любимых источников примеров для Зиммеля). Но они остаются только примерами. В отличие от Вебера Зиммель никогда не занимается сравнением случаев и не делает даже робких попыток посмотреть, на его ли стороне реальные данные и примеры. Вместо этого он пытается найти красочные иллюстрации для своих категорий.

Зиммель крайне неохотно подбирается к выводу о том, что буржуазное общество служит предпосылкой индивидуализма. Он формулирует это иначе: не слишком полемичным и недостаточно «формальным» образом, но эта идея тем не менее просачивается в его работу. Большой опасностью является массовое общество, которое проповедуют социалисты — оно разрушает индивидуализм. (Это звучит как

у Ницше, мода на которого в 1890-е — начале 1900-х годов совпала с деятельностью Зиммеля.) Индивидуализм становится возможным в крупном обществе с высокой внутренней дифференциацией. Индивидуализм расцветает там, где индивиды являются членами различных групп одновременно («пересечение социальных кругов»).

То, что это является частью специфически буржуазного капиталистического порядка, становится ясно из другой его важной книги «Философия денег» (1900). Кстати, эта работа является подлинно философской в том же смысле, что и ранние работы Маркса по экономике были одновременно и философией. Зиммель читается как прямое опровержение Маркса (как и других экономистов). Экономическая ценность — это объективация, которая производится отделением индивида от объекта. Если для Маркса это определение отчуждения, то для Зиммеля позитивный результат, аналогичный эстетическим ценностям, которые производятся теми же самыми процессами объективации. Зиммель далее утверждает, что объективация и трансценденция субъективности связаны с процессом обмена. В противоположность Марксу менная стоимость является центральной, а потребительная стоимость вообще не является экономической ценностью. Деньги — это символ объективности, который возникает в отношениях между субъективными элементами. Как таковые, замечает Зиммель, деньги аналогичны категории истины. Далее он критикует Марксову трудовую теорию стоимости. Марксова теория не только игнорирует умственный труд в пользу физического — физический труд у него получает свою ценность от физических усилий, которые в него вложены!

Таким образом, зиммелевская оценка денег очень положительна. Деньги ведут к анонимности и эмоциональной нейтральности в отношениях и таким образом разрушают вездесущую систему группового контроля традиционных обществ. Деньги — основа индивидуальной свободы. Это не означает, что Зиммель не видит ничего негативного в современном капиталистическом обществе. Так он выражает свои мнения (большая часть из них превратилась в клише у современных интеллектуалов) о том, что современная жизнь стала слишком ориентирована на расчет, что в ней отсутствует эмоциональность, что она характеризуется жадностью, расточительством, мелочностью, цинизмом и скукой. Деньги порождают «декадентский тип личности». Зиммель прямо пишет, что это две стороны одной медали: цена современного индивидуализма и свободы — это потеря личностью своей укорененности. Но в целом Зиммель готов заплатить эту цену. Он говорит о том, что личная культура отстает от

материальной культуры. Насколько можно судить из его социологических работ, под личной культурой он подразумевает экзальтированные разговоры и эстетические суждения в салонном обществе рубежа веков, то есть среде высшей буржуазии, к которой он принадлежал. Зиммеля знали как блестящего собеседника, и лучшие аспекты его социологии дошли до нас в форме выполненных в гофмановском стиле портретов «игривого» мира разговоров, мира секретов («задняя сцена» Гофмана), интимности и сексуальных отношений. Здесь индивидуализм чувствовал себя в своей стихии, особенно если учесть, что он был воплощен в космополитичного инсайдера/аутсайдера, имевшего доступ во многие группы, но не связанного постоянно ни с одной из них.

Эту ситуацию можно лучше понять в контексте той карьеры, которую избрал Зиммель. Частный лектор (*Privatdozent*) по философии, он создал себе репутацию публикацией огромного количества популярных статей в газетах и журналах, а также книг и брошюр. Он много писал об искусстве, культуре, женщинах, кокетстве и других салонных предметах своего времени. «Социология» (1908) была его одиннадцатой книгой, зажавшейся между «Шопенгауэром и Ницше» (1907) и «Основными проблемами философии» (1910). На самом деле Зиммель не очень серьезно относился к социологии, и это видно из его работ. Даже его буржуазное происхождение не дало ему серьезного направления. Он унаследовал от происхождения свои политические предрассудки, но не понимание экономической стороны жизни. И это можно лучше понять, учитывая, что его семейные связи происходили в основном из сферы торговли предметами роскоши. Его отец владел известной шоколадной фабрикой. Он умер, когда Зиммель был еще мальчиком, и его попечителем стал директор издательства по публикации музыкальных сочинений. Георг Зиммель унаследовал значительное состояние и никогда не нуждался в том, чтобы работать, кроме как для собственного удовольствия. В плане этих условий он немногим отличался от Вебера. Но семья Вебера занималась промышленностью, а не торговлей предметами роскоши, и Вебер с детства был вхож во внутренние круги, связанные с политикой рейхстага. Оба чрезвычайно интересовались сферой тайного и секретного, но в случае Вебера это были секреты задней сцены политических маневров, а в случае Зиммеля — сплетни о любовных похождениях на элегантных праздниках в салонах.

Поэтому, когда Зиммель пишет о конфликте, необходимо отбросить идеи марксистских теоретиков конфликта (а также, вероятно, и военных теоретиков *Realpolitik*). С точки зрения Зиммеля, кон-

фликт не ведет к социальному изменению, а является только одним из их структурных отношений, эндемичным любой социальной форме. Зиммель понимает, что конфликт должен как-то относиться к сфере доминации, но он никак не изменяет саму систему доминации. Это только одна из драм социальной жизни, на которую нужно взглянуть, — не более чем очередное салонное развлечение.

Реально Зиммель присоединился к традиции теории конфликта только в 1950-е годы, когда Льюис Козер переформулировал его идеи, а Курт Вольфф и Рейнхардт Бендикс (политический социолог в веберовской традиции) перевели его ключевые тексты о конфликте. Козер пытался адаптировать модель конфликта к функционалистской теории социального порядка, которая в то время доминировала в Соединенных Штатах, хотя сам Козер скорее симпатизировал левым движениям социального изменения. Козер очистил Зиммеля от антисоциалистической полемики и устранил из его теории те принципы, которые имели слишком широкое применение для анализа любых типов конфликта. Конфликт обостряет ощущение групповых границ. Конфликт становится особенно острым, когда он происходит между индивидами и группами, которые уже тесно связаны, и таким образом становится угрозой существования группы. Внешний конфликт сплачивает группу. Поэтому группы часто ищут внешних врагов для поддержания внутреннего порядка. По иронии судьбы антагонисты оказываются тесно связанными и взаимозависимыми, подобно тому, как милитаристы в период гонки вооружений обязаны своим влиянием друг другу. Таким же образом, воинствующие идеологи из противоположных социальных движений подспудно связаны друг с другом теснее, чем со своими сподвижниками. Конфликты имеют тенденцию распространяться в результате процесса, где каждая сторона пытается привлечь на свою сторону нейтральные группы для формирования коалиции.

Формулировка этих принципов Козером положила начало современной школе исследования самих процессов конфликта. Работа Козера увидела свет примерно в то же время, что и теория классового конфликта Дарендорфа (которая пересекается с некоторыми из его принципов). Комбинация этих двух теоретических направлений привлекла внимание социологов к той видной традиции, которая может быть названа теорией конфликта.

2. РАЦИОНАЛЬНАЯ / УТИЛИТАРНАЯ ТРАДИЦИЯ

До тех пор пока влечение к рациональности подразумевает учебу, предвидение и расчет, и, как часто бывает, они приносят ущерб, влечение к рациональности иррационально, если их издержки не учитываются в балансе. Издержки на рациональность могут сделать рациональность иррациональной.

Джордж Хоманс, 1961

Вторая теория, которой мы займемся, тоже имеет долгую историю. Но с течением времени ее важность в социальной мысли значительно колебалась, изменялась ее идентичность, изменялись имена, под которыми она была известна. Сначала в 1700–1800-х годах она была известна как утилитаризм, и ее проповедниками были британские социальные философы. В это время она была тесно связана с экономикой — дисциплиной, делавшей тогда свои первые шаги. В конце 1800-х годов утилитаризм вышел из моды в философии, а экономисты стали более профессиональны и порвали свои прошлые философские связи. Затишье царило вплоть до 1950-х годов, когда социологи начали формулировать позицию, которую они назвали «теорией обмена». В других дисциплинах тоже были движения в этом направлении, в политических науках, в философии, а также среди экономистов, решивших, что их подход может применяться за пределами их собственной области. К 1970–1980-м годам получило распространение движение, ставшее известным как теория «рационального выбора», хотя некоторые называли его теорией «рационального действия». Тот анклав этого движения, который был ориентирован прежде всего на стратегии, получил название теории «публичного выбора». Я буду использовать термин «рациональная/утилитарная» для обозначения всей этой традиции. (Иногда для удобства я буду сокращать это до «утилитарный».)

Строго говоря, рациональная/утилитарная традиция вообще не является социологической. Она пересекается с некоторыми разде-

лами социологии и противостоит другим. Эта традиция была вовлечена в процесс формирования социальных наук как специализированных дисциплин, но в течение столетий она то входила, то выходила из моды. Можно представить себе рациональную/утилитарную традицию как извивающийся поток, текущий через низкую болотистую равнину. Это был весенний ручеек, который образовал само русло реки, который потом обмелел, став только небольшим протоком, текущим параллельно более крупным рекам, но впоследствии, уже в наше время, этот поток начал расширяться, затопляя

Некоторые вехи в рациональной/утилитарной традиции

1690	Локк, социальный контракт	
1720	Мандевиль, частные пороки и публичные добродетели	
1740	Юм, Хартли, ассоциация идей	
1760–1780	Адам Смит, моральная симпатия	
		Экономика <i>laissez-faire</i>
1800	Бентам, утилитарная правовая реформа	
1860	Д. С. Милль, утилитарная этика	
1870–1900	Брэдли, Мур, антиутилитарная этика	Академическая экономика: общее равновесие
	Дюркгейм критикует социальный контракт	
1930	Уаллер, рынки секса и брака	
1940	Теория игр	
1950	Дилемма узника	Даунс: экономическая теория демократии
	Марч и Саймон, удовлетворяющий	
1960	Хоманс, Блау, теория обмена Олсо, безбилетник	Рикер, минимальная коалиция для выигрыша Шеллинг, насильственная коалиция преступные и нелегальные рынки
1970	Распределительная справедливость Канеман и Тверский Аномалии выбора Образовательная инфляция Расколотый рынок труда	Роулс: теория справедливости Бьюкенен: публичный выбор
1980	Кук, Уиллер, власть в сетях обмена Харрисон Уайт, рыночные сети	Аренда государственной протекции
1990	Хечтер, Коулман	Теория солидарности

луга и смывая берега рек, которые были отдельными дисциплинами в предыдущем столетии. Сегодня сторонники теории рационального выбора представляют свое движение как нечто унифицирующее все социальные науки в одну мощную реку, текущую в море. Их оппоненты считают, что это только временный период непогоды, с удвоенной энергией работая над возведением плотины. Вероятно, оба взгляда представляют собой крайности, но трудно отрицать, что рациональный/утилитарный канал снова расширяется и что он преобразует основные части нашего интеллектуального ландшафта.

Оставляя в стороне метафору, мы должны сказать, что у рациональной/утилитарной традиции есть несколько разновидностей. В некоторых аспектах утилитаризм имеет много общего с теорией конфликта: это достаточно абстрактный способ обсуждения поведения индивидов, преследующих свои цели и высчитывающих свои преимущества. В обоих подходах большое место занимают материальный мир, монетарные выигрыши и физические расходы. Конечно, люди интересуются не только деньгами, но существует тенденция интерпретировать все остальные интересы как аналогичные монетарным подсчетам. Эта версия утилитаризма кажется близкой марксизму, что не удивительно, если мы примем во внимание, что оба этих направления были изначально связаны с экономикой. С другой стороны, существуют аспекты современной теории рационального выбора и теории обмена, которые значительно отличаются от теории конфликта. Она не обращает большого внимания на стратификацию и неравенство людей, но описывает мир, в котором люди рационально занимаются обменом друг с другом, имея в виду оптимальные результаты для всех. Этот последний тип теории пытается показать, как возникают нормы и как проходят обмены, имеющие в виду стандарты справедливости. Эта часть традиции в противоположность критическому и бунтовскому тону марксизма кажется созвучной утопическим идеалам первых экономистов, которые считали, что «невидимая рука» рынка делает все верно.

Таким образом, мы видим, что рациональная/утилитарная традиция не просто вторгалась в разные сферы социальной науки, но также вступала с ними в споры. Одна из ее ветвей критически относилась к социальным институтам. Ее представители уподобляли политиков бизнесам, пытающимся сделать прибыль на своих избирателях, а систему образования — монетарной системе в период галлопирующей инфляции. В отличие от марксизма их критика не всегда была левой. Некоторые движения, подобные теории рационального выбора, считаются консерватив-

ными: их представители полагали, что политики, транжирящие деньги, должны быть под контролем, чтобы защитить публику. Другие пытались показать, какие инициативы необходимы для контроля над преступностью и для стимуляции заботы родителей о детях. То, что объединяло эту группу теоретиков, вне зависимости от политических позиций ее представителей, была точка зрения реализма без сантиментов в анализе вопросов политических стратегий.

Представители других направлений современной рациональной/утилитарной теории не особенно озабочены вопросами конфликта стратегий, но пытаются показать, что в принципе возможно объяснить общество рациональными мотивациями индивидов. Они спорят с неутилитаристскими направлениями социологической теории, особенно с теми, которые мы рассмотрим в следующих главах — например, с дюркгеймовской традицией (которая видит в человеческом познании начало не рационально-расчетливое, а символическое и связанное с интерпретацией). Утилитаристы выступили с дилеммой, известной как проблема микро-макро: на макроуровне они видят общество как совокупность действий индивидов и противостоят концепции общества как макросущности или структуры, существующей над индивидами. Утилитаристы всегда враждебно относились к объяснениям, которые обращаются к концепции культуры, которая якобы определяет то, что делают люди. Вместо этого утилитаристы пытались понять, что мотивирует индивида, когда он совершает свои действия, исходя из собственного интереса.

По этому поводу опять возникали споры уже в их собственных рядах. Начиная с 1950-х годов открылась новая серия парадоксов: могут ли индивиды максимизировать свои интересы или только удовлетворить их; как возможна социальная кооперация, если у рациональных индивидов есть все мотивы для того, чтобы стать «безбилетниками» (*free-riders*); дилемма узника, которая противопоставляет интерес одного индивида другому; свидетельства о том, что в реальной жизни люди обычно не совершают рациональных подсчетов. Перед лицом этих проблем современная утилитарная традиция не отступила. Напротив, она стала богаче и изощреннее в разрешении этих вопросов.

Взглянем на все это в перспективе и попробуем проследить развитие утилитарной традиции с ее начала в Англии триста лет тому назад.

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ УТИЛИТАРНОЙ ФИЛОСОФИИ

В своем первом воплощении утилитарная традиция была либеральным крылом публичной философии. До 1800 года термин «утилитаризм» не употреблялся, но сам этот способ мышления был характерен для британских интеллектуалов со времен Славной революции 1688–1689 года, которая ограничила власть короля и поставила Англию на путь парламентской демократии. Многие базовые идеи утилитарной философии были высказаны Джоном Локком¹ — идеологом Славной революции. За свою оппозицию королю он вынужден был уехать в изгнание, и по возвращении из Голландии с конституционным монархом Уильямом Оранжским Локк привез с собой рукописи своих книг, которые заложили основы нового социального порядка.

Для Локка точкой отсчета всегда был рациональный индивид. У индивида есть определенные фундаментальные права, которые правительство не может отнять, так как правительство — только результат социального контракта индивидов. Владение частной собственностью, созданной собственным трудом — одно из этих фундаментальных прав. Задачи государства минимальны — защита прав и собственности индивида. Можно видеть, как идея о том, что экономика является фундаментальной наукой о людях, вытекает из локковского интереса к труду и собственности. Все прочее, включая правительство и религию, играет вторичную роль.

Локк жил во времена серьезного политического конфликта по поводу права государства навязывать католическую или протестантскую религию, и он был особенно озабочен установлением социального мира за счет отказа от религиозной проблемы. Терпимость к личным верованиям наиболее важна. Вера является личной и не может быть навязана извне. Поэтому Локк противостоял всякой философии, которая утверждала, что идеи являют-

¹ Строго говоря, можно было бы начать наш анализ фундаментальных утилитаристских идей еще полустолетием раньше, работами Томаса Гоббса. Но в некотором смысле Гоббс был гораздо более сложным мыслителем, чем Локк. Аргумент Гоббса по поводу того, что рациональный индивид должен отдать свою суверенность правителю, чтобы избежать войны всех против всех ближе к парадоксам «безбилетника» 1960-х годов, чем идеям о благодушной социальной гармонии, которые акцентировали утилитаристы, следуя Локку. Поэтому мы и начинаем наш анализ с последнего.

ся врожденными или что они приходят не из человеческого опыта. Изначально ум человека подобен листу чистой бумаги и то, что на нем записано, приходит из собственного опыта. Локк — эмпирик в результате своих политических убеждений. Каждый человек формирует свои идеи на основании собственного чувственного опыта. Каждый ощущает свой материальный мир и через ассоциацию различных ощущений строит картину того, что существует. Индивид Локка живет в обыденном, практическом и материальном мире, поскольку только такая перспектива понимания позволяет избежать идеи привилегированной позиции традиций, которые навязываются человеку обществом. Религиозные идеи, или теологии, которые стали причиной войн и насилия между протестантами и католиками, не имеют реального авторитета. Локк считал, что единственная религия, которую человек может рационально принять, может состоять только в нескольких фундаментальных идеях о создателе мира и о человеческой морали, которые могут быть выведены из опыта. Можно сказать, что Локк отрицал силу культурной традиции в формировании системы верований индивида.

Как мы увидим ниже, в этом вопросе утилитаристская традиция постоянно сталкивалась с трудностями. Рациональный индивид строит свои идеи на основании собственного опыта и должен отбросить те из них, которые из него не вытекают. Почему тогда идеи и традиции так часто навязывались людям? Почему тогда начались религиозные войны? Зачем индивидам надо было участвовать в революциях и свержениях деспотической власти короля, если само правительство было создано народом? Другими словами, как могут утилитаристы объяснить то, что они называют ложными идеями и неэффективным поведением? Утилитаристы с трудом различают вопрос о том, что *должен делать* рациональный индивид, и объяснением того, как люди действуют в реальности. Идет ли в их теории речь об идеале или о реальности? История рациональной/утилитарной традиции обновлялась в попытках разрешить эту проблему.

Британские мыслители следовали эмпиризму Локка более столетия. Однако некоторые из его первых последователей были озабочены тем, что локковское неприятие врожденных идей зашло слишком далеко. Как совместить наличие морали и чувства долга в отношении других людей с тезисом о том, что каждый человек следует только своим собственным физическим ощущениям? Чтобы избежать такого образа эгоистического человека, говорят Шефтсбери

и Хатчесон, человек должен обладать врожденным чувством морали, подобно тому, как им должно быть свойственно врожденное чувство прекрасного и безобразного. Другие эмпирицисты опасались, что признание врожденного морального чувства может открыть дверь религиозному догматизму. Они пытались защитить разум от суеверий и внешнего контроля, демонстрируя, что все верования имеют своим источником индивидуальный опыт. На основе того порядка, в котором мы получаем наши ощущения, Дэвид Юм выдвинул принцип о том, что все верования построены на ассоциации идей. Это относится ко всем видам идей — как к идеям о физическом, так и о социальном мире. Единственная причина, по которой мы верим, что завтра встанет солнце, — это то, что мы видели, что оно вставало так много раз до этого. Но кроме нашего привычного верования, нет никакой гарантии, что солнце вновь поднимется. С точки зрения Юма, привычка и обычай управляют разумом, и так как все проходит через разум индивида, привычная ассоциация идей — это «цемент мира».

Можно сказать, что Юм пытался преодолеть амбивалентность локковской философии в вопросе о том, что должен делать рациональный индивид, тем, что он на самом деле делает. Юм выступает на стороне реального. Если индивиды действуют определенным образом, это происходит в результате их привычного опыта, а не оттого, что они верят, что их действия рациональны. Юм тем самым объясняет, почему люди мирятся с социальными институтами, даже если эти институты не дают им никаких благ и не совпадают с их рациональными интересами. Когда институты остаются неизменными длительное время, человек принимает их как само собой разумеющееся. Юм так никогда и не смог дать удовлетворительного ответа на вопрос о том, как вообще могли возникнуть неудовлетворительные институты и как был возможен переход от различных укладов и обычаев к социальным изменениям. Современные утилитаристы должны были ответить на эти вопросы. Если Локк критиковал или призывал к реформе существующих институтов, чтобы приспособить их к правам индивида, то Юм стал консерватором своими попытками объяснить, почему вещи таковы, как они есть. Но Юм отнюдь не был реакционером. Он жил уже после успехов революции Локка и не видел никаких причин для дальнейших преобразований. Радикалом он был только в одном вопросе, не признавая никакой рациональной основы для религии и потому считая, что лучше всего было бы обойтись без нее.

Юмовский принцип ассоциации идей скоро дал толчок тому, что мы считаем утилитарной позицией. Дэвид Хартли в 1749 году утверждал, что наш выбор идей продиктован тем, что они ассоциируются с удовольствием или страданием. Это относится также и к нашим эстетическим и моральным идеям. Другими словами, не существует врожденных идей красоты и морали; о них мы тоже узнаем из опыта. Через 10 лет молодой друг Юма по имени Адам Смит написал свою первую книгу «Теория моральных сантиментов». Смит пытался показать, что то, что мы считаем добром, — это то, что доставляет нам удовольствие, а то, что мы считаем злом, — это то, что доставляет нам страдание. Каким образом может существовать какая-то мораль, которая бы выходила за пределы эгоистического опыта изолированных людей? Это происходит потому, что каждый из нас способен поставить себя на месте других людей. Мы симпатизируем их страданиям и удовольствиям и, таким образом, можем представить, что для них хорошо и что плохо. Подобно большинству утилитаристов, Смит не видел никакой серьезной конфликтности между людьми. Эгоистический интерес одного человека в отношении своих страданий и удовольствий не приходит в конфликт с такими же интересами другого человека. Смит был прав, замечая, что иногда между людьми возникает чувство симпатии. Но он не задался вопросом, насколько изменяется масштаб чувства симпатии: так иногда люди распространяют свою симпатию только на узкую группу, а иногда охватывают ею целый класс, нацию или вообще всех людей в мире. Эти социологические вопросы были поставлены только гораздо позже — во время Дюркгейма и за пределами утилитарной традиции.

Есть и другая причина, почему Смит не был слишком озабочен возможными конфликтами между индивидуальными интересами. Смит был наиболее известен своей системой экономики, которую он опубликовал в 1776 году, и в ней он утверждал, что индивиды, следуя своим интересам, приносят пользу всем. Эта экономическая линия присутствовала в утилитарной традиции с самого начала (например, у Локка, защищавшего права частной собственности); Юм также был известным экономистом своего времени. Утилитаристы противились вмешательству государства в экономику и выступали за свободу рынка. По их словам, здесь речь шла не просто об индивидуальных правах. С возрастанием общего экономического богатства положение каждого улучшится. Эта тема уже была озвучена лондонским доктором Бернардом де Мандевилем в 1723 году под

лозунгом «частные пороки — общие добродетели». Мандевиль шокировал своих современников заявлением, что тщеславные и легкомысленные потребители предметов роскоши стимулируют производство и полную занятость. Даже воры полезны, так как они дают работу слесарям. Все должно идти к лучшему, если не ограничен свободный поток бизнеса.

Адам Смит систематизировал доктрину *laissez-faire* в своей серии экономических принципов. Удовольствия и страдания индивида превращаются в экономические блага и затраты. Рациональный индивид пытается максимизировать прибыль по отношению к убыткам (другими словами, ищет прибыль на свою инвестицию в товары и труд). Положение как человека, так и общества в целом улучшается, если этот процесс протекает на свободном рынке. Поскольку в соревновательном рынке законы спроса и предложения гарантируют, что блага будут предоставлены в лучшем качестве и по самым низким расценкам. Все, кто пытается предложить товар низкого качества и по завышенным ценам, будут вытеснены кем-то другим. Экономическое соревнование способствует продуктивности, и общество с открытым рынком становится более богатым. Не возникает необходимости мешать людям, которые стремятся к личной выгоде, так как рынок — это огромная «невидимая рука», которая располагает все к лучшему.

Смит никогда не доходил до крайних утверждений о том, что вообще нельзя вмешиваться в поведение людей. Он хорошо понимал, что купцы могут пытаться надуть или что продавцы товаров или труда могут вступить в сговор для создания монополий или поддержания высоких цен, превосходящих соревновательно рыночные. Смит выступал за минимальную регуляцию для запрета монополий и укрепление справедливого ведения бизнеса на открытом рынке. Правительство должно было стать нейтральным референтом и не должно было использовать политическую власть для лицензирования своих собственных монополий. Здесь мы опять видим, что Смит, как и другие утилитаристы, имел в виду своего рода идеальный индивидуализм, который конституирует лучшее общество. В то же время ему казалось, что законы рационального индивидуального поведения — в его случае законы рынка — объясняли, как реально происходят события. Но он неявно признавал, что эти законы действовали только в ситуации, когда общество позволяло им действовать. Было необходимо освободить для них место и устранить некоторые иррациональные образцы социальных институтов, которые препятствовали работе рынка.

Экономика *laissez-faire* Смита возникла в период подъема индустриальной революции в Англии. Его теория должна была объяснить и дать ориентир в эпоху экономической трансформации. Утилитарное мышление стало весьма популярным. В это время термин «утилитаризм» стали использовать открыто, как название движения социальных реформ. Иеремия Бэнтам, адвокат, повел крестовый поход за правовые реформы, особенно в области уголовного права. Его задачей стало устранение чрезмерно строгих наказаний, которые были нормой в английском праве (как и в большинстве других государств) его времени. Повешение как наказание бедняку за то, что украл хлеб, калечение как, например, отрезание ушей нарушителям закона, заключение в тюрьму за невыплату долгов. Бэнтам считал, что все эти формы наказания иррациональны. Пока человек находился в долговой тюрьме, например, он не мог делать никакой полезной работы, чтобы выплатить свой долг и создавать какие-то блага для общества. Не должно быть никакого наказания за действия, которые не наносят никому вреда, как, например, табуирование сексуального поведения. За преступления, подобные краже, которые наносят ущерб жертве, наказание не должно превосходить то, что необходимо для устрашения потенциальных преступников, и не должно навлекать бессмысленных страданий.

Бэнтам пытался заменить такие практики кодом закона на основе подсчета наград и наказаний. Общая цель — поощрять добро и устранять зло. Для этого необходимо найти правильное сочетание санкций и поощрений, которые бы дали наилучший результат. Этот расчет был применен к индивидам, а затем обобщен для всего общества. Критерием стало «наибольшее благо для как можно большего количества людей». Утилитаризм основан на рассмотрении рациональных акций индивидов, которые построены на индивидуальном интересе. Но важно отметить, что утилитаризм не начинается и не заканчивается эгоистическим индивидом. Он пытается балансировать интересы всех индивидов в группе. И в этом не обязательно усматривать противоречие. Бэнтама легче понять на фоне установившейся традиции, утверждающей, что индивиды способны к симпатии, способны поставить себя на место других людей и принять во внимание их наслаждения и страдания, как и свои собственные. В дополнение утилитаризм Бэнтама опирался на популярность экономики Смита, которая показывала, что эгоистические интересы индивидов можно примирить для общего блага. В результате Бэнтам искал эквивалент рыночной «невидимой ру-

ки», и ему казалось, что она может быть найдена в лице рационального правового кода.

С 1800 до 1860-х годов утилитаризм был в авангарде либеральных реформ в Англии. Его защитники боролись за расширение политического франчайза и сокращение традиционных привилегий аристократии и Англиканской церкви, поддерживаемой государством. Джон Стюарт Милль, который был одновременно экономистом и утилитарным философом, выдвинул принцип неограниченной свободы слова и защищал права женщин. Тем не менее к концу столетия утилитаризм сошел со сцены. Тому было несколько причин. Отчасти это произошло потому, что он не выдержал собственного успеха. Многие политические и правовые реформы, за которые он боролся, были достигнуты, и новые социальные вопросы, которые возникли, особенно с подъемом трудового движения, шли против традиции экономики *laissez-faire* и социальной гармонии. Старое движение реформ раскололось на то, что называется Либерализмом с большой буквы – защитников индивидуализма и открытого рынка – и либералов с маленькой буквы – тех, кто выступал за коллективное действие и регуляцию правительства.

Другой причиной упадка утилитаризма было то, что ее дитя, дисциплина экономика, выросла и выехала из отчего дома. Как я говорил в прологе этой книги, экономика как академическая дисциплина была прочно утверждена в 1870-е годы. При этом она стала переходить на все более специальный технический язык, который предоставляла математика. Предельная полезность, техническая концепция, которая поддается формализации в дифференциальной высшей математике, заменила трудовую теорию стоимости, которая использовалась экономистами до Милля. Экономика обособилась от концепций здравого смысла, которые сделали утилитаризм доступным широкой публике. Таким образом, исчез один из главных столпов популярности утилитаризма. Примерно в это же время социология отделилась от экономики и тоже стала академической дисциплиной. Некоторые из первых социологов, такие как Герберт Спенсер в Англии и Уильям Грэхам Самнер в США, отдавали предпочтение старомодному Либерализму *laissez-faire*. Но более типичным для социологов был либерализм с маленькой буквы или даже умеренный социализм. Такие социологи, как Эмиль Дюркгейм, стремились к коллективной реформе, которая бы предотвращала социальные конфликты и аномический индивидуализм, которые казались ему основными чертами индустриального капитализма. Дюркгейм за-

ложил свои принципы социологии в контексте полемики с утилитаристскими утверждениями, что индивид предшествует обществу, и пытался показать, что моральные связи среди людей более фундаментальны, чем обмена на рынке. Мы пока оставим эту тему в стороне, так как она будет предметом специального обсуждения в третьей главе этой книги.

От утилитаризма осталась только концепция в философии этики, которая отождествляла добро с удовольствием, а зло — со страданием. Эта концепция была раскритикована и отвергнута такими философами, как Брэдли и Мур. Они утверждали, что удовольствие — это вовсе не то, что имеется в виду, когда мы называем нечто добром. Добро — это цель сама по себе, и она является благом вне зависимости от того, желает его кто-то или нет. Иначе как можно было бы говорить о желаниях, которые дурны, или называть добром нечто, что вызывает боль? Утилитаристы ответили бы на это, что нечто, приносящее страдания, является добром, только если оно выступает частью целого, в котором удовольствия перевешивают страдания. Не считаем ли мы высшей степенью добра ситуации, в которых кто-то приносит себя в жертву ради кого-то другого или ради своего идеала, скажем, ради правды, и не стоит при этом за ценой? Религия и искусство не потому хороши, что они приносят удовольствие. Они хороши сами по себе, и если кто-то говорит, что они хороши только из-за приносимого удовольствия, можно быть уверенным, что этот человек по-настоящему не ценит религию и искусство.

Эта критика утилитарной этики была разрушительной. Этические философы отказались от попыток рассчитать индивидуальные удовольствия и страдания и сосредоточились на экспликации использования этических концепций и выражениях языка этики. С точки зрения философов, утилитаризм был иллюстрацией ошибки попытки выведения «долженствования» из «существования», «должен» из «есть». К 1930-м годам логические позитивисты утверждали, что этические концепции лишены смысла, поскольку они не могут быть верифицированы эмпирическими свидетельствами. Утверждение о том, что нечто хорошо или плохо — это неявный императив, форма высказывания «Сделай это!» или «Не делай того!» Такие утверждения носят не логический, а эмоциональный характер. Квалификация в категориях истины и лжи к ним относится не более, чем, скажем, к междометию «Ох!»

Мы далеко отстоим во времени от реформаторов в духе Локка или Бэнтама, которые считали, что мораль должна базироваться

на интересах индивидов и что такой подход даст нам критерий для критики и исправления социальных несправедливостей. Утилитарист старого образца не принял бы аргумент, что религия хороша сама по себе. С точки зрения Юма и Милля, религия не может быть хорошей, если она подавляет человека и не имеет основания в эмпирической реальности. Но теперь мыслители были убеждены, что нет способа подсчитать ценности, так как ценности существуют за пределами мира фактов, и не существует общего знаменателя, с помощью которого можно сравнивать различные ценности. Ценности представляют собой только предпосылки, с которых можно начинать. На идейном уровне XX век стал относиться к ценностям как к относительным величинам. Можно только верить и действовать на основании собственных ценностей. Конечно, политические схватки продолжались: за и против социализма и коммунизма, шла борьба с фашизмом, антисемитизмом и расизмом, борьба за гражданские свободы и одновременно за права женщин. Но утилитаризм больше не принимал участия в этих дискуссиях. Место утилитаристов заняли другие социальные философии, которые размышляли о правах групп, а не об удовольствиях индивидов и считали, что некоторые принципы хороши сами по себе. К этому времени утилитаризм был мертв. Сейчас нам предстоит узнать, как и почему он снова возродился к жизни.

ИНДИВИД ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Мы пропускаем период до 1950-х годов. Первый набросок утилитарной теории начинает кристаллизоваться в социологии, но корни и интересы этой теории отличаются от установок утилитарных философов старого образца и их экономических ориентиров. Фактически социология никогда не была связана с утилитаризмом, по крайней мере, с самого начала, пока она еще не выделилась в отдельную дисциплину. Спенсер и Самнер в какой-то степени обращались к контрактам и рынкам, но ведущие теоретики социологии – Дюркгейм, Вебер, Мид, Парсонс – рассуждали совершенно в другой парадигме и часто начинали именно с того, что, как они считали, было упущено утилитаристами.

Однако в 1950-х годах Джордж Хоманс начал свою критику путей развития социологической теории. Его главной мишенью был структурный функционализм Талкотта Парсонса, который синтезировал основные идеи Дюркгейма с идеями Вебера. В теории Парсонса индивиды делают то, что требуется их ролями в обшир-

ной социальной системе. Критерии, на которые ориентируются индивиды, заданы культурой, и их мотивации создаются в процессе социализации. Некоторые индивиды могут отклоняться от этих ролей, но в этом случае такое поведение считается выходом за пределы нормы, и окружающее общество удерживает их в своих границах. Хоманс говорил, что такая социальная система является мифом, теоретической конструкцией, созданной воображением Парсонса. Индивиды — это живые и дышащие реальности социального мира, и все происходящее должно соотноситься с мотивациями конкретных людей.

Хоманс утверждал, что социология не должна зависеть от концепций, сформулированных для абстрактных социальных систем, которых никто никогда не видел, поскольку она уже накопила солидную основу для исследований человеческих взаимодействий. Исследователи пошли на фабрику и обнаружили, что рабочие организованы в неформальные группы. Эти группы, а не приказания начальника, определяли, насколько хорошо они работали. Другие исследователи проводили время с городскими бандами в трущобах больших городов. Антропологи жили в племенных деревнях и наблюдали закономерности взаимодействий и избегания контактов. Изучая и синтезируя результаты этих исследований, Хоманс сформулировал ряд принципов реального поведения людей. Его самый важный принцип, известный как Закон Хоманса, состоит в том, что чем больше индивиды взаимодействуют друг с другом, тем больше они привязываются друг к другу, тем более сходным становится их поведение, и тем больше оно подпадает под общий стандарт. Другими словами, если собрать вместе группу людей и заставить их взаимодействовать, например, заниматься одной и той же работой в одном месте или жить в одной и той же деревне или на одной улице, то она станет согласованной группой. Они разовьют групповую культуру, которой не было до этого, и ее стандарты поведения закрепятся во взаимодействии людей. Рабочая группа на фабрике заставляет индивидов замедлять темп работы, чтобы поддержать общий ритм. Уличная банда заставляет своих членов защищать свою территорию. Закон Хоманса объясняет, как во взаимодействиях возникает феномен группового давления. Однако применение этого принципа сопряжено с важной оговоркой: процесс формирования группы происходит *только* при условии, если ее члены начинают на равных. Начальник, который спускается на фабрику для того, чтобы дать команду, не является равным. Фактически группа мирится с начальником только до не-

обходимого минимума и избегает взаимодействия с ним. Таким образом, Закон Хоманса работает только на одном и том же уровне власти и не относится к межуровневому взаимодействию внутри системы авторитетов.

Как можно объяснить происходящее здесь на более глубоком уровне? Хоманс полагал, что групповые процессы возникают в результате взаимных услуг. Причина, почему индивиды начинают любить друг друга и таким образом оказывать влияние друг на друга, вероятно, должна состоять в том, что они дают друг другу какое-то вознаграждение. Речь идет о фундаментальном вознаграждении социального одобрения. Группа существует благодаря обмену этими вознаграждениями. Лидер группы, самый популярный в ней человек, также является тем лицом, которое больше всего взаимодействует с другими людьми в группе. Он дает наибольшее количество вознаграждений другим и взамен получает престиж лидерства как дополнительное вознаграждение. Этот аргумент также объясняет, почему такой процесс не распространяется на тех, кто удерживает власть. Когда у одного человека есть власть давать приказы, взаимодействие с ним не дает никакого вознаграждения, и поэтому люди избегают интеракций с ним. Оба эти примера иллюстрируют один и тот же принцип: люди моделируют свои взаимодействия на основе того, где они получают наивысшее вознаграждение.

Легко заметить, что Хоманс не только повернул социологическую теорию назад к индивиду, но и акцентировал прежде всего те процессы, в результате которых индивиды совершали обмен друг с другом. Поэтому это направление мысли получило название «теории обмена». Движение в этом направлении может привести нас опять к экономическому способу анализа, так как обмен происходит на рынке. Однако такая связка возникает только через некоторое время, так как Хоманс акцентировал скорее индивидуальную мотивацию, чем рыночный обмен. Хоманс инициировал то, что позже будет названо «дебатами по вопросу о макро-микро», своим утверждением о том, что системы никогда ничего не делают, а делают только индивиды. Его тезис о том, что фундаментальные принципы социологии являются простыми аппликациями психологии, вызвал настоящий фурор. Его оппонентами были не только функционалисты в духе Парсонса, которые отстаивали более высокие уровни существования социальной системы, но также и многие другие социологи, которые считали, что психологические принципы вообще мало о чем нам говорят. Но даже если мы согласим-

ся с тем, что все социальные действия мотивированы вознаграждениями, нам, тем не менее, предстоит ответить на вопрос, почему вознаграждения распределяются среди людей определенным образом. Люди мотивированы вознаграждениями и в диктаторской иерархии, и в маленьких эгалитарных группах. Но откуда различия в этих социальных моделях? Как и во всех других формах социальной организации.

На следующей ступени теории обмена социологи оказались менее заинтересованы редукцией социологии к психологии и акцентировали внимание на социальных моделях обменов. Ведущую роль здесь играл Питер Блау. Блау показал, что обмены происходят в различных частях социального отношения. Что, например, происходит в разговоре, когда людей представляют друг другу. Обычно первый из них начинает с того, что представляет себя важным лицом, похваляясь своей работой, тем, кого он знает, местами, где он бывал. Блау представляет это как попытку поднять свою ценность на рынке бесед и дружб. Вы пытаетесь представить себя приятным собеседником. Позже этот человек пытается пригласить впечатление, делает самоуничижающие ремарки, показывая, что он обычный человек, с которым легко иметь дело. Это фаза приспособления в разговорной сделке: если ты поставишь себя слишком высоко, другой человек, может быть, не сможет дать запрашиваемую цену, и поэтому нужно спуститься на более низкий уровень для того, чтобы совершить сделку.

Этот тип социального взаимодействия — рынок для равных обменов. Что же происходит, если обмены неравные? Результатом будет или то, что два человека решат, что они не могут иметь дело друг с другом и не будут продолжать свои отношения. Или, если они решат продолжать отношения, в них будет доминировать один из них. Блау анализирует любовные отношения как относящиеся ко второй категории. Предположим, что один из участников любит другого больше. Кто будет управлять этим отношением? Им будет тот, кто любит меньше, так как этот человек будет готов порвать отношения, а тот, кто любит больше, будет готов на уступки, чтобы сохранить отношения. Это называется принципом «наименьшей заинтересованности». Эта идея высказывалась и другими: она была сформулирована романистами вроде Стендаля за столетие до Блау, а также социологами, которые изучали свидания и браки. Однако Блау использовал ее в контексте распрощанной модели объяснения социального поведения, в эксплицитной теории обмена.

Теоретики социологии обмена также анализировали феномен власти. Были организованы лабораторные эксперименты, в которых индивидам позволялось совершать обмены с определенными людьми в сети (это делалось за счет соединения их компьютеров, через которые они могли обмениваться и набирать в результате очки). Таким образом, были накоплены значительные знания о правилах ведения переговоров в процессе социального обмена: на какой уровень власти можно рассчитывать при определенном соотношении предложений двух участников переговоров и как на это могут повлиять альтернативные обмены, которые участник может совершить с другими людьми внутри той же сети. Эксперименты этого рода были отражены в несколько исследовательских программах, из которых наиболее примечательны «Элементарная теория» Дэвида Уиллера и теория сети обмена, разработанная Карен Кук.

Нужно заметить, что социологическая теория обмена, при всем своем сходстве с утилитарной теорией, стала развиваться в независимом направлении. Утилитарная теория особенно не интересовалась вопросами неравенства и власти, сосредотачиваясь на том, как возможно достичь наивысшего блага для наибольшего количества людей. Социология, напротив, считала наиболее интересным вопросом вопрос об истоках неравенства и власти. Это не означает, однако, что теория обмена дает полную и совершенную теорию всех форм проявления власти. Наиболее типичный анализ обмена власти имеет в виду ситуацию, когда один индивид может предложить нечто, что очень нужно второй стороне. И если второй участник не может дать ему взамен нечто равноценное, то их отношения можно сохранить, только уступая власть тому, кто обладает наибольшими ресурсами. В одном из своих известных исследований Блау показывает, что путь к неформальному лидерству в группе достигается тем, что человек является экспертом, дающим советы новичкам. Лидер получает власть взамен своей экспертизы.

Довольно странно, что до сих пор теория обмена занималась только безобидной технократической моделью власти. В отличие от экономистов социологи, практикующие теорию обмена, не любят упоминать деньги. Они предпочитают говорить о том, что босс на фабрике наделен властью над рабочими, так как его уровень экспертизы выше, хотя честнее было бы сказать, что он наделен властью потому, что он располагает деньгами для оплаты рабочих. Кроме того, следует обратить внимание на то, что теория обмена уделя-

ет практически все внимание только вознаграждающим аспектами обмена. Очень мало исследований было проведено относительно насильственных источников власти, власти, обязанной победоносной силе армии или связанной с приходом к власти революционного движения в результате вооруженного мятежа. Это не означает, однако, что такого рода насильственные ситуации не могут быть проанализированы в контексте модели рациональных индивидов, которые торгуются по поводу своих интересов. Экономист Томас Шеллинг проанализировал насильственные ситуации как игру координации, в которой опасно остаться вне доминирующей коалиции. Индивид сможет сопротивляться насилию, если он способен сформировать крупную альтернативную коалицию. Этот анализ приводит нас к теории так называемого эффекта вагона, или последней капли, когда периоды насильственной стабильности перемежаются внезапными взрывами и переходами лояльности к противоположной стороне. Другое применение экономической теории к насильственной власти, которое мы обсудим ниже, — теория защитной ренты.

В истории рациональной/утилитарной традиции множество раз дается один и тот же урок: наши объяснения должны сосредоточиться не только на поисках индивидами своей выгоды, но и на структурной ситуации, в которой индивиды торгуются друг с другом. Рынки представляют собой только одну из разновидностей ситуации обмена. К этой же категории относятся более ограниченные сети, представленные в лабораторных социологических экспериментах, в которых возможны только некоторые потенциальные звенья обмена. Совсем другой тип структуры социальных сделок возникает, когда власть навязывается насильственным путем. Можно сказать, что важную часть задачи построения теории рационального действия составляют разработки схем различных структурных ситуаций, а также типов сделок, которые для них характерны.

Социологическая теория обмена породила разделы, которые развивались в различных направлениях. Мы обратили внимание на то, как одно из этих направлений концентрировалось на анализе власти в процессе ее возникновения из позитивных обменов. Другое направление, которым мы займемся позже в следующих главах, занималось поиском рынков в различных социальных феноменах. Третье направление исследовало теории равенства и социальной справедливости. Последнее возникает из наблюдений Хоманса и Блау по поводу социального обмена. Обмены осуществляются со-

гласно лежащему в их основе принципу. Если один человек дает нечто другому, то он должен дать ему взамен нечто равноценное. Хоманс делает принцип взаимности частью своей фундаментальной системы объяснения. Люди выказывают недовольство, если взаимность не соблюдается, и чувствуют, что к ним отнеслись несправедливо, если они не получили взамен чего-то равноценного. Эта идея дала импульс для развития целого нового направления исследований: как люди воспринимают социальную справедливость, в чем они видят справедливость отдельных обменов и как они реагируют на нарушения этого принципа.

Примечательно, что это направление дискуссии выводит теорию обмена на мета-уровень, то есть ведет речь уже не об обмене самом по себе, а о фундаментальных правилах, которые им управляют. Но как устанавливается лежащий в основе принцип? Возникает ли он сам в процессе самого обмена? Блау пытался показать, что принципы справедливого обмена возникают в процессе длительных повторяющихся обменов, признавая в то же время, что принцип взаимности должен был существовать изначально и что с него должен был начаться этот процесс. Ирония состоит в том, что теория обмена, которая началась с критики Хомансом парсоновского нормативного подхода к социальному порядку, сама вынуждена была вернуться к тому же самому нормативному принципу для того, чтобы понять механизм работы системы обмена.

СОЦИОЛОГИЯ ОТКРЫВАЕТ СЕКСУАЛЬНЫЙ И БРАЧНЫЙ РЫНКИ

Вероятно, главным элементом теории обмена, которая привела к росту популярности рационального и экономического подходов к социальным феноменам, была тенденция к поиску множества социальных рынков. Экономисты занялись социологическими темами довольно поздно. Социологи же находили в обществе системы, близкие рынку, довольно давно. Но как мы увидим, на этих социальных рынках социологи обращали внимание на несколько другие явления.

Одно из самых ранних открытий было сделано социологом Уиллардом Уаллером в 1930-х годах. Проводя свое исследование в старших классах школы, он обратил внимание на процесс, названный им «синдромом ранжирования и свиданий». Он обнаружил, что подростки посвящали большую часть своего времени разговорам о том, кто с кем встречается, и о сложном процессе приглашений

на вечеринки, танцы и свидания. У популярных девочек было много приглашений, популярные мальчики тоже могли рассчитывать на то, что любая девушка примет их приглашение. Менее популярные дети волновались, смогут ли они получить желанного партнера и удастся ли им обзавестись партнером вообще. Уаллер сравнивал эту ситуацию с рынком, в котором дети были стратифицированы по тем ресурсам (физическая привлекательность, личные данные, доступность средств на одежду и билеты, социальное происхождение), которые они могут использовать для привлечения партнеров. Но каждый вне зависимости от популярности и уровня должен был сделать стратегический выбор: у некоторых было много вариантов, и им нужно было исключить некоторые из них, у прочих не было большого выбора, и они просто пытались найти какого-то приемлемого партнера. Этот рынок свиданий, отмечает Уаллер, был предварительной версией брачного рынка, который в конце концов выливался в долгосрочные или постоянные обмены. Сам процесс, в результате которого мальчики и девочки узнавали, как они котировались в сравнении с другими партнерами, был своего рода системой сделок. Поэтому это был один из самых эмоционально напряженных периодов в их жизни.

Позже социологи адаптировали идею брачного рынка и использовали ее для объяснения того, почему у людей есть тенденция жениться или выходить замуж за человека своего социального класса (а также сходного уровня образования, этнической группы и т.д.). Это происходит и в современных индивидуалистических обществах, в которых родители больше не принимают участия в выборе партнеров для своих детей и организации их брака. Тем не менее распределение социальных ресурсов, включая классовое происхождение и этнический или расовый престиж, выливается в классовую эндогамию. Здесь мы видим «невидимую руку» рынка, которая пытается воспроизвести стратифицированное общество.

Другая версия теории обмена была предвосхищена социологами семьи и брака. Еще до того, как Блау сформулировал свой принцип власти, который является результатом обмена неравными ресурсами, специалисты по социологии находили подтверждения тому, что баланс власти между мужьями и женами зависел от соотношения их денежных средств. У домохозяйек и женщин без собственного дохода было меньше власти относительно мужа. Доля власти женщины зависела от того, как ее доход соотносился с доходом ее мужа. В дополнение у женщин было меньше влияния при наличии большего количества детей, поскольку это понижало ее шансы на неза-

висимые ресурсы вне дома. Хотя эта теория домашней власти развивалась до женского движения 1970-х годов, она применима и к последующим периодам. Так как степень власти женщины зависит от состояния ее карьеры в сравнении с карьерой ее мужа, феминистское движение должно было мобилизовывать женщин на поиски своей карьеры.

Некоторые социологи, связанные с феминистским движением, критиковали теорию обмена как враждебную женщинам. Они говорили, что обмен является дегуманизирующей формой обсуждения человеческих отношений, что женщина не должна рассматриваться как экономическая собственность и что вся ментальность холодного рационального расчета является выражением мужского подхода и не применима к женскому пониманию этих явлений. Теоретик обмена ответил бы на это, что теория обмена дает только точку отсчета для анализа того, что происходит в отношениях мужчин и женщин. Она не отдает предпочтения ни одной из сторон, но только показывает, что произойдет, если ресурсы распределены определенным образом. Теория обмена не предполагает, что в браке всегда будет господствовать мужчина или что процесс поисков партнера для любви и секса неизбежно инициируется мужчинами. Эта теория только говорит, что власть является результатом неравных ресурсов обмена и что каждая сторона определяет свой собственный путь переговоров в зависимости от своих ресурсов. Теория обмена ясно предсказывает, что тот, у кого больше экономических ресурсов, сможет доминировать на брачном рынке и у него будет больше влияния в доме. Когда эти ресурсы были у мужчин, они доминировали. Соответственно те женщины, которые приобрели большие экономические ресурсы, сегодня приобретают более высокий уровень влияния, выходя замуж.

Изменения в женских моделях карьеры также оказывали влияние на то, как ведутся сексуальные переговоры. Уаллеровское представление «комплекса ранкирования и свиданий» 1930–1940-х годов может показаться устаревшим к периоду 1980–1990-х годов. Тогда мальчики приглашали девочек в кино (и платили за билеты), и такое положение вещей было связано с тем, что у мужчин были лучшие возможности зарабатывания денег. Сегодня переговоры носят более эгалитарный и романтический характер, так как молодые люди обоих полов ожидают одних и тех же типов карьеры, и потому равная инициатива исходит с обеих сторон. Смена моделей торговли ресурсами вызывала изменения в отношениях к сексу. В начале XX века сексуальное поведение рассматривалось как

чисто мужская сфера. Мужчины разговаривали друг с другом о сексе, хвастали своими сексуальными победами и захаживали к проституткам (или к любовницам в случае богатых людей). Респектабельные женщины избегали открытых разговоров о сексе и придерживались принципа (по крайней мере, на публике), что секс должен подождать до брака. Различия между мужчинами и женщинами в сексуальном поведении фактически не были так велики, как предписывала принятая идеология. Исследования сексуальной активности показывают, что определенная пропорция женщин занималась сексом до брака, хотя и реже чем мужчины и с гораздо меньшим количеством партнеров. С точки зрения теории обмена, женщины охраняли сексуальность как ресурс, который они использовали для брачных переговоров. Так как мужчины контролировали большинство других ресурсов, особенно более высокие должности и большую часть богатства, женщины превратили сексуальную умеренность в компенсирующий ресурс контроля над мужчинами.

В этой перспективе освобождение сексуальные нравов начиная с 1960-х годов было связано с тем, что в руках женщин оказалось больше ресурсов в экономической области и в сфере занятости. Обсуждение секса на публике перестало быть табу. Секс до брака стал гораздо более распространенным и даже открыто принятым явлением. Модели сексуального поведения мужчин и женщин стали сходными, но не идентичными, но теория обмена делает ясное предсказание по этому поводу: когда позиция мужчин и женщин в сфере богатства и занятости становится равной, можно ожидать, что их сексуальное поведение тоже будет сходным. Тот факт, что мужчины и женщины статистически еще не достигли экономического равенства, соответствует отличиям в их сексуальном поведении. Если разбить данные на подгруппы, то мы увидим, что женщины, работа которых обеспечивает их сопоставимыми с мужчинами ресурсами, также руководствуются моделями поведения, сходными с мужскими. Если женщины остаются в положении ограниченной экономической власти, — особенно это относится к женщинам в традиционной роли домохозяйек, — то у них остается тенденция к более традиционному сексуальному поведению.

Некоторые критики отвергли теорию обмена как представляющую мужскую точку зрения. Тем не менее эта теория довольно успешно объясняет различия между мужской и женской точками зрения, которые характерны для специфических периодов истории. Примечательно, что теория обмена не постулирует наличия

у групп людей культуры, которая исторически независима от социальных обстоятельств. Напротив, она показывает, как эти культуры возникают из различных ситуаций обмена, которые существуют в различные периоды времени. Теория предсказывает, что с изменением структур обмена, соответственно, будет меняться и культура. Теория обмена не принимает ни биологических, ни культурных абсолютов. Возьмем недавний период истории, когда мужчины владели большинством экономических ресурсов на брачном рынке. Будет ли мужчина при такой ситуации особенно расчетлив в своем выборе? Арли Хохшилд утверждает, что скорее наоборот: мужчина, располагающий экономическими ресурсами, не должен искать жену с деньгами. Этот мужчина должен следовать своим эмоциям и влюбляться на основе личных качеств и физической привлекательности. Хохшилд подчеркивает, что существуют свидетельства большей эмоциональности мужчины в сфере любовных отношений. Мужчины влюбляются обычно раньше женщин и не перестают любить даже после того, как женщины-партнеры их разлюбили. С другой стороны, для женщин брак остается гораздо более серьезным предприятием, чем для мужчин, так как все их экономическое будущее и специфическая классовая позиция зависят от него.

Хохшилд называет женщин «экспертами в сфере любви»: они говорят о своих любовных отношениях и потенциальных партнерах гораздо больше, чем мужчины. Но их разговоры о любви не плещутся пассивно на волнах сантиментов. Они подчинены рациональным усилиям удерживать эмоции под контролем для принятия решения о том, какой из мужчин, с их точки зрения, будет хорошим партнером. Хохшилд утверждает поэтому, что репутация женщин как существ более эмоциональных весьма неточно характеризует реальную ситуацию. Женщины больше говорят о своих эмоциях, нежели мужчины, и больше выражают эмоции, но это происходит только потому, что у женщин были социальные стимулы для формирования своих эмоций и для рационального управления ими. Мужчины, напротив, движимы своими эмоциями, особенно в сфере любви, гордости и гнева. Пока мужчины сохраняют социальную доминантность, у них остается меньше стимулов для рефлексивного контроля над своими эмоциями. Само по себе наличие эмоций ни рационально, ни иррационально. К сфере рационального относится тот способ, которым люди живут с теми эмоциями, которые у них есть. Женская и мужская культуры эмоций формируются конкретными наборами ресурсов, особенно в сфере сексуальных сде-

лок и брачного рынка определенного периода в истории. Теория обмена предсказывает, что если соотношение рыночных ресурсов изменится в будущем, то изменятся и наши представления о мужской и женской культурах.

**ТРИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ РЫНКОВ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ,
РАСКОЛОТЫЕ РЫНКИ ТРУДА, НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ**

Необходимо заметить, что та форма, в которой социологи развили свои теории рынка, значительно отличается от его экономических моделей. Экономисты разработали математический аппарат, который сосредоточен на цене товаров в отношении друг к другу и на количестве продуктов, которое будет произведено. На другом уровне макроэкономической теории они пытаются объяснить деловой цикл и долгосрочный рост экономической системы. Социологические теории рынка, с другой стороны, обычно не занимались ценами, производством, равновесием и экономическим ростом. Когда Блау анализировал власть, которую приобретает лидер рабочей группы в роли советчика, он не анализирует цену совета в целом во всем обществе. Такой цены не существует, ибо каждая цена, которая принята с точки зрения власти и уважения в рабочей группе, — это специфическая локальная сделка. В целом экономическая теория не занимается вопросами власти: она сосредоточена на крупных переменах спроса и предложения на рынке, которые уничтожают местные различия и делают феномен власти невозможным. В этом смысле модели экономистов и социологов находятся на противоположных концах континуума. Таким же образом уаллеровский анализ поисков подходящего партнера на сексуальном и брачном рынках делает то, что недоступно экономистам: он объясняет, *кто* будет меняться с *кем*, а не общий результат, который будет вытекать из суммы всех обменов. На самом деле трудно даже представить себе, что могло бы быть социальным эквивалентом общего равновесия цен браков или общего уровня продуктивности браков².

Можно сформулировать это различие и так: экономика занимается определенными количественными обобщениями того, что

² С экономической точки зрения брак не принадлежит к сфере производства. Это обмен, в котором нечто, что было произведено, обменивается на нечто другое.

производится для обмена, а социологические рыночные модели занимают моделями социальной структуры, которые конституируют сами обмены. Кроме того, если экономическая теория стремится к идеализированной картине эгалитарной системы обмена, социология фокусируется на неравенствах, которые создаются или поддерживаются обменами.

Кратко обрисуем три примера социальных рыночных систем, с которыми имели дело социологи.

В сегодняшнем обществе образование стало центральным элементом системы стратификации. Социально-классовая позиция определяется в значительной степени уровнем образования. Но здесь обнаруживается парадокс: доступ к образованию улучшился в XX веке, но от этого наше общество не становится более эгалитарным. В начале 1900-х годов образование на уровне старших классов школы получал очень небольшой процент населения. Сейчас большинство людей заканчивают старшие классы, и около половины населения идет в колледж. Аспирантура, профессиональная переподготовка, высшие ученые степени по администрированию бизнеса и т.д. стали настолько же распространены, как когда-то образование на уровне старших классов. Но разрыв между бедными и богатыми не становится меньше (на самом деле он даже расширился с 1970-х), и шансы подняться выше родителей по социальной лестнице вообще едва увеличились: темпы социальной мобильности находятся на том же скромном уровне, как и много лет назад.

Как же можно объяснить парадокс, связанный с тем, что система образования разрослась, в то время как степень стратификации в лучшем случае осталась на прежнем уровне? Социологическое объяснение этого феномена состоит в том, что образование подобно огромному рынку. Люди инвестируют свое время и усилия для получения образования для себя и своих детей. В результате такой инвестиции студенты ожидают награды в виде хорошей работы. Однако то, что «покупается» в результате учебы, это не сами рабочие позиции, а шансы получить работу. Как говорят некоторые социологи, человек получает культурный капитал или, в другой терминологии, образование дает кредит доверия.

Ценность образовательной культуры подобна ценности денег. Чем больше денег находится в циркуляции, тем меньше можно купить с той же самой суммой денег, так как увеличение притока денег поднимает цены. В 1920-х годах диплом высшей школы был ценен, потому что он был только у небольшого процента населения – в то время с ним можно было «купить» хорошую менеджерскую работу.

К 1960-м годам дипломом высшей школы располагали столь многие, что с ним можно было получить только рабочую или клерикальную работу низшего уровня. Из-за инфляции образовательной валюты его ценность упала. То же самое недавно случилось и со степенями колледжей. Когда половина молодых людей на рынке обладает степенью, она уже не так ценится на рабочем рынке. Студенты, которые хотят преуспеть, вынуждены идти в колледж на более длительные сроки для получения ученых степеней и профессиональных специализаций. Можно предсказать, что и на более высоком уровне этот процесс будет повторяться. Если в будущем у каждого будет степень доктора, юриста, магистра администрации бизнеса и т.п., то эти степени будут цениться не более, чем работы в сфере обслуживания в ресторанах быстрого питания, и соревнование охватит высшие степени.

Перед нами рыночная теория, которая объясняет, почему стратификация продолжает существовать, даже когда социальные институты расширяются, что, с точки зрения общепринятых культурных идеалов и идеологий, должно вести к сокращению неравенства. Нужно заметить, что здесь социологи вновь используют рыночную модель иначе, чем это делается конвенциональными экономистами. Для экономистов рынок — это идеальная система соревнования, которая ведет к наилучшему исходу для всех. Такова была идея изначальной утилитарной программы, которая вела к первоначальному развитию экономики. Однако, социологи выбрали иные импликации рыночного анализа: такую модификацию этой теории, которая позволила им объяснить, как создаются и как воспроизводятся неравенство и стратификация.

Наиболее существенным положением, вытекающим из классической рыночной экономики, является идея о том, что при наличии совершенной конкуренции неравенства не должно быть. Никто не может получить доход в длительной перспективе (экономист бы сказал — равновесия), так как, если один продавец берет высокую цену за товар, который он продает, то кто-то другой обязательно обратит внимание на эту возможность заработка и придет на этот рынок в качестве конкурента. Это относится в равной степени к рынку труда и к рынку товаров. Если какие-то виды работ дают более высокий доход по сравнению с прочими, то люди оставят виды занятости с меньшей оплатой и пойдут на более высокую зарплату. В конце концов в результате перемещения людей от одной высокооплачиваемой работы к другой все будет стремиться к точке, где каждый вид деятельности оплачивается одинаково.

Это настолько отличается от привычной нам реальности, что мы должны сделать над собой усилие, чтобы избавиться от обыденных предубеждений. Правильно ли, что доктора зарабатывают гораздо больше, чем уборщики мусора? Если бы не было барьеров, препятствующих переходу из одной профессии в другую — и это главный момент теории, — то больше людей устремилось бы в медицинскую профессию, и в результате ее перенасыщения доход врачей опустился бы до среднего уровня. Если бы огромное количество людей вдруг стало докторами и их число значительно бы превзошло потребность в их услугах, то в среднем доктора зарабатывали бы гораздо меньше денег, чем другие люди. В нашем обществе этого не происходит потому, что существуют жесткие барьеры для вхождения в эту профессию. Медицинская профессия организована таким образом, что для большинства людей очень сложно туда проникнуть, и сами барьеры (что включает в себя также инфляцию в медицинском образовании) становятся тем выше, чем больше людей пытаются туда попасть. В мире без таких барьеров в сферах занятости везде будут господствовать конкурентные трудовые рынки, и каждый, имеющий более высокий доход, скоро оказался бы осажденным конкурентами, которые бы опустили его уровень дохода до нормального уровня³. В таком обществе единственными типами работы с наивысшим уровнем дохода будут те, которые не особенно привлекательны с точки зрения своих условий и уровня престижа. В этих видах деятельности будет избыток поставщиков, и поэтому заработки в них упадут. Наименее привлекательные профессии будут платить больше для привлечения людей к такой работе. В мире открытых и конкурентных рынков занятости уборщики мусора окажутся среди наиболее высокооплачиваемых профессий.

³ Иногда говорят, что высокооплачиваемые профессии требуют особых талантов, поэтому относительно мало людей могут в них войти. Это возражение бьет мимо цели: нет необходимости в том, чтобы каждый в мире мог стать врачом, но только определенное количество людей, у которых есть к этому талант, было значительно большим, чем количество докторов, которых достаточно, чтобы удовлетворить спрос на медицинское обслуживание. Если потенциальное предложение докторов значительно превосходит спрос, то в отсутствие барьеров для входа в профессию было бы возможно сокращение дохода докторов в результате соревнования. Сходным образом в отсутствие врачебной монополии на прописывание антибиотиков и прочих лекарств на основе государственной лицензии конкуренция цен также снизила бы стоимость этих лекарств, как и потребность во врачебном обслуживании.

Все это кажется парадоксальным и далеким от того, как реально построен мир. Но мы сможем непосредственно использовать эту теорию рынка, если поймем ее решающий момент: именно барьеры удерживают людей различных специальностей от соревнования за одни и те же виды работ. Неравенство существует из-за барьеров. Если по-настоящему открытый рынок означает равенство, то закрытый рынок, разделенный барьерами занятости, является источником неравенства.

Одной из наиболее влиятельных теорий, разработанных в этой парадигме, является теория разделенного трудового рынка. Разделенный рынок труда существует там, где некоторые работы характеризуются неблагоприятными условиями: многочасовым рабочим днем, отсутствием безопасности рабочего места и прежде всего неадекватной оплатой труда. В то же время другие работы сопряжены с хорошими и безопасными условиями труда, удобными часами и особой оплатой за сверхурочные, стабильностью, защищаемой профсоюзами, и гарантиями занятости (*tenure*). Эти виды работ, как правило, хорошо оплачиваются. Почему все преимущества сосредоточены в одном секторе, а все недостатки — в другом? Первый тип работ широко открыт для конкуренции: отсутствие профсоюзов и профессиональных ассоциаций в этом секторе означает, что доступ в эту область прост и дополнительные трудовые ресурсы легко проникают в нее и соревнуются с занятыми в ней, позволяя работодателям платить низкие зарплаты и сохранять негодные рабочие условия. К этому сектору относятся работы в маленьких рестораниках, в круглосуточных небольших магазинах, в такси, в сфере домохозяйства и услуги. В другом секторе, например, на мануфактурных предприятиях работы обычно бюрократизированы, курируются профсоюзом и защищены особыми правилами. Этот сектор иногда называют монопольным сектором экономики (строго говоря, это сектор олигополизма, где несколько крупных фирм контролируют большую часть бизнеса). Здесь работодатели достаточно защищены и потому могут позволить себе рабочих, у которых тоже есть работа с протекцией, предоставляемой профсоюзами и профессиональными ассоциациями. Таким образом, с одной стороны, мы видим мелкие конкурентные бизнесы с низким уровнем прибыли и с работниками, которым платят минимальную заработную плату. С другой стороны, крупные хорошо финансируемые и хорошо организованные предприятия с безопасными рыночными позициями, работники которых надежно защищены и относительно неплохо зарабатывают.

Почему находятся рабочие, готовые работать в низкооплачиваемом конкурентном секторе экономики разделенного рынка труда? Эдна Боначич подчеркивает, что демаркационной линией здесь часто служат этнические критерии. В современных Соединенных Штатах низкооплачиваемый конкурентный сектор — это сфера, где обычно работают черные, латиноамериканцы и в последние годы все больше выходцы с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии. Высокооплачиваемые и защищенные позиции на рынке труда заполнены главным образом белыми выходцами из Европы. Можно сказать, что это связано с расовой дискриминацией, но остается вопрос, с чего началась эта дискриминация. Теория Боначич состоит в том, что этническое население приобретает свою социальную идентичность в результате миграции. Некоторые мигранты прибывают со своей родины, где экономический уровень часто гораздо ниже, чем в обществе, в которое они приезжают. Это означает, что люди, приезжающие из бедных стран, готовы принять относительно более низкие заработки по сравнению с теми, кто привык к более высоким жизненным стандартам. Для того, кто вырос в богатой индустриальной стране, малооплачиваемая работа в круглосуточном магазинчике будет означать значительное снижение жизненных стандартов, но для человека, приехавшего из бедной страны третьего мира, она будет означать улучшение этих стандартов. Поэтому исторически модель занятости на самых низкооплачиваемых типах работ в расколотом рынке труда относилась к различным этническим группам. В начале XX века это были недавние иммигранты из Италии и Восточной Европы, где жизненные стандарты были гораздо ниже, чем в Соединенных Штатах. Поэтому они были готовы работать на самых грязных и хуже всего оплачиваемых работах.

Теория расколотого рынка труда Боначич является одновременно теорией этнического антагонизма. Рабочие, которые готовы принять низкую оплату и плохие рабочие условия, кажутся угрозой для тех рабочих, которые требуют более высоких жизненных стандартов и которые, возможно, участвовали в профсоюзном движении для получения контроля над рынком труда. Боначич считает, что этническая дискриминация отнюдь не сводится к цвету кожи и речи с другим акцентом. Это экономический конфликт по поводу уровня зарплаты на рабочем рынке. Расколотый рынок труда начинается с различий в экономических требованиях между различными группами; он также фиксирует этнические различия, так как раскол между двумя рынками труда закрепляет этнические иденти-

фикации по обе стороны демаркационной линии. Можно сказать, что дискриминируемые группы — это те, кто изначально были готовы принять низкооплачиваемые и нежелательные работы. Они проникают в рабочий сектор, где их встречают враждебно, и это не дает им возможности отойти от этого сектора.

Теория, подобная теории расколотого рабочего рынка, кажется чуждой оптимистическому тону классических утилитарных мыслителей. Она ближе по духу теории конфликта, и фактически многие теоретики расколотого рынка отождествляют себя именно с этой традицией. Но в то же время переворачивание на голову оптимизма утилитарной традиции вполне совпадает с тенденциями рационального и ориентированного на рынок анализа в социологии последних десятилетий. Вместо восхваления добродетелей открытого рынка этот анализ сосредоточен на демонстрации того, как возникает социальное неравенство и как оно сохраняется благодаря тем барьерам, которые не позволяют социальным группам участвовать в полноценной рыночной конкуренции.

Третьим примером нежелательных социальных условий, которые возникают из искаженного рынка, выступает область преступлений. Это теория рынков нелегальных товаров и услуг. Посмотрим, где возникает организованная преступность. Когда в период сухого закона в Соединенных Штатах употребление алкоголя был нелегальным, возникли криминальные организации, которые контролировали его распределение. Такого же рода криминальные синдикаты возникают там, где противозаконны азартные игры. В последние годы мы видим то же самое: война с наркотиками, распространение героина и других наркотиков стало контролироваться крупными бандами, которые широко применяют в своей деятельности насилие. Во всех этих случаях уровень поддержания запретительных законов шел в ногу с ростом уровня крупной преступной деятельности и насилия.

Как это можно объяснить? Представители общественных наук, используя экономические концепции, показали, что, как и для всех прочих товаров, цена запрещенных товаров определяется законом спроса и предложения. Строгость закона создает трудности со стороны предложения, в то время как спрос остается достаточно неэластичным⁴. С падением предложения цена нелегального товара

⁴ Это товары, к которым можно пристраститься, и люди будут продолжать их потреблять даже в случае значительного возрастания их цены. Поэтому такие товары, когда они являются легальными, обычно облагаются особым «нало-

поднимается. Происходит подъем цен на наркотики или алкоголь, которые могли бы быть достаточно дешевыми на открытом конкурентном рынке. У этого явления может быть несколько дальнейших последствий. Одно из них состоит в том, что продавцы запрещенных товаров добиваются больших прибылей, если они остаются безнаказанными. Но это приводит в свою очередь к притоку новых продавцов на рынок; даже если некоторых из них арестовывают и сажают в тюрьму, то это только освобождает место для других. Существует своего рода скрытый симбиоз между поддержанием законности и уровнем доходности запрещенного бизнеса. В отсутствие системы поддержания закона рынок был бы открытым, что приводило бы к притоку конкурентов и, соответственно, к снижению цен и падению уровня дохода. Таким образом, хотя исполнение закона и составляет опасность для индивидуальных наркодельцов и контрабандистов алкоголя, именно закон представляет собой ту структурную силу, которая пытается ограничить соревнование и удостоверяет высокий уровень дохода.

Та же самая модель объясняет тот факт, что криминальные организации, которые занимаются запрещенными товарами, обычно не чуждаются насилия. На 1920-е годы пришелся пик уровня убийств в среде контрабандистов спиртного и постепенный подъем мафиозных структур. Убийства были связаны главным образом с борьбой конкурирующих банд за установление контроля над территорией. Другими словами, это была борьба за установление монополии. То же самое происходит и в сегодняшнем мире, где насилие распространено в среде конкурирующих банд, пытающихся контролировать наркобизнес. В сфере обычного легального бизнеса использование силы одним из бизнесов для вытеснения конкурентов с рынка маловероятно. Например, сеть кафе быстрого питания не будет предпринимать попыток взорвать динамитом другую сеть. Это происходит потому, что легальные бизнесы защищены и контролируются государством: они могут обратиться в полицию или в суд в по-

гом греха», например, налоги на табачные изделия и алкоголь. Можно добавить, что все эти нелегальные товары — алкоголь в 1920-х годах, азартные игры во все времена, наркотики, начиная с 1960-х годов — ассоциировались в субкультурах своих потребителей с восторгом, бегством от рутины, бунтом против господства обыденного общества. Таким образом, строгое поддержание закона вовсе не обязательно приведет к падению спроса, а скорее к росту привлекательности запрещенных товаров, обостряя ощущение восторга и бунта.

исках защиты. Но запрещенный бизнес по самой своей природе не может иметь прав собственности, защищенных правительством. Криминальные банды возникают как своего рода нелегальное правительство. Конечно, нелегальные бандитские образования также занимаются прямым разбоем: в наркобизнесе вооруженные грабители часто узнают, где происходит сделка или где хранятся наркотики, и совершают нападение. Неконтролируемое условие запрещенного бизнеса — доступность для всех.

Крупные банды, которые начинают свою деятельность как свободные грабители, в какой-то момент вводят правила в запрещенный бизнес. Контролируя территорию, они создают возможность для поставщиков и дилеров действовать достаточно рутинным образом. Конечно, они платят за это: банда или захватывает бизнес, или взимает часть дохода за свою крышу. (В прошлом то же самое происходило и в других нелегальных бизнесах, например, в сфере азартных игр, которые постепенно попали под контроль мафии, требовавшей мзды за свое покровительство.) Организованная преступность предоставляет то, что экономически ориентированные теоретики называли «защитной арендой», концепцию, которую мы разберем ниже, когда подойдем к анализу рациональной теории государства. Насилие бандитов таким образом — это не просто иррациональный или эмоциональный феномен: оно прямо вытекает из рациональных интересов, связанных с установлением и протекцией рынка запрещенных товаров.

Другое следствие этого ограниченного рынка связано с самим потребителем запрещенных товаров. С ростом цен потребитель вынужден платить больше. Так как потребитель не может жить без товара, он не столько пытается сократить его потребление, сколько добыть достаточно средств для его приобретения. В результате возникает так называемое «вторичное отклонение»: чтобы добыть деньги на наркотики, наркоманы совершают новые преступления, скажем, кражи со взломом или грабежи. Дороговизна запрещенных товаров толкает преступников на совершение насильственных преступных действий, таким образом устанавливает обратную связь между потреблением наркотиков и преступлениями и усиливает стремление общества подавить потребление наркотиков. Это цикл, тяготеющий к самовоспроизведению: попытки устранить проблему только делают ее еще более острой.

Во всех трех этих случаях — инфляции образования, расколото-го рынка труда и запрещенных товаров — рациональные интересы индивидов ведут к социальному неравенству и другим нежела-

тельными последствиям. Все это предполагает, что в рыночной модели общества есть нечто парадоксальное. Тот факт, что люди не видят последствий своих действий, указывает на слабость этой теории. Люди выступают против наркотиков, так же как они когда-то выступали против алкоголя, не понимая, как их действия усугубляют проблему, которую они пытаются решить. Они винят этнические меньшинства за уменьшение заработков и в ухудшении условий работы и презирают их за грязь и отсутствие цивилизованных стандартов, но не понимают как расколотый рынок труда, который на руку господствующему большинству, ответственен за сами эти различия. Как индивиды мы все пытаемся добиться наилучших возможностей для получения образования, но не замечаем, что в результате одна и та же работа требует от нас все более высокого уровня образования. Во всех этих случаях рациональные действия на уровне индивида ведут к иррациональным последствиям на уровне коллектива.

Неудивительно, что в последние годы теории рационалистической традиции уделяют все большее внимание исследованию парадоксов.

ПАРАДОКСЫ И ПРЕДЕЛЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Изучение рациональности в обществе столкнулось с глубокой теоретической проблемой. Парадоксы и пределы рациональности стали более очевидны как в моделях поведения индивидов, подсчитывающих свой интерес, так и в анализе форм социальных обменов. Изучение парадоксов стало центральной частью традиции рационального выбора. Но это не погасило энтузиазма по поводу самой этой формы анализа. Напротив, изучение парадоксов своим головоломным характером стимулировало интерес исследователей к этой проблематике. Это привело к развитию чистой теории основ рационального действия.

Возникшие парадоксы были двух видов. На уровне индивида существуют пределы способности обрабатывать информацию и принимать рациональные решения. На другом уровне возникает вопрос о том, как рациональные индивиды формируют группы и как возможно коллективное действие.

Первая серия парадоксов иногда называется парадоксами *ограниченной рациональности* (*bounded rationality*), и ее результат называется неорационалистической позицией. Главную проблему здесь составляют пределы нашей способности к рациональности. Впер-

вые эта проблема выявилась при исследовании формальных организаций, которые возникли в той области, которую можно назвать административной, или управленческой, наукой. Изучая поведение менеджеров в организациях, Герберт Саймон пришел к выводу, что ключевой проблемой для них является обработка всей поступающей информации и выбор той информации, на основе которой можно действовать. Рациональный менеджер пытается максимизировать доход и минимизировать издержки: разницу между ними составляет прибыль организации. С этим можно согласиться, но что именно должен максимизировать и минимизировать менеджер? Допустим, организация – фабрика или производственный сектор – должна максимизировать производство. Но если на фабрике происходит много несчастных случаев и слишком много рабочих получают травмы, то это замедляет процесс и приводит к дополнительным издержкам, и потому система безопасности также должна достичь своего максимального потенциала. Нужно ли увеличивать скорость производства товаров, если это приводит к перерасходу материалов? Допустим, что контроль расходов также должен стать частью рациональной цели. Список легко можно продолжить. Снижение расходов по заработной плате важно, но не менее важно и сохранение морального климата в коллективе. Качество, количество, своевременность, разрешение возникающих проблем, планирование будущего – все это является частью того комплекса проблем, который должен принять во внимание рациональный менеджер.

В своем исследовании поведения рационального менеджера Саймон приходит к выводу о том, что он не может делать все сразу и даже не пытается все охватить. В классической формулировке Саймона и Джеймса Марча рациональный менеджер не *максимизирует*, а *удовлетворяет*. Значение последнего термина следующее. У менеджера есть целая группа проблем, о которых он заботится: производство, качество, количество, скорость, безопасность и т.д. Для каждой из этих областей менеджер устанавливает свой приемлемый уровень. Если процессы идут на этом уровне, то он не должен обращать особого внимания на эти проблемы, и процессы в этом секторе могут идти своим чередом. В каждый период времени менеджер концентрируется на одной из областей, которая является наиболее насыщенной. Обычно это та область, где возникает больше всего проблем, где процессы выходят за рамки приемлемого уровня. Рациональный менеджер не пытается максимизировать все сразу и находит удовлетворение (принимает удовлетворительный уровень)

в каждой области, которая до поры до времени может развиваться рутинным путем, и сосредотачивается на разрешении проблем в наименее удовлетворительных областях.

Этот принцип, указывающий на невозможность максимизации и рациональность удовлетворенности, носит название принципа ограниченной рациональности. Рациональность не может быть универсальной, и есть пределы того, чего могут достичь индивиды. Нерационально действовать в качестве идеального экономического агента, рассматривая каждую возможную альтернативу на рынке, прежде чем начать действовать. При этом все плюсы скоро перевешиваются издержками на обработку всей информации об альтернативах. Гораздо лучше принять решение на относительно ранних стадиях и позже делать поправки, если процессы не идут на удовлетворительном уровне. Это и есть то, что называется неорационалистической позицией.

Марч и Саймон сформулировали принцип удовлетворенности в конце 1950-х годов. С тех пор было раскрыто множество других проблем, относящихся к пределам рациональности. Возьмем базовые принципы теории обмена Блау: человек выбирает самый высокий уровень прибыли, который подсчитывается умножением наград (за вычетом расходов) на вероятность их достижения. Но как это делается в реальной жизни? С одной стороны, как измерить вероятность получения одного положительного результата (скажем, возможность повеселиться на пляже в выходной день) в сравнении с другим (не идти на пляж и хорошо поработать)? Проблема состоит в том, что реальные люди, в противоположность идеализированным математическим распределениям в уравнениях экономиста, обычно не имеют ясной и достоверной информации о вероятности различных исходов событий.

Другая родственная проблема состоит в том, что большинство вещей, в отношении которых принимаются решения, не может быть измерено деньгами и потому, строго говоря, несравнимо. Как, например, соотнести ценность дня, проведенного на пляже, с душевным покоем оттого, что человек выполнил свою работу? Это проблема общего знаменателя, с помощью которого можно сравнивать различные вещи: даже если одну из них можно перевести в денежный эквивалент (дневная зарплата), можно ли ее сравнить с нематериальными благами (веселье на пляже)? Ситуация осложняется, если следовать модели Блау: каков общий знаменатель, который позволяет умножать *вознаграждение* на *вероятность получения*? Вознаграждения и вероятности — разные категории вещей: когда

мы умножаем одно на другое, в каких единицах мы должны измерять результат? И являются ли единицы вознаграждений, помноженные на вероятности в одной области (скажем, веселье на пляже), теми же типами единиц, что и вознаграждения, помноженные на награды, в другой области (выполнение своей работы)? Задача такого анализа состоит в том, чтобы показать невозможность для людей делать подобного рода подсчеты в своей социальной жизни вне зависимости от ее рациональности.

Исследователи в ходе изучения принятия решений людьми и совершаемых ими подсчетов обнаружили, что люди вообще не следуют классическим правилам рациональности. Исследование поэтому сосредоточилось на изучении «аномалий» и «эристики» выбора. Итог некоторых самых важных открытий в этой области был подведен психологами Тверским и Канеманом. Например, когда человека просят выбрать между различными ситуациями, учитывающими баланс вознаграждений и рисков различных издержек, он будет склонен выбрать рискованную опцию в том случае, когда вопрос сформулирован как возможность что-то получить, а не как возможность потерять. Публичные программы будут гораздо более приемлемы, если они пообещают нам 90% занятости, а не 10% безработицы. Существует множество таких эвристических моделей выбора. Расходы кажутся людям выше, если им надо вычестить их из того, что у них уже есть, а не из того, что они смогут получить в будущем. Когда речь идет о гипотетическом выборе, расходы будут казаться им более высокими, если они сопряжены с риском для людей, которых они знают лично, а не с рисками для абстрактного человека.

В целом люди не обращают слишком много внимания на статистическую информацию, которую они получают. В отношении будущего они предпочитают иметь дело с информацией, которая соответствует их стереотипам прошлого опыта. Брокеры и азартные игроки, сталкивающиеся с вероятностями в силу своих профессиональных занятий, тем не менее, используют культурные стереотипы, а не чистые расчеты. Даже память подвергается воздействиям этих эвристических стратегий: люди помнят те случаи, которые соответствуют их стереотипам, и забывают случаи, которые их опровергают. Короче говоря, людям не нужен весь массив информации, и они не совершают строгих подсчетов. И это не удивительно с позиций модели удовлетворения, а не максимизации. Люди более охотно выберут медицинскую альтернативу, если им скажут, не сколько жизней было потеряно в результате ее применения,

а скольким людям удалось сохранить жизнь. В нас больше развит страх потерь, чем жажда к приобретению. Не удивительно, что в реальной жизни люди скорее смиряются с рутинной, если она не слишком дурна, и будут готовы тратить время на решение проблем, а не на максимизацию выигрыша.

Другая серия парадоксов рационального поведения относится не к сфере мышления людей, а к сфере координации их действий в группе. Это может быть названо проблемой социальной координации, и она связана с проблематизацией возможностей индивидов к формированию общества. Самая известная из этих проблем носит название «проблемы безбилетника». Манкур Олсон сформулировал проблему в 1965 году. Рассмотрим группу явлений, которые называются «социальными благами». Это то, что дается всем, но что невозможно потребить индивидуально без других людей. Наличие свежего воздуха, уборка мусора на улице, контроль над преступностью — примеры такого рода социальных благ. Парадокс безбилетника Олсона звучит так: рациональный индивид не участвует в покрытии расходов на социальные блага, но, тем не менее, пользуется ими. Это публичные блага, и они будут существовать независимо от того, будет человек платить за них или нет. Это похоже на бесплатный автобус, который содержится на добровольные взносы сообщества. (Реальные пример такого рода — это публичное телевидение или радиостанции, которые поддерживаются членскими взносами.) Если я могу ехать на автобусе бесплатно, зачем мне за это платить? Конечно, кто-то должен делать взносы, но в моих рациональных интересах не делать взносов, предоставляя другим возможность расплачиваться.

Почему вообще кто-то делает взносы в пользу публичных благ? Олсон приходит к выводу, что здесь бесполезно апеллировать к индивидуальному интересу. Публичные блага должны быть обеспечены произвольным или даже принудительным решением. Если нам необходим общественный транспорт или чистый воздух, то этого можно достичь принятием законов о сборе налогов или запретами на загрязнение воздуха. Если оставить их делом частного интереса, то этих благ бы не было.

Попутно заметим, что ссылка на то, что люди имеют в виду групповой интерес и что у них есть чувство солидарности с целым, не может служить полноценным решением проблемы безбилетника. Поскольку такой подход неизбежно вызывает новый вопрос: мы хотим знать, как эгоистический человек, помышляющий только о собственном интересе, может прийти к тому, чтобы поставить ин-

тересы группы выше своих непосредственных эгоистических интересов. Если мы скажем, что люди в действительности альтруистичны (реалистически мы можем сказать, что только некоторые люди альтруистичны, но не все), то мы выходим за рамки теории, которая основывается на предпосылке рациональных эгоистических индивидов. Теоретической проблемой здесь является возможность вывода групповых интересов из индивидуальных интересов без постулирования каких-то других неэгоистических факторов, подобных альтруизму или солидарности.

«Дилемма узника» является другой версией проблемы безбилетника. Первоначально она возникает в контексте теории игр — метода, получившего хождение в период Второй мировой войны и использовавшегося для анализа стратегических решений. В теории игр каждый деятель может сделать два выбора, и каждый участник знает, что другой может сделать те же самые два выбора. Потери и приобретения каждого зависят от того, как соотносятся их решения. В дилемме узника представим двух подозреваемых в преступлении, находящихся в тюрьме по подозрению в совершении разбойного нападения. Полиция дает каждому из узников один и тот же выбор: если ты признаешься, а твой сообщник не признается, то ты отделаешься мягким наказанием, а сообщник будет сурово наказан по всей строгости закона. Если ты не признаешься, а сообщник признается, то возникнет противоположная ситуация: он выйдет на волю, а ты будешь сурово наказан. Разумеется, если ни один из сообщников не признается, то преступление не сможет быть доказано и обоих отпустят на свободу. Для оказания давления и получения признания полиция не раскрывает четвертую альтернативу: если оба сообщника признаются, то признание перестанет быть особенно ценным, и оба сообщника получают умеренное наказание, где-то посередине между мягким и суровым.

Очевидно, наилучшим исходом была бы ситуация, когда оба узника доверяют друг другу и отказываются от признания. В этом случае оба из них попадут на свободу. Это лучший из возможных миров, и это происходит, когда два человека социально солидарны друг с другом. Но предположим, что они не доверяют друг другу? В этом случае, принимая во внимание стимулы, которые имеются у каждого из них, а также то, что каждый знает, что второй располагает теми же альтернативами, в их интересах признаться, заложить другого и попытаться выйти из ситуации с легким наказанием. Более того, нужно выдать сообщника как можно быстрее, до того, как он наступит на тебя, так как если он признается первым, то при-

знание второго ничего не будет стоить. Стратегические интересы двух людей антитетичны друг другу, и это удерживает их от формирования социальной солидарности, которая была бы для них наиболее благоприятной.

Дилемма узника конгениальна социальному миру, в котором публичные блага были бы наиболее ценными, но в котором в конечном счете индивиды несут потери, делая свои взносы в пользу публичного блага, когда другие этого не делают. Должны быть гарантии того, что другая сторона будет придерживаться заключенного договора, однако мы никак не можем этого знать наверняка, и поэтому человек понимает, что другие будут действовать так, как ты сам. Предположим ли мы, что другой человек эгоистичен или просто недоверчив, результат будет одним и тем же. Рациональные эгоистичные индивиды, сталкивающиеся с другими рациональными эгоистическими индивидами, никогда не принесут никаких жертв в пользу публичного блага, так как для них это будет пустой тратой. Это как раз то, что превращает эту ситуацию в дилемму.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

В последние годы предпринимались довольно изощренные попытки преодолеть эти проблемы. В конце концов, мы иногда встречаемся со случаями социальной координации. Но можно ли объяснить это с точки зрения рационального индивида? Одним из предложенных путей преодоления проблемы социальной координации были повторные игры. Для этого можно обратиться к теории игры, в которой индивиды играют не одну изолированную игру, а целую серию игр с одними и теми же партнерами. Это ведет к таким долгосрочным моделям, которые могут значительно отличаться от результатов одной игры. Этот подход, связанный с повторными играми, не привел, однако, ни к какому ясному соглашению по поводу того, может ли это считаться общим решением для рационального конструирования социальной координации. Вообще воспроизводит ли такой подход ситуации реальной жизни? То, что позволяет нам говорить именно о дилемме в случае дилеммы узника, — это наличие у узников только одного шанса. Они не могут научиться на первой ошибке и пробовать снова.

Кроме того, остается и другой вопрос: что определяет выигрыш, который предлагается в каждой игре? Действительно, почему правила игры сформулированы именно таким образом и какие пра-

вила определяют, что люди должны играть несколько игр? В условиях лаборатории эти правила несложно установить по желанию экспериментатора. Но почему люди в реальном мире создают особые типы игр? Вероятно, существуют более высокие уровни ведения игр для решения вопроса о том, в какого рода игры люди собираются играть.

В современных теориях широко распространенной является попытка различить игры первого порядка от игр второго порядка. Мы постепенно привыкаем к различению первого порядка от второго порядка разных вещей. Например, через несколько параграфов мы займемся безбилетным проездом первого и второго порядков. Возможны даже третьи и четвертые порядки вещей, в результате чего возрастает риск бесконечной регрессии метауровней. Это тоже одна из проблем, которая требует современных нетривиальных подходов. Ее сложность состоит в том, что сами эти решения (повторные игры и метауровни) относятся к решению проблемы индивидов, создающих координацию группы, а не к другой серии парадоксов, относящихся к ограниченной рациональности индивидов. Способны ли индивиды со всеми своими когнитивными ограничениями, а не просто движимые математической рациональностью, вычислить результаты серии игр, относящихся к далекому будущему или расчету различных метаигр? Не приведет ли ограниченная рациональность к разрушению всех этих игр и метауровней — этого необыкновенно разросшегося карточного домика?

В конце 1980-х годов несколько социологов сформулировали альтернативный подход к рациональному конструированию социальной солидарности. Майкл Хехтер и Джеймс Коулман, работая независимо друг от друга, выдвинули теорию, которая решает эту проблему в сходном ключе. Оба начинают с положения о том, что во многих случаях люди нужны друг другу: есть вещи, которые люди могут произвести, только кооперируясь друг с другом — общественная безопасность, защита от преступности, экономическое производство, которое возрастает с разделением труда и так далее. Проблема состоит в том, могут ли они преодолеть взаимное недоверие? В некоторых случаях требуются нормы и солидарность. Но в каком случае люди могут преодолеть проблему безбилетника и создать общественное благо, которое удовлетворяет эту потребность?

С точки зрения Хехтера, ключевым условием здесь является возможность для членов группы наблюдать и применять друг к другу

санкции для предотвращения проблемы безбилетника. Например, политическая партия сможет действовать сообща в качестве группы, только если ее члены смогут видеть, что каждый голосует в соответствии с линией партии, присоединяется к манифестациям и борется против общего врага. Солидарность таким образом зависит от коммуникации. Небольшие группы легче достигают солидарности, так как поведение ее членов заметно друг другу. Проблема солидарности становится более острой, когда количество людей в группе возрастает. Некоторые члены группы становятся специалистами по проверке поведения своих членов. Но это приводит ко второй опасности: возможности, что эти специалисты будут злоупотреблять своей властью в своих собственных целях. Возникает старый вопрос: кто охраняет сторожей?

Солидарность предполагает не только наблюдение. Она также требует от индивидуальных членов группы наличия средств, которые могут быть использованы для взаимного контроля. Они должны награждать друг друга за кооперацию и наказывать за отказ кооперироваться. Хехтер считает, что позитивные награды больше способствуют солидарности, чем негативные наказания. Угроза наказания создает предпосылки недоверия и является стимулом для того, чтобы скрывать свое поведение от наблюдения. Таким образом, группы, которые опираются на позитивные награды, создают большую солидарность. Такую систему нелегко поддерживать, так как группа, производящая материальные блага, которыми она награждает своих членов (коллективное хозяйство, где каждому достается больше еды, чем больше люди работают), тем самым увеличивает возможность того, что индивиды могут получить те же самые награды за меньшую работу в другом месте (например, оставляя ферму и уходя на работу в другое место, где выше заработная плата). В целом Хехтер показывает, что солидарность будет наибольшей там, где награды вытекают из внутренних критериев, как, например, в случае социального одобрения и защиты от врага, а не являются чисто внешними, как в случае денежных вознаграждений. Это происходит потому, что внутренние награды гораздо чаще привязаны к специфической группе, тогда как внешние награды приводят к ситуации рыночной торговли, которая создает стимулы для индивидов самим искать лучшей доли.

Коулман дополнительно подчеркивает, что позитивные санкции (награды за выполнение) являются более эффективными, чем негативные санкции (наказания за неисполнение). Поскольку когда происходит слишком много негативных санкций, будут расти

расходы на эти санкции. В некоторых случаях индивиды, нарушающие правила, будут сопротивляться контролю и бороться с ним, и в таком случае блюстители порядка будут вынуждены прикладывать больше усилий, возможно, даже в вооруженной форме. Все это приведет к построению формальной организации внутри кооперирующего сообщества, организации, которая специализируется на функциях контроля. Эта организация требует ресурсов, и у нее есть собственные интересы. Так возникает «проблема безбилетников» второго порядка, которая связана с необходимостью контролировать безбилетников первого порядка.

Перспектива устранения или минимизации специализированного формального контроля была бы весьма благоприятна и желательна. Коулман подчеркивает, что это было бы несложно, если бы сообщество состояло из густой сети взаимодействий, которая закрыта для аутсайдеров. В этом случае контроль был бы неформальным, а не формальным. Неформальный контроль обычно не так дорогостоящ и, как правило, предполагает наличие позитивных санкций, а не просто внешний контроль. Люди более естественно будут подчиняться небольшой компактной группе, так как само чувство принадлежности будет выступать в качестве награды. Если же контроль навязывается в безличной форме и включает в себя в основном наказания, то целое удерживается вместе не столько позитивными чувствами взаимной выгоды, сколько страхом быть пойманным.

Эта рациональная теория выбора солидарности нуждается в дополнительном исследовании и проверке. Мы пока не знаем потенциала этой теории в плане предсказания эмпирических различий в уровне солидарности: при каких условиях солидарность наиболее сильна, при каких она едва теплится, разрушается или вообще никогда не возникает. Одна из проблем в доказательстве этой теории состоит в том, что в глазах различных теоретических подходов ряд выделенных условий приобретает разный смысл. Теория Хехтера—Коулмана предсказывает, что солидарность будет наибольшей в небольших группах, закрытых для аутсайдеров и предполагающих частые взаимодействия, через которые индивиды следят друг за другом и обмениваются позитивными вознаграждениями типа личной оценки. Проблема состоит в том, что те же самые составляющие можно обнаружить и в ритуальной теории солидарности, которая возникает в рамках традиции Дюркгейма. В ритуальной теории (как мы увидим в главе 3) ключевыми составляющими для возникновения чувства солидарности являются высокая часто-

та взаимодействий, сосредоточение внимания на группе и общие эмоции.

Можем ли мы проверить, какая из теорий является верной, отделяя специфические факторы, которые выделяет каждая из них? Не окажется ли, что оба типа теории сойдутся на одних и тех же процессах? Если последнее верно, то по иронии судьбы утилитарная традиция и традиция Дюркгейма, которые спорили друг с другом в течении многих лет — Дюркгейм против Спенсера, Хоманс против Парсонса, — в конце концов пришли к общим основаниям. Будущее покажет, случится это или нет.

ЭКОНОМИКА ВТОРГАЕТСЯ В СОЦИОЛОГИЮ И НАОБОРОТ

Необычным результатом всего этого внимания к парадоксам рациональности и усилий их разрешить является отход на второй план рыночной модели. Мыслители, которые защищают подход с точки зрения рационального действия, уделяют больше внимания работе нерыночных отношений, чем имитациям чисто экономических отношений. Рациональный агент больше не занимает центрального положения на сцене: перед нами остается только его силуэт, но теперь мы уделяем гораздо больше внимания тому, почему он остается в тени, то есть пределам рациональности и ограничению условиями социальных структур. Конечно, представители социальных наук, которые принадлежат к этой школе мысли, до сих пор рассматривают индивидов как преследующих свои интересы. Но современный рациональный актер больше не делает то, что необходимо для максимизации его интересов, и только иногда проявляет склонность к эгоизму в подлинном смысле этого слова. Эта ситуация очень напоминает проблему лжи: конечно, беспринципные люди лгут, когда они могут, но они могут начать говорить правду в большинстве случаев просто потому, что достаточно трудно последовательно врать.

Таким образом, хотя мы и говорим об экономическом вторжении в социальные науки в последние годы и об экстраполяциях теории рационального выбора, эти термины недостаточно точно отражают то, что реально происходит в сегодняшнем интеллектуальном мире. Экономическая теория не просто используется по всем поводам в голом виде: для использования экономической теории ее нужно было модифицировать. И когда мы говорим о теории рационального выбора в целом как об интеллектуально популярном движении, это отнюдь не означает, что все основано на рациональных

расчетах индивида. Напротив, мы находим, что наши теории рациональности должны стать сложными и тонкими для того, чтобы они подходили для объяснения социальных взаимодействий и организаций. Точнее было бы говорить о «головоломках рациональности» или «контroversах рациональности», так как интеллектуальную привлекательность этого подхода составляют вопросы и подходы, а не сами решения.

В последние годы в центре внимания экономистов находились такие предметы, как семья, преступность, образование и политика, то есть темы, которые традиционно выпадали из круга чисто экономических проблем производства и цен. В то же время многие социологи и специалисты по политическим наукам восприняли многие элементы из экономического способа мышления. Но в этих социальных и экономических дискуссиях произошло множество модификаций, и они перестали быть традиционно экономическими. Чрезвычайно изощренная математическая модель, известная как общая теория равновесия, является теоретическим центром современной экономики. Она представляет собой попытку доказать строгим путем, что существует (по крайней мере в принципе) общее равновесие цен на все товары и услуги и что это равновесие является стабильным и уникальным (оно может происходить только одним образом), и эта ситуация обеспечивает полную задействованность рынка (все продается, и никто не остается без работы).

Это в высшей степени абстрактный идеал рынка. Многие теоретики экономики считают, что общее равновесие даже гипотетически не существует и в любом случае никак не помогает разрешению практических проблем, таких как предсказание уровня инфляции или цен медицинских расходов в будущем году. Теоретические экономисты, тем не менее, продолжают работу над проблемой общего равновесия, поскольку она дает чрезвычайно привлекательный идеал того, как должна работать рыночная система в своем идеальном воплощении. Это сложная математическая задача, требующая гениальных ходов для создания различных возможных решений или для поисков уязвимых мест в этих теориях. Такие подходы вообще характерны для способа функционирования интеллектуального мира. Привлекательные головоломки очаровывают умных людей, и эти головоломки начинают жить своей собственной жизнью, независимо от того, связаны они или нет с другими проблемами, которые пытаются разрешить люди. Преимуществом этой ситуации является то, что когда экономисты при-

ходят в сферу социологии, то инструменты, которые они приносят с собой, — это не только математический набор анализа общего равновесия (или даже частичного равновесия); довольно часто они привносят идеи попроще, которые позволяют иначе взглянуть на явления, но идеи отнюдь не более изощренные, чем конкурирующие идеи практикующих социологов. Другими словами, экономисты за пределами своей собственной сферы дают блуждающий свет. Хотя они привносят некоторые свежие идеи, эти идеи просто другие, но отнюдь не превосходящие по своей сложности теорий социологов.

Интересно отметить, что в то время когда экономисты стали вторгаться в социологию, некоторые социологи стали совершать концептуальные вторжения в противоположном направлении. Когда связь между социологией и экономикой стала привлекать больше внимания, социологи начали задаваться вопросом о реальном функционировании рынка: является ли сам подход, который сосредотачивается на общих тенденциях конкурентных условий рынка, наиболее плодотворным способом понимания того, как люди совершают экономические обмены. Большинство людей продают и покупают в одних и тех же магазинах, работают у одних и тех же работодателей, в одних и тех же экономических единицах. Они не занимаются сравнением цен, не меняют слишком часто место своей работы, а если и меняют, то не в слишком широком диапазоне, и поэтому они не испытывают даже толики тех конкурентных возможностей, которые теоретически им предоставлены. Некоторые социологи предположили, что лучшим способом понимания таких ситуаций является их анализ с точки зрения прослеживания их связей как социальных сетей, поскольку они больше походят на местные связи, чем на широкие рынки.

Одна из наиболее далекоидущих идей в этом направлении была высказана Харрисоном Уайтом, который предположил, то, что мы называем рынком, — это сеть производителей, которые наблюдают за деятельностью друг друга. Например, производители одежды наблюдают друг за другом для того, чтобы определить, какие стили одежды хорошо продаются в этом сезоне. Производители не только подражают друг другу, но также и дифференцируются, чтобы то, что они продают, было относительно уникальным. Если производитель успешен в нахождении особой ниши на рынке, ему не нужно соревноваться со всеми другими производителями. В итоге продажные цены не снижаются в результате конкуренции, как это случилось бы, если бы все продавали одно и то же. Таким образом,

рынок — это не просто совмещение спроса и предложения; это скорее попытка производителей (поставщиков) понять, как выбрать для продажи такой товар, который сходен с тем, что уже был популярен, но не настолько, чтобы товары вступали в прямую конкуренцию.

Картина рынка, предложенная Уайтом, более динамичная и инновационная по сравнению с традиционным рынком экономистов, и в этом отношении она больше подходит для современного мира. Другое реалистическое преимущество уайтовской теории рынка, основанного на социальных сетях, состоит в том, что она объясняет, почему авангардным элементом рынка обычно является тенденция к более роскошным и дорогим товарам, которая отражает страсть сегодняшнего потребительского общества, равнодушного к стилю. Она также позволяет объяснить феномен, который всегда остается проблематичным в традиционной экономической теории: откуда берется такое значительное имущественное неравенство в капиталистическом обществе. В традиционной теории соревнование должно снижать уровень дохода к самому нижнему пределу. В модели сетей успешные производители — это те, кто находит, по крайней мере на время, ниши, в которых его продукты являются уникальными и таким образом защищены от конкуренции. И когда конкуренция достигает их ниши, наибольшие богатства переходят к тем, кто быстрее переключился на новый продукт. Неравенство и новшества взаимосвязаны. Поэтому можно ожидать, что наш сегодняшний высокотехнологичный, инновационный и ориентированный на потребителя капитализм не станет более эгалитарным. Социологи используют эту идею для понимания некоторых экономических проблем более эффективно, чем это доступно экономистам.

Харрисон Уайт показывает нам, как рынок может быть организован таким образом, что конкуренция минимизирована и обмен канализован в относительно узкие цепи. В этом отношении данная модель напоминает теорию разделенного рынка труда, которую мы рассматривали раньше, и оба типа теории помогают объяснить, как рыночные процессы могут приводить к неравенству. Другой модификацией рыночной экономики является так называемый вопрос о «рынке против иерархии». Оливер Уильямсон (экономист, влияние идей которого было наибольшим за пределами его дисциплины) подчеркивал, что уход с рынка иногда бывает рациональным. С точки зрения чистой рыночной теории покупателя и продавца труда (работодатели и работники) всегда долж-

ны быть вольны вступать или избегать отношений обмена, если у них появляется лучшая возможность. Таким образом, работодатели могут покупать самую дешевую рабочую силу, и, наоборот, рабочие могут получать наивысшие зарплаты. Но фактически большинство рынков труда не ведут повседневного торга, а заключают долгосрочные рабочие контракты. Вместо того чтобы постоянно торговаться на открытом рынке, рабочие и их работодатели входят в относительно постоянные иерархии. Некто работает на организацию; зарплата обсуждается во время найма, но когда человек уже нанят на работу, он следует указаниям, а не торгуется по поводу того, сколько будет стоить следование указанию в каждом отдельном случае.

Уильямсон считает, что движение от рынка к иерархии рационально при наличии высоких издержек на трансакции, которые связаны с торговлей. Если необходимо значительное время и усилия для поисков работников, которые хотят и могут делать работу, рационально нанять их на значительный срок. Стоимость трансакций является наивысшей там, где есть потенциал для недоверия и нужно потратить много усилий для проверки на возможный обман другой стороны. В дополнение к этому рационально не руководствоваться рыночными моделями в случаях, когда услуги, которые необходимо приобрести, являются относительно уникальными и только немногие люди могут их поставлять или когда необходима значительная подготовка и координация для производительности работников. Там, где нет этих условий — например, в случае найма разнорабочих для копки траншей на строительном участке, — работа оказывается в сфере повседневного рынка. Там, где есть эти условия, рабочие места уходят с рынка и входят в организационную иерархию.

Джеймс Коулман в своей большой синтетической книге «Основы социальной теории» подчеркивает, что не все рациональные модели обмена являются рынками. Если теория рационального выбора верна, то каждый социальный институт будет результатом рациональных интересов деятелей, которые его сформировали. Это относится к семье, к коллективному поведению толпы, к правительству или к любой другой организации, так же как и к экономическому рынку. Теория рационального выбора гораздо шире экономической теории: последняя является частью первой. Фактически здесь мы возвращаемся к теориям ранних утилитаристов. Хотя экономика, очевидно, являлась одним из их любимых институтов, она была только одним из применений утилитарного подхода.

Коулман утверждает, что фактически главным фактором современного общества является не рынок, а существование огромных организаций. Правительственные учреждения, воинские подразделения, школы и университеты, крупные бизнесы — все это примеры крупных бюрократий. Индивиды работают в этих организациях, но сама организация гораздо сильнее индивидуума. Единственный путь контроля над организацией для индивида — формирование другой организации: объединения потребителей, социальные движения, члены сообществ на основе гендерной, этнической или какой-то другой общности становятся эффективными только тогда, когда они сами становятся организациями. Мы живем в мире организаций. Значительная часть современной экономики состоит из организаций, которые продают и покупают или ссужают, или занимают деньги друг у друга, так же как современная политика состоит из организаций, которые пытаются оказывать влияние друг на друга или преследовать друг друга в суде.

Коулман показывает, почему основывать организации индивидам рационально. (Этот аргумент не слишком отличается от тезиса Уильямсона относительно формирования иерархий из рынка.) Формируя организации, индивиды передают некоторые из своих прав действия организации. Они становятся частью корпоративной акции, следуя ее моделям и инструкциям, а не своим непосредственным целям. Но теперь возникает новая форма рациональности. Организации становятся тем, что Коулман называет «корпоративными актерами». Сама корпорация становится рациональным агентом принятия решений, которая преследует свои собственные интересы, пытаясь максимизировать выгоды и минимизировать расходы. И в этом нет ничего мистического. Корпоративный актер управляется высшими менеджерами компании и совета директоров, но они не действуют больше как простые индивиды, преследующие свои частные интересы. Обычно высшие менеджеры и лидеры подталкивают друг друга к тому, что, как им кажется, отвечает интересам организации. Эта корпоративная идентичность культивируется также западным правом, которое признает корпорацию в качестве законного индивида, фиктивную личность, которая тем не менее располагает правами собственности и может совершать трансакции с другими индивидами в обществе.

Возникает вопрос: являются ли все эти рациональные деятели, корпоративные деятели, благоприятными для нашего общества? Первые утилитаристы, естественно, могли бы положительно отве-

тить на этот вопрос, если бы они приняли идею о том, что корпорация, поднимающаяся над человеческим индивидом, также является индивидом и может действовать рационально. Но Коулман уже живет в эпоху, когда наука столкнулась с множеством парадоксов рационального поведения, и он вынужден ставить вопрос о старых парадоксах на уровне корпоративных деятелей и о возможности возникновения здесь новых парадоксов. Как мы увидим ниже, то, что говорит Коулман, соответствует тенденции современных утилитаристов к обсуждению серьезных проблем с крупными организациями современного мира.

Но сначала нам нужно взглянуть на наиболее мощную из этих крупных организаций – современное государство.

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Философ Джон Роулс выступил с наиболее благообразной теорией государства, с точки зрения рационального выбора. Роулс попытался показать, что либеральная политика, которая помогает обездоленным, является рациональной. Если в прошлом существовала расовая или половая дискриминация и если преимущества и минусы социальных классов наследовались от родителей, то сегодня государство должно что-то предпринять для компенсации этих минусов. В системе образования и найма должны существовать специальные социальные программы (*affirmative action*) или программы, подобные им, которые бы давали преимущество обездоленным группам перед теми группами, которые исторически были привилегированными. С точки зрения истории политических идеологий, это не новая идея, но она могла бы озадачить мыслителя в утилитарной традиции. Утилитаристы всегда рассуждали с точки зрения индивида. Они говорили, что рынок должен быть открыт для всех. Роль правительства не состоит в том, чтобы давать кому-либо преимущества, тем самым вмешиваясь в открытую конкуренцию, но действовать в качестве нейтрального судьи. Утилитарная позиция состояла в утверждении принципа доверия на открытом рынке и идеи невмешательства государства.

Однако Роулс утверждает, что для индивидов рационально выступать за правительственное вмешательство в пользу обездоленных и что эта позиция рациональна для всех, как для обездоленных, так для необездоленных. Он рассуждает следующим образом. Предположим, что человеку предстоит построить государство и выбрать для него конституцию. Он делает это как бы из-под «покрывала не-

вежества»: он не знает своего положения в этом будущем обществе, будет ли он богатым или бедным, черным или белым, мужчиной или женщиной. Из этого нейтрального положения было бы рационально выбрать такую конституцию, которая бы давала дополнительные преимущества обездоленным для того, чтобы их компенсировать и сделать их равными другим. Рационально принять эту конституцию, поскольку каждый может оказаться одним из обездоленных и ему необходимо предохранить себя.

Теория Роулса вызвала много споров относительно правильности его аргумента. Одним из ее главных недостатков было признано игнорирование неорационалистических моделей человеческих рассуждений. Если человек действует в условиях ограниченной рациональности и стремится к удовлетворению, а не к максимизации, невозможно ожидать, что люди будут мыслить глобально и гипотетически о том, какую конституцию они предпочтут из всех возможных. Модель удовлетворенности гласит, что люди примут любую существующую ситуацию, если она отвечает минимальному уровню приемлимости и сосредотачивается в каждый данный момент только на одном предмете. Они не конструируют больших философских моделей из ничего, а модифицируют то, что уже существует, обращаясь к наиболее злободневным вопросам. Это как раз то, что произошло со времен движения за гражданские права в 1960-е годы: только когда раса, пол и другие социальные неравенства стали значительным препятствием, эти проблемы оказались в центре внимания, и у людей нашелся стимул бороться с этими проблемами. Нам вряд ли удастся найти решение всех этих проблем, не создавая новых проблем и спорных установлений, что не удивительно с точки зрения неорационалистического подхода. Люди никогда не начинают фундаментальных преобразований с начальной точки, но выступают только с локальными поправками в ответ на особые ситуации, надеясь, что все вернется к нормальному уровню удовлетворенности. Подход Роулса описывает идеальную рациональность, которая не совпадает с тем, как люди реально действуют.

Это не означает, что многие люди не должны испытывать симпатии в какой-то исторический момент к основной идее программы Роулса — социальным программам для меньшинств и прочим компенсациям за неблагоприятные условия. Но вряд ли их симпатии будут исходить из того же типа рассуждений, которыми руководствовался Роулс. Некоторые люди выступили бы за программу компенсаций, поскольку это отвечает их интересам как членов

обездоленной группы. На членов привилегированного большинства, которые ее принимают, оказывает влияние социальное движение, проповедующее альтруизм, а не личный интерес. Успешные социальные движения, которые проповедуют справедливость, рассматривают ее как эмоционально выдержанный идеал, а не как результат подсчета рациональных интересов индивидов. Тот факт, что некоторые люди выступают за либерально-альтруистическую политику, а другие противятся ей, показывает, что объяснения в духе универсальной человеческой рациональности Роулса ничего не говорят о том, почему люди выбрали свою позицию по этому вопросу. Скорее нам надо искать объяснений того, почему люди избирают некоторые социальные движения и сопротивляются другим.

В целом благодушная теория государства Роулса представляет собой скорее исключение. Большинство теорий рационального выбора в политике не предлагает таких прекраснодушных идей. Одна из таких теорий утверждает, например, что государство возникает из необходимости «арендной защиты»: ключ к пониманию государства — контроль за вооруженными силами. Люди платят налоги (или, говоря исторически, какую-то форму дани) правительству как своего рода ренту за жизнь в безопасной зоне. Государство является своего рода землевладельцем не столько в отношении самой земли, сколько в отношении мира на территории, на которой живет человек. Плата государству — это плата за защиту от внутренней преступности и внешних вторжений. Но государство может требовать очень многое за свою защиту, поскольку оно является монополистом (или пытается им быть, удерживая неприятельские армии вдали от своей территории). Монополии не всегда ограничиваются конкуренцией цен в отношении соперников. Гражданин государства обычно не может выбрать, у какого государства покупать протекцию. (Можно заметить, что у этой теории много общего с веберовской конфликтной теорией государства, которая также предполагает, что государство — это монополия вооруженных сил над территорией, но Вебер также добавляет сюда неэкономическую идею о том, что использование силы должно быть легитимным.)

Не так давно в этом ключе исторические социологи предложили свой анализ того, как государства возникали и расширялись. Например, Чарльз Тилли и другие показали, что средневековое государство, по сути, было армией в сочетании с налоговой системой, которая возникала для того, чтобы получать из экономи-

ки товары для армии. Здесь я не буду вдаваться в детали этих теорий. В общем говоря, ученые, которые занимаются этими темами, исходят скорее из теории конфликта, чем из рациональной утилитарной традиции. Я упоминаю здесь об этих исследованиях потому, что в целом их аргументы вполне совпадают с идеями о государстве, предоставляющем «арендную протекцию», которые выдвигают представители рационально-утилитарного подхода. Историческая социология весьма полезна и в том, что она показывает, почему монополистическое государство не всегда выжимает до последней капли «арендную протекцию» из своего населения. Теория государства как «арендной протекции» превращает интересы государства в угрозу для экономических интересов обычных граждан. Но если государство находится в военном бизнесе, оно может стать банкротом, если оно будет вести свой бизнес в расточительной или слишком экономной манере. Например, современная геополитическая теория показывает, что государства проигрывают войны, когда они растрачивают свои ресурсы в борьбе со слишком большим количеством противников, рассредоточенных в слишком многих направлениях и слишком далеко от дома. Государство, проигрывающее войну, оказывается не в лучшем положении для взимания «арендной защиты». Подобным же образом расходы на войну и правительственные расходы в целом могут привести к фискальному кризису в государственном бюджете. Большинство великих революций было вызвано (как мы уже видели в нашем обсуждении теории конфликта) тем, что государство не могло платить своим работникам. Так государства, которые жили за счет арендной защиты, погибли, так сказать, из-за своей неэффективности в качестве хранителей мира.

В некотором смысле это утешительное заключение. Даже если государство является военным монополистом, существуют пределы того, что они могут получить от общества. Когда государства переходят эти пределы, они теряют свою власть. Государственный кризис открывает возможность для реформ. Исторически это один из основных путей, каким возникает демократия, когда права граждан институционализируются в противовес посягательствам государства. Все это соответствует неорационалистической модели поведения людей: удовлетворительной, а не максимизирующей, примиряющейся с нормой, пока она может поддерживаться. Даже когда гипотетически существуют лучшие возможности, нужно обращаться к решению проблем, только когда они становятся насущными. Модель демократизации по маршруту «кризис и развал» вполне со-

ответствует неорационалистической концепции индивида, который предпринимает чрезвычайные действия только в случае чрезвычайных ситуаций.

Реалистическая модель политики состоит в том, что люди далеко не всегда готовы предпринимать значительные структурные изменения в государстве. Иногда в случае чрезвычайных ситуаций эти изменения могут направляться в русло демократизации. Но в большинстве случаев политика ведется рутинным образом. При этом интересы политиков и граждан в равной степени ведут к результатам, которые благоприятны только для части населения. Так называемая экономическая теория демократии утверждает, что политики подобны бизнесам: чтобы быть избранными, они инвестируют свои обещания политических действий для того, чтобы привлечь избирателей. Успешные политики дают обещания, которые привлекательны для большего количества людей, чем обещания их соперников. Эта теория, вероятно, подразумевает, что большинство людей получают пользу от правительства. Одно из направлений этой теории, однако, предполагает, что большинство должно быть незначительным и, тем не менее, оно должно победить на выборах. Это теория «минимальной побеждающей коалиции». Например, предположим, что политическая партия одерживает оглушительную победу на выборах. Она получает большую часть голосов, скажем, 80 процентов. Но это означает, что политики и их электорат должны делить плоды победы с достаточно большой группой людей. Если бы побеждающая коалиция была меньше, скажем, 51 процент, она могла бы выиграть, но ей не надо было бы больше делиться с таким большим количеством людей. Теория минимальной побеждающей коалиции утверждает, что серьезная победа партии и уничтожение оппонента не дают полной гармонии. После победы победители начинают раскалываться, бороться друг с другом, пока не будет сформирована меньшая побеждающая коалиция. Рациональный интерес политиков удерживает уровень социальной гармонии на низком уровне даже в случае, когда возможна большая гармония интересов.

НОВАЯ УТИЛИТАРНАЯ НАУКА О СТРАТЕГИЯХ

Джеймс Бьюкенен, формулируя позицию «теории публичного выбора», пошел еще дальше, усматривая некоторые негативные последствия в утилитарном взгляде на политику. Бьюкенен замечает, что политики заинтересованы в избрании, и поэтому они будут тра-

тить деньги на то, что понравится избирателям, будь то социальное страхование, медицина, образование, занятость в системе обороны или планы строительства внутри сообществ. В то же время граждане не считают уплату налогов частью своих интересов. Рациональный политик, преследующий свои интересы, разрешает этот конфликт за счет правительства, но оплачивая эти расходы не за счет налогов, а за счет займов, другими словами, за счет дефицита бюджета. Это является рациональным, с точки зрения всех заинтересованных сторон, но только в краткосрочной перспективе. В будущем долг должен быть погашен с возросшим процентом, и чем дольше будет существовать дефицит, тем больше он будет расти. Для рационального политика, мыслящего в настоящем времени, это не будет иметь большого значения. Он или она избраны благодаря тому, что они удовлетворяют избирателя сегодня, и кто-то другой будет оплачивать долги в будущем. Короче говоря, интересы сегодняшнего поколения предпочитают интересам будущих поколений.

Бьюкенен утверждает, что рациональные интересы политиков и избирателей не могут разрешить эту проблему. Единственный способ учесть интересы будущих поколений — это смена правил игры. Бьюкенен выступает за введение поправки к конституции, которая требует сбалансированного бюджета и запрещает траты за счет его дефицита. Сейчас идут споры по поводу побочных эффектов такой политики (например, относительно необходимости краткосрочной гибкости правительства в случае чрезвычайных ситуаций). Если мы оставим в стороне этот вопрос, можно заметить, что Бьюкенен доводит утилитарную политику до предела и идет еще дальше. Традиционно утилитаристы рассматривали правительство как нейтрального судью, который поддерживает правила игры экономического рынка. Но теперь перед нами теория, согласно которой само правительство выступает в качестве конкурентного рынка, являясь ареной борьбы политиков за голоса избирателей. Согласно Бьюкенену нейтральный судья должен быть поднят на новый уровень: нам необходим метауровень над политикой в форме поправки к конституции, которая будет контролировать правила политической игры.

Здесь мы видим, что Бьюкенен по-своему снова коснулся проблемы, которая всегда оставалась в утилитарной традиции. Это проблема создания судьи или вопрос о том, кто охраняет самих охранников. Мы уже обсуждали проблему перехода эгоистических индивидов к идее социальной солидарности и норм, которые имеют в виду коллективный интерес. С точки зрения поправки к консти-

туции Бьюкенена, что должно мобилизовать людей на голосование за такую поправку? Не возникнет ли здесь у рационального избирателя стимула прокатиться без билета, то есть сохранить существующее положение вещей — тратить за счет дефицита, пока он получает нечто от правительства и не должен за это платить своими налогами? Бьюкенен предлагает своим избирателям перестать быть утилитарными рационалистами на индивидуальном уровне и подняться на более высокий уровень заботы о рациональности коллективного поведения. Но при каких условиях люди перестают думать о своих интересах? В каком случае они переходят на новый уровень и начинают мыслить о себе как о членах коллектива, которые имеют общие интересы? Существует ли какой-то рациональный подсчет, чтобы сравнить свои интересы как индивидов и свои интересы как членов коллектива? Здесь мы опять сталкиваемся с той же проблемой, которая встала перед теорией справедливости Джона Роулса, хотя Роулс был либералом, а Бьюкенена следовало бы назвать консерватором. Для того чтобы мотивировать людей на идеалистические поступки, выходящие за пределы их интересов, необходимо выйти за пределы утилитарных критериев и обратиться непосредственно к альтруистическим эмоционально-насыщенным социальным движениям.

В теории Джеймса Коулмана наиболее острые проблемы современного общества — это проблемы социальной ответственности в отношении коллективных институтов. Вопрос возникает на двух уровнях, но в их основе лежит одна и та же проблема. На одном уровне мы сталкиваемся с проблемой отсутствия ответственности индивидов в отношении других членов группы. Например, родители, которые слишком озабочены своей карьерой или счастьем, чтобы заботиться о своей семье и своих детях. На другом уровне встает проблема корпоративных организаций. Это, например, бизнесы, которые в поисках прибылей не обращают внимания на окружающую среду и характер своего воздействия на людей или правительственные учреждения, которые пытаются сохранить свои бюджеты и рабочие места, вне зависимости от того, что требуется для общества и что оно может себе позволить. Говоря аналитически, это специфические примеры одной и той же проблемы, проблемы эгоистического человека, который навязывает экстернатности (то есть последствия своих действий, которые окружающие вынуждены терпеть) другим и не принимает во внимание их интересов. В первом случае масштаб этих отношений невелик — они касаются только естественных индивидов, родителей и детей в семье. В дру-

гих случаях это отношения большего масштаба — корпорации как рациональные индивиды.

Коулман предполагает, что стратегия разрешения обоих типов проблем должна быть сходной. Он не предлагает конкретных путей решения, как Роулс или Бьюкенен, оба из которых призывали к созданию нового коллективного интереса или серии правил, которые бы возвышались над конкретным индивидом. Коулман не требует, чтобы люди и корпорации были более альтруистическими. Он пытается обратиться к утилитарным интересам для мотивации социальных актеров в направлении большего благоприствования другим. Коулману, по-видимому, кажется, что принятие эгоистических мотиваций и работа с ними более реалистичны, чем апелляция к идеалистическим мотивам, которые интерпретируются как более высокий уровень эгоизма.

В случае семьи Коулман утверждает следующее. В некоторые исторические периоды в интересах родителей было вкладывать свою энергию и внимание в обеспечение своим детям возможности вырасти дисциплинированными и полезными членами общества. Родители зависели от своих детей в плане ухода за ними в старости. Жизненный комфорт и социальный статус зависели от наличия детей, которые могли управлять фермой или семейным бизнесом или были достаточно успешны в своей карьере, чтобы их родители могли к ним переехать. Но в современном обществе большой индивидуализм в сфере карьеры, а также страховки и пенсионное обеспечение для пожилых людей привели к тому, что родители получают от детей гораздо меньше. У родителей остается не так много стимулов для того, чтобы заботиться о домашней работе детей и предотвращать их правонарушения. У некоторых родителей нет особых стимулов для того, чтобы не оставлять детей одних и проводить с ними время. В результате родители не особо занимаются социализацией детей и это приводит к экстернальностям, которые навязываются ими обществу: общей неэффективности образования и росту затрат на борьбу с преступностью. В своем известном исследовании Коулман показал, что вовлеченность родителей в образование детей оказывает гораздо большее влияние на успехи детей в школе, чем усилия и программы самих школ. Все это внешние затраты, которые должны нести другие: сообщество должно платить за преступность, плохое образование, отчужденную молодежь, в то время как у отца и матери ребенка есть свои собственные интересы, с точки зрения которых рационально не обращать внимания на ребенка.

Коулман считает, что было бы нереалистичным ожидать возвращения к традиционной семье. Когда ценности больше не определяют поведения людей, проповедь возвращения к традиционным ценностям не может быть особенно эффективной. Единственный реалистический путь к разрешению проблемы — новый метод апелляции к интересам. Коулман предлагает новые системы поощрения для родителей в плане воспитания детей. Например, он полагает, что правительству было бы рационально рассчитывать расходы налогоплательщиков для борьбы с бандами и преступностью и платить за обеспечение бросивших школу детей, а также потерянные доходы от падения экономической продуктивности. Эта сумма в свою очередь станет фондом, который должен использоваться в качестве поощрения, предлагаемого людям, готовым потратить дополнительное время на достойное воспитание детей. Коулман подчеркивает, что социологи могут подсчитать, какие конкретно дети в силу семейных обстоятельств с наибольшей вероятностью могут стать членами банд или испытывать проблемы с успеваемостью. Таким образом, уровень поощрения будет зависеть от степени риска. Коулман считает, что такие финансовые поощрения должны предлагаться любому, кто займется этими детьми: их собственным родителям, родственникам или организациям, готовым позаботиться о детях. Им будут платить в зависимости от их результатов в предотвращении правонарушений, успехов в школе и тому подобных факторов.

На уровне корпораций Коулман предлагает сходные меры. Например, если крупные компании не выказывают социальной ответственности, они могут быть реструктурированы, и поощрения будут поступать тем, кто контролирует их разрушительную деятельность. Например, Коулман предлагает снять легальную неприкосновенность с членов совета директоров — они должны быть лично ответственными за судебные преследования их компаний. Другая возможность — это внедрение в компанию тех, на кого негативно воздействуют экстерналиности: в совет директоров надо зачислять соседей корпорации, которые ощущают результаты ее экологической деятельности, потребителей и даже представителей детей, которые не получают адекватного семейного воспитания из-за того, что жизнь их родителей принадлежит корпорации. На данный момент все эти предложения Коулмана достаточно общи и имеют гипотетический характер. Необходимы отдельные исследования для внедрения и разработки деталей его предложений: к каким побочным эффектам они приведут, какие дополнительные

проблемы возникнут, как будет задействована система поощрений. Действительно ли предложенные им схемы поощрения приведут к преимуществам, которые он предполагает, и окупятся ли расходы на эти меры.

Важность подхода Коулмана состоит не столько в его конкретных предложениях, сколько в самом образе его мышления по поводу социальных проблем. Он пытается быть реалистом. Он призывает признать, что люди преследуют свои эгоистические интересы, не слишком далеко предвидят последствия своих действий и нередко не имеют стимулов придавать особое значение последствиям своих действий для других. Если мы хотим добиться настоящих изменений в политике, которые окажут реальное влияние, нам нужно учесть, как это повлияет на систему поощрений, на затраты и приобретения для индивидов, которые вовлечены в эту ситуацию. Этот подход кардинально отличается от традиционно-утилитарного подхода, согласно которому свободный рынок является лучшим механизмом для достижения наибольшего блага для наибольшего числа людей. В то же время подход Коулмана не просто повторяет старую леволиберальную традицию, по которой прямое вмешательство государства может разрешить проблемы передачей благ от одной группы другой. Рынок не приведет к утопическому состоянию, как, впрочем, и избегание рынка и его замена государством благосостояния. Мы должны сознавать, что индивиды остаются эгоистичными, независимо от обстоятельств, в которых они оказываются. Поэтому необходимо структурировать их интересы таким образом, чтобы результаты оказались благоприятными для того, что мы пытаемся достичь.

Из всех существующих социальных теорий рационально-утилитарная традиция в ее современном воплощении лучше всего подходит для разработки и внедрения социальных программ. В традиции конфликта с ее интересом к противоборствующим движениям и революционным переворотам есть тенденция сосредотачиваться на злых силах и тех условиях, которые приведут к восстанию против них. Слабость теории конфликта состоит в ее беспомощности в объяснении событий после революции или после взятия власти победоносным социальным движением. Эти теории предполагают, что после того как угнетенные возьмут в свои руки власть, все должно пойти прекрасно. В этом пункте теория конфликта теряет чувство реальности. В своем роде другие направления социологии тоже остаются недостаточно конкретными в отношении социальной теории. Традиция Дюркгейма с ее интересом к условиям

возникновения солидарности и ее идеалов не считает людей способными к производству конкретных социальных результатов. Ее победы – символические и эмоциональные, а не практические. Теории микровзаимодействий с их интересом к изменяющимся когнитивным интерпретациям социальной реальности также не особенно хороши для разработки специфических социальных программ. Они или считают, что каким-то образом должны возникнуть социальные убеждения, которые люди найдут удовлетворительными, или предполагают, что люди живут в своем мирке когнитивно сконструированной реальности, подобно отдельным пузырькам в потоке. Несмотря на все свои поражения, современные рациональные утилитаристы тем не менее находятся в авангарде в своих попытках применить социологическое знание для развития программ, у которых есть реальная возможность быть принятыми и быть успешными.

Это не значит, однако, что теоретическая основа рационально-утилитарной теории обязательно является адекватной для этой задачи. В утилитарной традиции существует постоянная проблема, связанная с мотивацией людей к коллективному действию. Может ли апелляция к одним только интересам дать стимулы людям для принятия великих реформ, будь эта апелляция воплощена в правовые коды Бентама, свободе рынка Адама Смита или в схемах новых правил социальной игры, выдвинутых Роулсом, Бьюкененом или Коулманом? Пока теория будет брать в качестве исходной точки изолированного индивида, преследующего свои собственные интересы, в этих предложениях будет оставаться нечто от попытки вытащить себя из воды за волосы. В качестве альтернативы мы могли бы опять опереться на теорию конфликта, которая предполагает, что люди борются за свои интересы слепо и, разрешая одну проблему, создают новую. Другой альтернативой этому является дюркгеймовская традиция социальной солидарности, объясняющая эмоциональные связи между людьми, которые рационально-утилитарная традиция оставляет без внимания. Сейчас мы обратимся к этой альтернативе.

3. ТРАДИЦИЯ ДЮРКГЕЙМА

Социология не должна быть просто иллюстрацией готовых и обманчивых трюизмов. Она должна приводить к открытиям, которые переворачивают принятые представления.

Эмиль Дюркгейм, 1909

Теперь мы перейдем к центральной традиции в социологии. Эту традицию я называю по имени самого известного ее представителя, Эмиля Дюркгейма. Она представляет собой наиболее оригинальную и своеобразную систему идей в социологии. Традиция конфликта также имеет свой инновационный потенциал. Она возникает в революционном подполье, она разрывает покрывало идеологий. Мир, который она нам приоткрывает, — это мир драмы, конфликта, чреватый социальными взрывами. Тем не менее правда этого мира скорее холодна и пасмурна. Скрытыми реальностями оказываются экономика, мобилизация ресурсов и борьба политических организаций. Это не повседневный мир общих верований, но мир еще более прозаический.

Но та традиция, к которой мы сейчас подходим, — это традиция истинного восторга. Здесь мы снова имеем дело со взаимодействием поверхности явлений и того, что за ней скрывается. Но на этот раз на поверхности оказываются символ и ритуал, а в глубине — нерациональное и бессознательное. Эта идейная традиция сосредотачивается на темах эмоциональных сил, морали, сакрального и религиозного, и провозглашает, что именно эти явления представляют суть всего социального. Дюркгеймианцы ведут нас в джунгли, только этими джунглями являемся мы сами, и из них нет исхода. Бьют тамтамы, нас опутывают лианы и окатывают эмоциональные волны. Это и есть то магическое представление, которое мы называем жизнью.

Одной из причин необычности взглядов Дюркгейма на социальную жизнь было отсутствие в его системе различения между социологией и антропологией. В институциональном плане следует подчеркнуть, что французские университеты меньше, чем прочие, разли-

чали эти две области. Дюркгейм и его последователи использовали термин «этнология» для эмпирического описания первобытных сообществ, «социология» же подразумевала теоретический анализ любых обществ, первобытных или современных. Дюркгейм рассматривал построение социологической науки как коллективное предприятие, и его усилия сконцентрировались на журнале *Année Sociologique*, который осуществлял синтез подходящих исследований каждого года. Содержательной основой этого журнала стали обзоры антропологических исследований, а также обобщающие статьи Дюркгейма, Марселя Мосса, Анри Хюбера, Селестина Бугля и других, написанные в одиночку или в соавторстве. Дюркгейм был особенно заинтересован в индуктивном обобщении законов всех сообществ на основе изучения первобытных и незападных обществ. Необходимость такого подхода диктовалась, во-первых, тем, что, как ему казалось, такие общества проще и в них легче раскрыть «элементарные формы» социальной жизни, и, во-вторых, представлением о том, что они более непосредственно представляют нерациональные чувства и символизм, который составляет

Некоторые отправные точки традиции Дюркгейма

	МАКРОУРОВЕНЬ	МИКРОУРОВЕНЬ
1740–1770	Монтескьё	
1770–1800	Революционные философы	
1800–1830	Сен-Симон	Реакционные защитники религии: де Бональд, де Местр
1830–1860	Позитивизм Конта	
1860–1890	Герберт Спенсер	Психологи толпы
		Классицисты и антропологи: Фрезер, Фюстель де Куланж
1890–1920	Дюркгейм	Антропология ритуалов: Мосс
1920–1960	Функционалисты: Мертон, Парсонс Структурализм Леви-Стросса	Британская социальная антропология: Радклифф-Браун, Ллойд Уарнер
		Кембриджская школа классических религий
1960–1990	Теория культурного капитала Бурдьё	Ритуалы интеракций Гофмана Ритуал и стратификация: Бернштейн, Мэри Даглас, Коллинз Дюркгеймовская социология науки: Хагстром, Блур Социология эмоций: Шефф

основу всех обществ. Сила Дюркгейма и его последователей состояла в том, что они видели современное общество через очки общества первобытного.

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА О СОЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Не то чтобы Дюркгейм умышленно стремился и педалировал экзотику и мистику. Скорее даже наоборот. Он был наиболее научно-ориентированным из всех великих социологов, и антропология играла решающую роль в его науке. Ключ к научному подходу дает метод сравнения, поиски и сопоставление условий, при которых происходит или не происходит какое-то социальное явление. Это суть экспериментального метода в лабораторной науке, и Дюркгейм был самым страстным защитником такого подхода в социологии. Если говорить более точно, научный метод — это поиски серии последовательных причинных обобщений, которые основаны на систематическом сравнении условий, связанных с различными диапазонами результатов. Исследование Дюркгейма *Самоубийство* пользуется особенной популярностью у американских методологов, поскольку с этой работы начинается использование этого метода. Дюркгейм принимает самоубийство за переменную и изучает различную частоту его случаев при разных условиях. Он систематически тестирует альтернативные объяснения и исключает их как менее правдоподобные. Он показывает, что определенные факторы увеличивают склонность к самоубийству: самоубийства чаще случаются среди людей одиноких, женатых, но бездетных, протестантов, чем подтверждает свое объяснение.

Но Дюркгейм не просто интересовался различными факторами, которые могут коррелировать со склонностью к самоубийству или отсутствием таковой. Наличие мужа или жены, детей, принадлежность к религиозной конфессии со значительными элементами ритуала и контроля над индивидом со стороны сообщества (к такого рода религиям принадлежат католицизм или в еще большей степени иудаизм) — это просто различные индикаторы более общей идеи, которую пытался доказать Дюркгейм. Это была идея о том, что социальные структуры высокой интенсивности предотвращают инциденты самоубийства. Дюркгейм был заинтересован в теоретических обобщениях, а не в анализе самих эмпирических индикаторов. Наука и является таким обобщением в контексте многих индикаторов. Синтез различных частей теории не менее важен,

чем метод систематического сравнения. Дюркгейм пытался обнаружить абстрактный скелет, который лежит в основе всех частей общества. Как позже скажет Талкотт Парсонс, его задача не состояла в эмпирической интерпретации: она была чисто аналитической. Дюркгейм считал определенный уровень самоубийств совершенно нормальным для общества, следствием социальной структуры, которая не слишком ограничивает человека. Таким же образом Дюркгейм потряс своих современников, не наделенных его научной отстраненностью, своим аргументом о том, что определенный уровень преступности является нормальным и даже необходимой частью поддержания общества.

Дюркгейм избрал самоубийство в качестве темы для своего исследования, поскольку оно представляло собой противоположный полюс *социальной солидарности*: тот случай, когда социальные границы настолько слабы, что индивид находит жизнь бессмысленной и насильно вырывает себя из нее. Дюркгейм пытался продемонстрировать силу социальных связей. Поскольку при нормальном течении событий эти связи часто принимаются за нечто само собой разумеющееся, необходимо сравнить эти нормальные условия с ситуациями, когда социальные связи рушатся. Поэтому вряд ли стоит критиковать Дюркгейма (как делают некоторые комментаторы) за неспособность объяснить все психологические и индивидуальные факторы, которые заставляют человека кончать жизнь самоубийством в каждом конкретном случае. Дюркгейм вообще не интересовался самоубийством: его интересовали условия, которые приводят к нормальной социальной интеграции. Самоубийство служило просто удобным предметом для сопоставления, негативным экраном, на который можно было спроецировать позитивную сторону дела. Дюркгейм подчеркивал, что те силы, которые удерживают общество как единое целое, невидимы. Мы узнаем о них лишь тогда, когда они разрушаются.

Дюркгейм прибегал к этому методу вновь и вновь. Он интересовался антропологией, потому что она позволяла ему продемонстрировать наличие различных структурных обстоятельств сравнением с современными социальными формами. Он утверждал, что фундаментальное содержание социологии должно быть историческим: только охват больших временных и пространственных промежутков может дать достаточный сравнительный рычаг для того, чтобы различить условия, которые определяют такие масштабные структуры, как вся форма общества в целом. К сожалению, сам Дюркгейм не занимался достаточно сравнением реальных истори-

ческих обществ. Из-за своей веры в линейную эволюцию ему казалось, что он может заменить первобытные общества примерами ранних форм нашего собственного общества. Но это был эмпирический недостаток его работ, а не ошибка его концепции научного метода.

Дюркгейм представляет центральную социологическую традицию не только потому, что он сформулировал ее ключевой метод, но и потому что он превратил социологию в отдельную науку со своими законными обобщениями. Огюст Конт ввел сам термин «социология» и увидел возможность этой науки. Дюркгейм продолжил некоторые из его идей и достиг первых успехов на стезе организации социологии как интеллектуальной дисциплины. Дюркгеймианцы в буквальном смысле представляют «социологическую» традицию, потому что они называют себя этим именем.

Конт говорил, что социология — это «царица наук», подразумевая, что наука об обществе появилась последней, после формирования всех физических и биологических наук. Общество сложнее всего изучать объективно, так как оно ближе всего к нам самим. Поэтому наука начиналась с астрономии, изучающей объекты, которые дальше всего от нас отстоят. Потом пришла физика, а дальше химия и биология, которые все ближе подступали к нам самим. Конт не имел в виду, что законы социологии включают в себя законы тех дисциплин, которые предшествовали ей и оказались ниже в его иерархии. Дюркгейм утверждал, что такая градация была бы невозможной, поскольку каждая дисциплина имеет дело с новым уровнем организации, у которой по праву есть свои собственные структурные законы. Конт подчеркивал, что социология — это наиболее важная наука, так как применение ее выводов позволяет исправить социальное зло и создать совершенное общество. Хотя Дюркгейму были чужды такие утопические представления, он также считал социологию во многом близкой медицинской науке в том, что она сможет выделить те законы, которые позволят отличать здоровые и больные формы социального организма. Этот аспект теории Дюркгейма противоположен теории конфликта. Вместо того, чтобы реалистически понять противодействующие интересы, которые составляют любое реальное общество, Дюркгейм отвергал некоторые из них (те, с которыми он был не согласен) как патологические формы.

Главным и наиболее ценным в долгосрочной перспективе достижением Дюркгейма стала формулировка фундаментального вопроса социологии: что удерживает общество вместе? Позже Пар-

сонс назовет это проблемой социального порядка. Как обычно для Дюркгейма, это не просто философский вопрос, но вполне эмпирический вопрос, который должен решаться методом систематического сравнения. Мы не просто спрашиваем, почему перед нами не хаос, а порядок, но исследуем различные виды и степени социального порядка, ищем их причины и корреляции. Это поиск фундаментальных механизмов или, если обратиться к другой метафоре, того клея, который удерживает элементы вместе. Этот абстрактный вопрос можно разложить на составляющие подвопросы, относящиеся ко всем возможным типам социальных моделей. Этот вопрос объединяет социологию вокруг поиска общей теории, а не простой серии исследований социальных проблем и исторических особенностей. Какие бы специфические механизмы мы не нашли, все они должны относиться к единому фундаментальному механизму, вариантами которого они являются. Дюркгейм не только утверждал, что социология должна искать такой механизм, но и считал, что ему удалось его найти.

ЗАКОН СОЦИАЛЬНОЙ ГРАВИТАЦИИ ДЮРКГЕЙМА

Ключевым объяснительным фактором Дюркгейм считал социальную морфологию, структурное отношение между людьми. Сущностные законы социологии показывают, как вариации в моделях социального взаимодействия определяют вариации в поведении людей и их верования. Все это достаточно конкретно. Общество определяет индивида не как некую неясную абстракцию, но как индивида в некотором структурном отношении к другим индивидам. В этом нет ничего таинственного: под структурой Дюркгейм подразумевает действительную физическую модель — кто находится в чьем присутствии, как долго это происходит и на каком расстоянии. Различия в этой социальной плотности оказывают глубокое воздействие на идеи людей и моральные чувства, а потому также и на их способность к рациональному мышлению, на сделки, самоубийства и вообще на все, что подлежит изучению.

Дюркгейм называл свою социологию физикой или физиологией общества. Фундаментальными факторами в его социологии являются структурные отношения индивидов, а не сами индивиды. Исторические изменения происходят механически, независимо от воли индивидов, по «закону гравитации социального мира». Индивиды постепенно развивают более специализированные социальные роли не потому, что они просто хотят их изобретать,

но из-за роста населения и его миграции в города, а также развития технологий транспорта и коммуникации. Эти два последних изменения в социальной структуре приводят к «прогрессивной концентрации обществ», сокращая пространства между группами и создавая условия для взаимодействия большего количества людей. Заметим, что Дюркгейм ничего не говорит здесь о качестве этих взаимодействий. Большее количество людей, которые чаще взаимодействуют, оказывают сильное воздействие на всех участвующих в этом процессе. Эти вариации *социальной плотности* являются ведущими и определяющими во всех аспектах теории Дюркгейма.

Это происходит как в большом, так и в малом масштабе. Структура всего общества определяется размером его населения, как оно распределяется на своей территории и каковы средства коммуникации, которые задействуются для контактов между людьми. Там, где все эти факторы приводят к низкой социальной плотности, группы существуют как изолированные сегменты с относительно неспециализированными функциями. Можно представить себе группу небольших племен или разбросанные изолированные фермерские сообщества, каждое из которых самодостаточно. Каждая группа должна сама произвести практически все, что ей необходимо, и потому члены этих сообществ не специализированы на чем-то одном и выполняют различные типы задач для себя самих. Там, где существует высокая социальная плотность, структура изменяется в направлении сложного разделения труда. Такая социальная плотность может быть достигнута или за счет перемещения значительного количества людей в города, или за счет интенсификации контактов между физически разбросанными людьми, средствами транспорта и коммуникаций (или за счет обоих этих факторов одновременно). Когда это происходит, социальные роли становятся более специализированными. Индивиды производят только некоторые вещи, которые им нужны, и обмениваются их с другими. Все общество при этом становится более взаимозависимым, а индивиды становятся все более отличными друг от друга.

Эта концепция Дюркгейма только кажется бесконфликтной и благодушной. Он считает, что с ростом социальной плотности соревнование заставляет индивидов искать специализированных ниш. Тон Дюркгейма значительно отличается от Маркса и Энгельса, но здесь они говорят об одном и том же. Дюркгейм просто смотрит на весь этот процесс с гораздо более абстрактной точки зре-

ния и гораздо более отстраненно в плане человеческих последствий этого процесса. Концепция разделения труда была одной из ведущих в экономике Адама Смита, а Маркс также говорил о специализации в контексте конкурентной борьбы (хотя и интерпретировал ее как форму отчуждения, в котором индивид потерял свою способность быть мастером на все руки). Однако Дюркгейм здесь выступает с гораздо более общей идеей по сравнению с Марксом. Даже если капитализм, система частной собственности, будет отвержен, социализм, который придет ему на смену, также будет опираться на свою форму сложного разделения труда под воздействием тех же самых структурных факторов социальной плотности и тех же самых конкурентных усилий к занятию специализированных ниш. Это могут быть специализированные позиции в социалистических бюрократиях или политических партиях, но они будут продолжать существовать (кстати, Макс Вебер высказал сходную идею в своем предсказании социалистической революции в России). Историческая реальность XX века, кажется, подтверждает эту идею Дюркгейма.

Общий аргумент здесь состоит в том, что физические аспекты структуры определяют ее социальные аспекты, а также умственную и моральную стороны общества. Таким образом, сравнивая общества с низкой и высокой социальной плотностью (мелкие первобытные сообщества или изолированные сельские группы со сложными урбанизированными обществами), Дюркгейм подчеркивает, что идеи членов первой группы являются более конкретными: изолированные группы больше сосредотачиваются на конкретных деталях. В своей религии они обычно представляют богов и духов в качестве конкретных людей или животных. История описывается в формах мифов, так как такие группы не располагают способностью к абстрагированию всеобщих причин. С другой стороны, в сложном урбанизированном обществе персонификация общественных и естественных процессов уступает место абстрактным концепциям. Люди говорят здесь об инфляции, балансе платежей или возможностях прорыва в области медицины. Даже в своем понимании религии они приходят к абстрактной концепции Высшего существа, которое больше человеческой личности, а иногда даже к идее чистой морали.

Конечно, Дюркгейм сделал только обобщение высокого порядка. Эти выводы отнюдь не означают, что все люди в современном обществе мыслят одинаково в терминах абстрактных идей. Наиболее вероятными пользователями этих рационалистических и аб-

страктных концепций будут члены специализированных профес- сий и менеджеры крупных бюрократий. Низшие же классы мыслят в категориях конкретных личностей (отсюда культ кинозвезд и дру- гих героев индустрии развлечений вместо древних мифов) и при- держиваются антропоморфной и магической концепции религии. Но эти вариации тоже вполне вписываются в теорию Дюркгейма, если иметь в виду, что не все члены общества в равной степени под- вержены воздействию того, что он называет социальной плотно- стью. Наиболее абстрактные идеи характерны для тех, кто зани- мает наиболее специализированные позиции, связан с контакта- ми на большие расстояния и координирует различные части целого (профессионалы и менеджеры). Низшие классы наиболее локали- зированы в небольших анклавах, составляя то, что Герберт Ганс на- звал небольшими крестьянскими деревнями внутри современного города. Хотя Дюркгейм не упоминает социальных классов, его тео- рия вполне применима для понимания их различий. Она даже те- оретически объясняет тот феномен, на который обратили внима- ние Маркс и Энгельс в обсуждении стратификации средств духов- ного производства: почему крестьяне Франции и Германии могли размышлять о политике только с точки зрения религиозных веро- ваний или грубой современной мифологии национализма и ее во- енных героев. Именно эти изолированные сельские группы выра- батывают конкретное, лишенное абстрактности, сознание как ре- зультат самой своей структуры.

Принцип Дюркгейма, согласно которому физическая плотно- сть общества определяет поведение и идеи, применим как к не- большим группам, так и к обществу в целом. Например, в своем объяснении феномена самоубийства он утверждает, что вероят- ность совершения самоубийства членом группы с более высокой социальной плотностью гораздо ниже. Это происходит потому, что сама социальная структура создает своего рода кокон вокруг индивида, делая его менее индивидуалистичным и в большей степени членом группы. С ростом социальной плотности смысл жизни оказывается ассоциированным с членством в группе, а не с собственными желаниями. Другими словами, локальная соци- альная структура оказывает моральное и эмоциональное воздей- ствие. Там, где эта система ослабляется, возникает возможность самоубийства.

Каким образом формируется такой моральный кокон? Меха- низм его возникновения, считает Дюркгейм, связан с социальным ритуалом. Эти ритуалы наиболее очевидны в религии, но, познако-

мившись с их фундаментальной структурой, их можно обнаружить во всех сферах, включая повседневную жизнь. Ритуал — это момент наивысшей социальной плотности. Чем больше людей принимает в нем участие, тем интенсивнее ритуал. Но он также возвышает статус самого контакта: когда люди совершают одинаковые жесты, скандируют одни и те же песни или делают что-то подобное, то они сосредотачивают свое внимание на одном и том же. Они не просто собираются, но еще и приобретают групповое сознание. В результате определенные идеи начинают представлять саму группу, становясь ее символами. Табуированные объекты первобытных племен, религиозный алтарь, флаг современного политического ритуала — скажем, футбольная команда студентов колледжа — приобретают сакральный смысл, превосходящий повседневное и внушающий уважение.

Дюркгейм называл этот аспект взаимодействия моральной плотностью — нечто, располагающееся поверх физической плотности. Речь тут не просто о количестве людей, но о той степени, в которой они ведут «общую жизнь». Самоубийства можно предотвратить не проживанием в безличном общежитии среди многих других человеческих тел, а за счет жизни в семье или какой-то другой *ритуализированной* группе, которая проходит через периодические формальности, в результате которых сама группа должна оказаться в центре внимания индивида. На ранних этапах карьеры Дюркгейм настаивал, что не идеи определяют социальную структуру, а наоборот. Позже идеи у него стали играть более автономную роль. Скажем, ритуал — это не просто присутствие людей в одном месте, хотя это и является необходимым его условием, но еще и дополнительный ментальный момент сосредоточения внимания на одном и том же предмете. В семьях с определенными религиозными верованиями самоубийство менее вероятно, так как само верование — это своего рода умственное течение, которое проходит сквозь людей и напоминает им о группе.

Тем не менее в этой системе идеи автономны только отчасти. Действительно общество не может существовать без идей. Но эти идеи эффективны потому, что они социальные, поскольку они напоминают индивидам об их членстве в обществе и их привязанностях. Дюркгейм называл их «коллективными репрезентациями». Лучше всего их описывать как заряженные частицы, которые циркулируют среди людей и поселяются на время в их головах, но эти частицы возникают в групповых ритуалах. И дело не в том, что человеческого сознания не существует, но именно в те моменты,

когда люди концентрируют внимание на группе, то есть на ситуациях высокой социальной плотности, которые образуют ритуал, их сознание становится мощным инструментом, направляющим их социальную жизнь. Для того, чтобы общество оказывало влияние на людей, им нет необходимости все время находиться в присутствии других. Идеи несут в себе влияние общества, когда люди находятся в промежутках между своими контактами или когда их контакты достаточно незаметны и не особенно ритуализированы. Символы необходимы для общества, но они вырастают из него самого. Напомним, что в этом нет ничего мистического. Идеи производятся и заряжаются социальной значимостью в определенном времени и месте в присутствии социальных ритуалов. Потом индивиды несут эти идеи с собой, обмениваются ими с другими в разговоре, используют их как руководство в своем мышлении и принимают свои собственные решения, пока они снова не будут привнесены в другие ситуации, которые заряжают эти идеи дальнейшей социальной значимостью. Мы можем представить себе индивидов, которые передвигаются в своем физическом окружении и получают моральный «заряд», когда они оказываются в определенного рода групповых ситуациях, где они фокусируются друг на друге. На формирование каждого человека решающее влияние оказывает то, как долго и как часто он находится в такого рода ситуациях.

Таким образом, модель Дюркгейма дает нам двухуровневый мир. Мы мыслим внутри наших социальных идей, и эти идеи формируют содержание нашего сознания. Мы не видим социальной значимости наших социальных идей, так как она кажется нам само собой разумеющейся. Это стекло, сквозь которое мы видим мир и которое мы даже не замечаем, пока оно не расколется в результате какого-то социального катаклизма. Даже когда это происходит, мы реагируем на это наказанием человека, вызвавшего катаклизм, но не думаем о том, что мы окружены стеклянной стеной. Таким образом, Дюркгейм изображает общество как имеющее сознательный поверхностный уровень и бессознательную структуру, в которой действуют реальные детерминанты. Мы мыслим себя сознательными людьми, хозяевами своей судьбы. Но на самом деле мы получаем рациональность от социальной структуры, в которой мы живем, — структуры, которая заставляет нас мыслить так, а не иначе.

«Бессознательный уровень» в теории Дюркгейма лишен неясностей и таинственности. Это морфология социальной структу-

ры, «социальная физика» физической плотности группы, которая простерлась над ландшафтом. Ее модель во времени — это люди, собирающиеся вместе и расходящиеся в маленьких ритуалах сконцентрированного внимания. Мы находимся внутри этой социальной структуры и определены ею, но мы не замечаем ее, так как мы слишком заняты деталями нашей жизни. Дюркгейм был резким критиком утилитарных концепций психологии и экономики, которые провозглашали, что люди мотивированы рациональным выбором вознаграждений и наказаний, инвестиций и выплат. Люди действительно иногда совершают подобные вещи, но это происходит только на поверхности общества. Как мы увидим, Дюркгейм доказал, что общество не может удерживаться как целое таким образом. Рациональность всегда зиждется на нерациональном основании, из которого она возникает.

В этом пункте Дюркгейм расходится с Марксом и Энгельсом. В целом теоретики конфликта также усматривают в обществе два уровня. Первый уровень — это структура социального конфликта и экономического, политического и организационного господства. Второй уровень — это идеология, которая скрывает глубины нашего сознания и создается материальными средствами умственного производства. Но теоретики конфликта пытаются сбросить покрывало видимостей и обнажить скрытую реальность. Их задачей является создание совершенного государства будущего, в котором не будет идеологий. Но Дюркгейм считает, что такой путь невозможен. Моральные верования необходимы для общества, и раскрытие их оснований не дает ничего хорошего, так как они неизбежно вернуться, только в новой форме. В результате разоблачения некоторые из них окажутся нелегитимными, но на их месте возникнут другие, следуя неизбежным законам социальных структур и ритуальных взаимодействий. Даже социология Дюркгейма остается частью того же самого мира, хотя и дает рефлексивную перспективу его видения.

ДВА КРЫЛА: МАКРОТРАДИЦИЯ

Социология методом *verstehen* применима как к анализу масштабной макроструктуры общества, так и к мелким микроинтерпретациям. Именно это и делает ее центральной традицией социологии. Ни одна из других теорий не обладает такой широтой взгляда. Микроинтеракционистской традиции, которой мы займемся в четвертой главе, нечего сказать о макроструктуре, и она ино-

гда даже отрицает само ее существование. С другой стороны, традиция конфликта занимается в основном макроанализом и рассматривает главным образом масштабные исторические процессы. Конечно, в ней существуют и микроэлементы — Маркс был автором теории отчуждения, а Вебер занимался методом *verstehen*, определяя социологию как субъективное понимание социальных смыслов. Но на самом деле эти идеи не имели большого влияния на микросоциологию. Марксова теория отчуждения никак не связана с анализом взаимодействия лицом к лицу; это чисто философская концепция об отношении индивида к целокупной макроструктуре капитализма. Хотя метод *verstehen*, казалось бы, указывает на микромир, Вебер никогда не использовал его для подобных целей. Он пользовался им для того, чтобы оправдать взгляд на мир с точки зрения протестантской этики и других религиозных мировоззрений. Это действительно субъективный взгляд, но не микровзгляд, поскольку он никак не связан с тем, как люди реагируют на конкретные ситуации. На практике метод *verstehen* означал необходимость попыток понять религиозные и прочие философии людей. Теория ситуаций и их структур, а также теории способов, которыми они определяют человеческие идеи и верования, разработаны Дюркгеймом, но не Вебером.

В традиции Дюркгейма есть два крыла, которые соответствуют макро- и микроуровням. Предшественники Дюркгейма были в большинстве своем макросоциологами: Монтескьё, Конт, Спенсер. Сам Дюркгейм дополнил их микроизмерением в своей теории ритуала (с помощью Фюстеля де Куланжа и других антропологов). Первое крыло дюркгеймианцев оказалось связанным с макроуровневой теорией Дюркгейма, теорией разделения труда и макроструктуры, и развивалось в направлении Талкотта Парсонса и функционалистов. Другое крыло берет свое начало у последователей Дюркгейма в области социальной антропологии, включая его племянника Марсея Мосса, и находит свое применение на микроуровне у таких социологов, как Ирвинг Гофман и Базиль Бернштейн. Как я уже упоминал, эта часть наследия Дюркгейма дает микроуровневое обоснование теории классовых культур. В традиции Дюркгейма также есть аспекты, которые позволяют вновь связать микро- и макроуровни, что особенно очевидно в теориях обмена и альянса Мосса и Клода Леви-Стросса, теории культурного капитала Пьера Бурдьё и моей собственной теории ритуальных цепей взаимодействия. Но сначала мы рассмотрим макро-теории.

МОНТЕСКЬЁ, КОНТ И СПЕНСЕР О СОЦИАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ

Дюркгейм указал на своих предшественников в докторской диссертации 1892 года, где он пишет о вкладе Монтескьё в социологию. Дюркгейм рассматривает *Lesprit des lois* (*Дух законов*, 1748) как начало науки об обществе. Эта работа не представляет историю в качестве галереи деяний великих личностей, а следует фундаментальному научному методу поиска общих закономерностей. Индивидуальные примеры бесконечны, и о них мало что можно сказать. Но их можно свести к ограниченному числу типажей, которые можно сравнивать для понимания причин событий. Заслуга Монтескьё состоит еще и в том, что он первым осознал, что общество важнее государства. Обычно Монтескьё рассматривают как политического философа, первым провозгласившего идею о разделении властей, которая должна предотвратить злоупотребление властью и являющуюся наилучшей для государства. Дюркгейм рассматривал эту идею Монтескьё как более общую.

Монтескьё разделял все государства на два вида: старые греческие и римские республики и современные европейские монархии. Последние признавали разделение властей между аристократией, под контролем которой находились суды и муниципалитеты (это класс, из которого происходил сам Монтескьё), центральной властью короля и духовной властью церкви. Дюркгейм считал, что это разделение на специализированные институты было не просто частью политической структуры, характерной для раннего периода развития современной Европы, но частью общей тенденции всех обществ с развитым разделением труда. Таким образом, Дюркгейм приписывал Монтескьё фундаментальные положения своей собственной работы «Разделение труда в обществе», которую он должен был опубликовать годом позже (1893). Древние республики Монтескьё представляют тот тип, который Дюркгейм назвал «механической солидарностью». Это небольшие общества, разбросанные на большой территории. В каждой группе индивид подчинен обществу. Монтескьё считал, что фундаментальным чувством этого типа общества является стремление к добродетели, подчинение древним священным ритуалам и самопожертвование ради семьи и города. Монархии Монтескьё представляют более современную оконечность континуума, где общества становятся большими, густо заселенными, внутренне социализированными и координированными. Для этих обществ более характерным является чувство чести,

которое идентично дюркгеймовскому духу индивидуализма, стремление к самовозвышению¹.

Дюркгейм считал, что Монтескьё был на верном пути, рассматривая количество населения как первичную причину существующих различий в социальной структуре и доминирующих культурных идеалах. (В своем анализе проблемы самоубийства Дюркгейм отвергает более известное объяснение различий между разными обществами климатическими условиями и считает его не столь значимым.) Поэтому Монтескьё заслуживает титула родоначальника дюркгеймовской социологии, по крайней мере, в глазах самого Дюркгейма, и у нас нет причин ставить это положение под сомнение.

Огюст Конт был «официальным» основателем социологии. Он сформулировал идею общества как независимой системы, аналогичной биологическому организму, но несводимой к законам биологии. Конт также ввел в социологию динамический элемент, который отсутствовал у Монтескьё. Если Монтескьё сравнивал различные типы обществ, так сказать, горизонтально, то Конт выстраивал их в соответствии с эволюционными стадиями развития. Конт также был первым мыслителем, который занял чисто научную позицию в отношении изучения общества и выведения его законов.

¹ Монтескьё также говорил и о третьем типе общества, восточном деспотизме.

Подобно европейским монархиям, это общество большое и плотное, но в нем отсутствуют внутреннее разделение властей и свобода индивида. У Монтескьё не было подходящих объяснений причин возникновения такого рода обществ, и он использовал этот пример только для того, чтобы предостеречь от перерождения европейских монархий в формы деспотии и их превращения в восточный тип государства. Дюркгейм также не мог объяснить его и просто обозначил его как патологический тип. Нормальным для крупных и плотных сообществ, с его точки зрения, был органический тип солидарности и разделения труда. На протяжении своей жизни Дюркгейм постоянно ставил эту проблему. Согласно его модели современные дифференцированные общества должны быть здоровыми, хорошо интегрированными и должны поддерживать индивидуализм. Поэтому он рассматривал капиталистическую классовую борьбу как форму патологии. Тенденции к деспотизму также рассматривались как патологические. Таков, несомненно, был бы вердикт Дюркгейма относительно фашистских режимов, которые возникли через несколько десятилетий после его смерти. В целом традиции Дюркгейма всегда сложно было иметь дело с конфликтом и господством как с нормальными и вездесущими характеристиками общества.

Дюркгейм не принимал идею Конта о том, что он завершил построение социологии и что эту науку можно свести к «закону трех стадий развития». Этот закон предполагал прохождение обществом трех стадий – военной, юридической и индустриальной, которым соответствовали различные типы верований (религия, метафизика и наука) и формы моральных привязанностей (семья, государство, человечество). Дюркгейм считал, что Конт здесь провозглашает чисто утопическую доктрину. Конт только указал путь к построению социологической науки, но работу по ее построению еще только предстоит совершить.

Герберт Спенсер считается последователем Конта, который освободил социологию от его религиозных претензий и придал ей более серьезное содержание. Дюркгейм соглашался с ним: фактически его модель обществ, движущихся от разрозненных сегментов к целостному разделению труда, практически заимствована у Спенсера. Но Спенсер только собирал факты для иллюстрации философского принципа. В самом начале своей системы он провозгласил свой общий принцип, согласно которому все развивается из состояния схожих хаотических частиц к дифференцированной взаимозависимости. Спенсер применял этот принцип к эволюции мира и биологических организмов, а также к человеческим сообществам. Дюркгейм же хотел, чтобы принципы устанавливались в процессе эмпирических сопоставлений и указывали на каузальные условия, вызывающие различные результаты.

У Дюркгейма были и более глубокие возражения против позиции Спенсера. Последнему казалось, что общество сходно с организмом в плане дифференциации его функций, но у него это было только аналогией. Здесь между ними не было расхождений. Но Дюркгейм считал общество психическим единством (сначала он называл это «коллективной совестью», а позже – «коллективными репрезентациями») или потоками идей и эмоций, которые возникают в человеческих взаимодействиях и ограничивают индивидов извне. В этом пункте Спенсер был методологическим индивидуалистом. Он утверждал, что общество не обладает централизованным сознанием (в отличие от организма) и что такое сознание присуще только индивидам. Индивиды следуют своим рациональным интересам и формируют общество за счет договорных обменов друг с другом. В этом отношении Спенсер был типичным для XIX века либералом британского образца. Он рассматривал в качестве наилучшего общества, построенное на индивидуальной свободе и открытом капиталистическом рынке. Ему также

казались предпочтительными те общества, которые двигались от низших форм насильственной регуляции к контрактной системе *laissez-faire*.

В этом смысле система Спенсера казалась Дюркгейму наивной с чисто научной точки зрения и искаженной его политическими предубеждениями. Не только в том плане, что у каждой структуры есть свои законы, независимые от решений и мнений индивидов. В еще более фундаментальном смысле индивидуальный выбор не может удерживать общество вместе. Следование интересам рациональных индивидов может привести к войне всех против всех. Спенсер придерживался более благообразных взглядов: он рассматривал современное общество как результат соревнования на рынке, которое исходит из никем не навязываемых контрактов. Но с точки зрения Дюркгейма, общество не может строиться на контактах до тех пор, пока между индивидами не возникнут отношения доверия в отношении контрактов, поскольку в противном случае преимущество всегда будет оставаться на стороне людей, которые обманывают. Договорное общество утилитаристов является мифом и может существовать только на основе преддоговорной солидарности. Дюркгейм пытался показать, как различные формы социальной структуры создают эти неиндивидуалистические моральные чувства.

Одним из орудий его критики стал сравнительно-исторический анализ, проведенный Дюркгеймом в «Разделении труда в обществе». Другим было его исследование самоубийства, основанное на сравнении их статистического уровня в различных группах. Этот материал позволял показать, как интенсивность структуры группы влияла на индивида. Эти данные также показывали, во всяком случае, с точки зрения Дюркгейма, существование на индивидуальной структуре, так как статистические показатели были неизменными для всей группы в течение длительных отрезков времени. Так рождаемость из года в год остается постоянной, хотя она связана с участием различных индивидов. То же самое относится к самоубийствам и другим феноменам. Таким образом, Дюркгейм стал основоположником статистической социологии, хотя она и не обрела стабильности и постоянства до возникновения американских институтов исследовательских опросов в 1940-е годы².

² Теория социологической статистики начинается с бельгийского астронома Адольфа Кетле. В 1830-х годах он собрал некоторые фрагменты статистических данных, которыми в дальнейшем воспользовался Дюркгейм. Кетле счи-

После смерти Дюркгейма в 1917 году его социология раскололась на два направления. Британские и французские антропологи занялись ее микронаправлением и через одно поколение занесли его в США. Его макросоциология была востребована немедленно. В 1950-х годах его «Самоубийство» было представлено как методический эталон статистической социологии. Наиболее видными поборниками социологии Дюркгейма стали, однако, теоретики функционализма Роберт Мертон и Талкотт Парсонс.

МЕРТОН, ПАРСОНС И ФУНКЦИОНАЛИЗМ

Роберт Мертон формализовал функциональный метод: на любой социальный институт нужно смотреть с точки зрения того, что он дает в плане сохранения существующего социального порядка. Дюркгейм превратил социологию в двухуровневое исследование, которое показывает, как внешняя сторона наших верований и дей-

тал, что поскольку статистические показатели были постоянными из года в год, то должны существовать социальные законы, которые их вызывают. Но Кетле не смог прийти к законам, которые определяют статистические модели. Дюркгейм считал, что он добился этого применением сравнительного метода, которым пренебрег Кетле. Интересно отметить, что Дюркгейм получал многие из своих статистических данных от статистического управления французского правительства, который возглавлял Габриэль Тард. Тард был главным оппонентом Дюркгейма в социологической теории своего времени. Страстный поборник индивидуалистического редукционизма, он настаивал, что общество представляет собой собрание индивидов. С точки зрения Тарда, унифицированность статистики может быть объяснена психологическим процессом имитации, когда одни индивиды следуют примеру других. Дюркгейму было несложно опровергнуть такой взгляд, как наивную форму психологии, отнюдь не объясняющей, откуда вообще берутся действия, которые другие должны имитировать. Эта психология также ничего не говорит о том, кто и кого имитирует, когда это происходит, а когда нет. Модель социального ритуала Дюркгейма оставляет место для имитации, когда такая имитация имеет место — он уточняет, что верования заразительны, *когда* индивиды сосредоточены на одном и том же и разделяют общие эмоции с группой. Заметим, что статистика предполагает диаметрально противоположные интерпретации: показатели индивидуальных процессов *или* указания независимости социальных структур. О статистике как о *теоретической*, а не методологической проблеме в социологии в целом см. мою работу «Mathematics Versus Worlds», in *Sociological Theory 1984* (San Francisco: Jossey-Bass, 1984).

ствий, определяются подлежащей структурной основой. Мертон интерпретировал структурные основания как тенденцию общества к самоподдержанию. Существуют *явные функции*, то есть результаты, которых люди сознательно пытаются достичь, и *латентные функции*, которые производятся действием самой социальной системы. Например, коррумпированное политиканство партийной машины (machine politics) американских городов не поддавалась никаким усилиям реформаторов к чистке, поскольку у нее были определенные имплицитные функции с точки зрения обычных людей, которые получали гораздо больше пользы от такой партийной машины, чем от официальной бюрократии, которую поддерживали реформаторы. Тот же самый анализ можно отнести и к любому другому институту — если институт существует, у него должна быть определенная функция, которую должен обнаружить социолог.

В определенный период времени такой тип анализа был очень привлекателен, особенно в 1950-е годы. Он создавал стимулы для социологов к тому, чтобы смотреть на подоплеку событий. Иногда, как, например, в случае мертоновского анализа политической «машины», такой анализ указывает, что официальный взгляд на «социальные проблемы» представляет собой только перспективу одной группы, но при этом остальные участники извлекают пользу из такой ситуации. Но функционалистская терминология не позволяет развить эту идею. Вместо того чтобы признать, что «партийная машина» крупных городов включает в себя борьбу между социальными классами и группами с различными интересами, эта терминология отвлекает внимание от структуры конфликта и переводит разговор на абстрактные суждения о том, что у каждого института есть своя «латентная функция». Разумеется, в этом смысле для всего всегда найдется своя функция. Но разговор о функциях и поддержании социального порядка будет уводить от сути дела, если мы на нем остановимся. Каждая специфическая структура или организация служит не функциям всего общества, так как каждая группа располагает своей версией социального порядка, который она пытается удержать. В этом смысле функционализм Мертона только пытается затемнить ясность картины, предложенной теоретиками конфликта. Например, Кингсли Дэвис и Уилберт Мур утверждали в своей известной функционалистской теории (1945), что стратификация и неравенство являются просто механизмами, которые обеспечивают оптимальную социальную эффективность, позволяя назначать наиболее квалифицированных людей на наиболее важные места.

Мертон и его последователи в некоторых случаях должны были признать, что отнюдь не все и не всегда движется к лучшему для всех результату. Для этого они ввели термин «дисфункция», который употреблялся наряду с «функцией». К сожалению, эта терминология не так много нам дала. Давая оценочную характеристику функции и признавая, что явления могут быть хорошими или плохими, этот прием упускает из вида центральную идею Дюркгейма о том, что социология должна показывать условия, при которых структуры порождают одно явление вместо другого. Раздача функциональных ярлыков всем окружающим явлениям отнюдь не отвечает на вопрос, почему определенные структуры обслуживают одни, а не иные функции. Поборники функционализма обычно утверждают, что на этот вопрос можно ответить в рамках их концептуальной схемы на основе анализа оснований «функциональных альтернатив». К сожалению, такой анализ остался по большей части пустым обещанием, так как подобных сопоставлений практически никогда не проводилось. Как мы уже видели, сравнительные подходы практиковались главным образом социологами конфликта. Даже в своих лучших проявлениях функциональный метод остается слишком туманным для того, чтобы идти дальше руководств к поискам объяснений. В реальной практике его приверженцы во всех ситуациях, где это было возможно, выступали с наиболее благообразными интерпретациями социальных институтов. Их социология науки претендует на открытие идеального инструмента для достижения истины, который корректирует сам себя. Их социология профессий принимает альтруистические утверждения за чистую монету вместо того, чтобы рассматривать их как идеологию, служащую интересам монополистических групп. Поэтому неудивительно, что после того, как политические настроения стали менее консервативными в 1950-е годы, функционализм потерял свою популярность.

Талкотт Парсонс предложил свою макротеорию вместо мертоновской теории «среднего диапазона». Ключевой сущностью для Парсонса всегда выступала социальная система как единое целое, и он занимался бесконечной категоризацией ее различных разделов и подразделов. В его работах было множество графиков, которые делили таблицы на ячейки и соединяли их стрелками, показывающими различные функциональные взаимозависимости. Парсонс придерживался дюркгеймовской концепции общества, но его метод был ближе к тем, кого Дюркгейм критиковал. Парсонс не выяснял причин явлений, а занимался только предварительной раз-

работкой концептуальной схемы. В результате он давал только описание общества на очень абстрактном уровне, но не объяснял его. В этом он был похож на немецкого современника Дюркгейма Альберта Шеффеля, который писал целые тома, заполненные информацией о различных обществах в категориях соотношения частей «тела» в большом «социальном организме». Парсонс рассуждал гораздо более абстрактно по сравнению с Шеффелем и другими социологами XIX века. Он говорил о «достижении цели», «поддержании модели» и других функциях, обращаясь к гораздо более красочным метафорам, например, рассуждая о нервах и мозге общества и тому подобном. В этом отношении Парсонс был близок к формальным социологам типа Зиммеля и другим американским теоретикам 1930-х годов, например, Роберту МакАйверу, который также разработал целую терминологическую номенклатуру для классификации всех аспектов общества.

В той мере, в которой у системы Парсонса было некоторое содержание помимо его идеи гигантской сети для категоризации явлений, ее можно назвать макроуровневой теорией. Общества Парсонса нестатичны, и его долгосрочное историческое видение является наиболее динамичным аспектом его системы. Следуя Дюркгейму, Парсонс утверждал, что люди не могут удерживаться вместе чисто рациональным путем. Под этим он подразумевал, что у общества в целом есть система ценностей, которая внушена индивидам. (Различные структуры имеют своей задачей осуществление этой ценностной социализации: сначала семья, потом церковь и потом система образования.) С точки зрения Парсонса, в основе исторических изменений лежат изменения фундаментальных ценностей. Точный механизм такого перехода не совсем понятен: это то ли вытаскивание себя за волосы, то ли результат божественного вмешательства.

Если говорить более конкретно, Парсонс использовал сравнительный анализ религий Вебера для демонстрации того, что история движется через смену различных религиозных мировоззрений. Сначала существовали первобытные общества с их партикулярными символическими системами, которые закрепляли традиционную рутину. Затем произошел крутой поворот в сторону «мировых религий», которые отделили богов от мира и поместили духовные силы в некое трансцендентное царство, которое они называли Небом, Нирваной или как-то иначе. Это трансцендентное царство стало рычагом для концентрации человеческих стремлений и дало возможность людям преобразить свой мир в нечто иное. Парсонс

трактовал Вебера в том смысле, что христианство дало гораздо более серьезный рычаг для этих целей по сравнению с буддизмом, индуизмом, конфуцианством, даосизмом и исламом, которые поддерживали существующий социальный порядок, не изменяя его. Поэтому только христианство, особенно в своей наиболее активной форме протестантизма, выработало ценностную систему, которая создала современный мир.

В некотором смысле объяснение исторического изменения, предложенное Парсонсом, – это гигантская версия веберовской «Протестантской этики и духа капитализма», переложенная на мотив дюркгеймовской макротеории общества. Этот аспект теории Парсонса стал его наиболее долгосрочным вкладом. Это не означает, что такой взгляд оказался правильным, но он привлек значительное внимание за последние несколько лет, особенно в Германии, где такие теоретики, как Вольфганг Шлюхтер и Юрген Хабермас, пытались взглянуть на историю как долгосрочную эволюцию человеческой рациональности. Нужно, однако, иметь в виду, что эта интерпретация опирается на наиболее идеалистические аспекты теории Вебера и игнорирует модель конфликта. Сходным образом Парсонс заимствует у Дюркгейма только наиболее функционалистские и моралистические аспекты его теории. Дюркгейм рассматривал себя главным образом как ученого, формулирующего законы, благодаря которым материальные структуры человеческого взаимодействия порождают определенные идеи и эмоции, которые в свою очередь циркулируют в системе. Ему бы не импониовали парсоновские попытки показать, что история движима определенными религиозными идеями, которые в определенные периоды таинственно возникают на сцене. Дюркгейм объяснял религию ритуальными взаимодействиями, которые порождают определенные идеалы, а не наоборот. Теория Дюркгейма поэтому гораздо лучше совместима с материалистической теорией, которая сосредоточена на социальном конфликте и физических изменениях в модели социального взаимодействия, чем с моделью стадий, движимых идеями, как это получается у Парсонса.

Как Дюркгейм, так и Парсонс с Мертоном, пытались или игнорировать, или преуменьшать роль конфликта и доминации в обществе. Все они придерживались благодушного взгляда на мир, в котором конфликт играет подчиненную роль, а принуждение трактовалось или как нечто, служащее благу всего общества, или как временное патологическое состояние. Парсонс, например, высказал кое-какие проницательные мысли о нацистской Германии,

но он рассматривал ее как aberrацию уходящей стадии, как страну, которая пыталась модернизировать свою традиционную основу слишком быстро, чем и спровоцировало массовые психологические реакции на напряжения перемен. С точки зрения Парсонса, все общества, в конечном счете, движутся к демократии, так как она представляет собой наиболее развитую «функционально дифференцированную» фазу развития. К сожалению, в этом он принимал желаемое за действительное. В целом Парсонс и его сторонники пытались рассматривать всякое социальное недовольство или восстание как временное напряжение, связанное с социальными изменениями. Уинстон Уайт считал, что протесты по поводу конформизма и потребительства 1950-х годов были вызваны простым непониманием того факта, что американское общество становится более функционально дифференцированным. Этот процесс вызвал рост социальной эффективности во всех сферах: семья и специализированные социальные группы могли лучше выполнять свои задачи, например, проводить социализацию и воспитание ценностей («конформизм»), а также производить большее количество товаров и предоставлять больше времени на их потребление («потребительство»). Несколько позже Парсонс будет рассматривать протесты студентов в 1960-е годы как временный ответ на дальнейший подъем специализированного образования. Более дифференцированное общество требовало более длительного образования, что создавало временное напряжение, так как людям надо было приспособиться к новым концепциям детства и взрослости.

Можно заметить, что все это представляло собой разновидности консервативной идеологии: все, что происходит, или к лучшему, или является временной стадией на пути к долговременному улучшению. В последние годы связь и обоснование этой консервативной идеологии идеями Дюркгейма сделало ее гораздо менее популярной по сравнению с теориями конфликта и микровзаимодействий. Тем не менее я хотел бы показать, что традиция Дюркгейма отнюдь не исчерпывается этой макротеорией с ее имплицитным консерватизмом и отсутствием реальных каузальных объяснений. Хотя Парсонс и Мертон пытались рассматривать только наиболее благоприятные образы социальных институтов, сам Дюркгейм был вполне в состоянии объяснить происхождение идеологий. Его микросоциология ритуалов объясняет механизм, благодаря которому социальная группа (а не какое-то развоплощенное общество как целое) порождает религиозные и прочие верования, которые дают легитимность их практикам. Общество Дюркгейма подобно арене,

на которой доктора-колдуны практикуют свою магию на сознании людей, а не обществу альтруистических профессий и общественных служащих, которое любили изображать функционалисты. Теория ритуалов и символов Дюркгейма гораздо более способствует реалистическому объяснению инфляции образовательных критериев, которое было характерно для студенческого разочарования образовательной системой в 1960–1970-е годы, и того цинизма, который сопровождал инфляцию оценок в 1980-е годы, чем функционалистская идеология Парсонса.

ВТОРОЕ КРЫЛО: НАСЛЕДИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Идеи Дюркгейма были особенно эффективны применительно не столько к анализу структуры всего общества, сколько к конкретным групповым практикам. Именно этот аспект теории Дюркгейма оказал наибольшее влияние на социальную антропологию и привел к возникновению целой британской школы, известной под этим именем, которую возглавил А.Р. Радклифф-Браун. Это были *социальные* антропологи в противоположность немцам и американцам, которые занимались описанием культуры, или физическим антропологам, которые занимались измерением и классификацией человеческих рас. Дюркгейм поддержал их концепцию о первичной роли социальной структуры, а его теория ритуалов дала социальным антропологам метод объяснения того, чем определяются идеи и практики. Наследие Дюркгейма еще более очевидно во французской антропологии, которую после смерти Дюркгейма возглавил его племянник Марсель Мосс и традицию которой продолжил Клод Леви-Стросс.

Антропология возникла до Дюркгейма, но она выкристаллизовалась в отдельную дисциплину и получила теоретическое обоснование только в его время. Поскольку объяснительная теория лучше всего работает на сравнениях, неудивительно, что первые антропологи были скорее библиотечными работниками, чем полевыми исследователями. Последние занимались в основном собиранием фактов по всему миру, но были мало склонны к их анализу. Теоретический импульс этим исследованиям дали ученые-классики и историки, которые по-новому взглянули на древнегреческие и древнеримские мифы и сравнили их с параллельными им примерами из мифов первобытных племен Африки, обеих Америк и южных морей. Если до этого европейцы смотрели на греков через призму алебастровых статуй и философов чистой рациональности, то уче-

ные, подобные Джеймсу Фрезеру, Д.Д. Бахофену, Фридриху Ницше и Джейн Харрисон (последняя из них появилась несколько позже и находилась под влиянием Дюркгейма), уже рассматривали их как особое племя с его особыми ритуалами. Теперь можно было видеть, в какой степени древние цивилизации опирались не только на числительную рациональность, но и на ритуал и религию.

В этом отношении антропологи вкладывали мощное оружие в руки возникающей социологической традиции. Претензия общества на приоритет над индивидом принимает форму моральных сантиментов: сильные дорациональные привязанности к религии, семье и обществу в целом. Значимость веры и верности подчеркивается у Конта, особенно на поздней стадии его творчества, когда его «Позитивная (то есть научная) философия» превратилась в культ Человечества, а сам Конт — в его Первосвященника. Это также было главной темой для Луиса де Бональда и Жозефа де Местра, реакционных аристократов, творивших в 1820-е годы. Их антиреволюционная полемика вылилась в охранительную идеологию установленной церкви. Дюркгейм превратил эти идеологические установки в теорию возникновения дорациональной солидарности: механизм ритуала, который находит наиболее яркое выражение в религии, но по законам экстраполяции лежит также в основе других форм социальной жизни³.

ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖ И РИТУАЛЬНАЯ КЛАССОВАЯ БОРЬБА

С этой точки зрения, интересно взглянуть на одного из наиболее недооцененных предшественников Дюркгейма. Это был его учитель в Высшей нормальной школе, историк Нума Фюстель де Куланж. В своих грандиозных работах по Греции и Риму Фюстель по-

³ В этом пункте интересно сравнить Маркса и Конта, которые были более или менее современниками. Оба вращались в идейной среде, которая бросала вызов сильной церкви. Маркс в результате стал рассматривать религию как идеологию. Эта тема была для него настолько важна, что в большей части своих ранних работ он полемизирует с младогегельянцами, которые пытались создать либерализованную форму христианства. Бруно Бауэр, учитель Маркса, написал известную книгу «Сущность христианства» (1841), над которой Маркс и Энгельс потешались в «Святом семействе» (1844). В 1846 году в «Немецкой идеологии» Маркс продолжал сатирически описывать своих религиозно-настроенных соотечественников, называя их «святым Бруно», «святым Максом» и тому подобными именами. Напротив, Конт считал

казал в деталях, как религиозные ритуалы могут сформировать все общество. Говоря о том, что общество является религиозным феноменом, Дюркгейм вел речь отнюдь не о метафорах. Он имел в виду анализ, проведенный Фюстелем в его «Древнем городе» (1864). Фюстель показал, что религия лежала в основе социальных институтов — от семьи и частной собственности до войны и политики. Он также считал, что процесс социального изменения имеет своим источником трансформацию природы религии. Хотя Фюстель и провозгласил историю наукой, а не искусством, он не был социологом в смысле Дюркгейма, который поднял его идеи до уровня абстрактных обобщений. В своей модели Дюркгейм «поставил Фюстеля на голову», объясняя религиозные идеи структурой общества, а не наоборот. В то же время Фюстель де Куланж заслуживает внимания не только с точки зрения интеллектуальной истории. Дюркгейм только отчасти задействовал потенции его анализа, заимствовав у него элементы теории социальной солидарности и проигнорировав его теорию конфликта, которая играла не менее важную роль в «Древнем городе». Фюстель заслуживает более почетного места в родословной дюркгеймовской традиции центральных идей в социологии. Более чем кому бы то ни было ему принадлежит заслуга демонстрации того, что ритуальная солидарность вполне совместима с моделью конфликта. Более того, солидарность сама может быть основой классовой борьбы.

«Древний город» Фюстеля показывает нам общество, которое первоначально возникает как религиозный культ. На основе ссылок в классических текстах он реконструировал древнейшую религию греков и римлян, которая, как он считал, была идентичной с религией арийских завоевателей Индии в ведический период. В центре внимания этой религии был культ семейного огня. Очаг был

религию не столько врагом и иллюзией, сколько индикатором места тех моральных сантиментов, которые лежат в основе социального порядка. Старые религии сверхъестественного принадлежат у него к ранней стадии эволюции. Некоторые современные комментаторы, например, Роберт Нисбет, утверждали, что у социологии консервативные истоки, так как идеи Конта, которые в свою очередь отталкивались от идей реакционеров в духе де Местра, легли в основу социологии Дюркгейма. Но де Местр вообще не был социологом: он настаивал на вере в сверхъестественное, а не на его анализе. Конт и Дюркгейм рассматривали идею морального порядка и сделали ее предметом своего научного анализа. При этом они отделили ее от консервативных импликаций и даже придали ей либеральную форму.

первоначальным алтарем. Главные церемонии происходили в тот момент, когда семья собиралась для принятия пищи, что сопровождалось жертвоприношениями, молитвами и гимнами. Этот церемониал включал в себя все социальные элементы, которые Дюркгейм впоследствии назовет ритуалом: присутствие группы лицом к лицу, общий центр внимания и общие эмоции, действия, лишённые практического содержания и осуществляемые для символических целей. Успешная церемония, как и у Дюркгейма, конституирует группу и даёт ей моральное единство. У каждой семьи есть свой ритуал. Допущение человека к домашним ритуалам превращало его в члена семьи⁴. Аутсайдеры исключались, и, таким образом, ритуал резко проводил границу между группой и внешним миром. Ритуал также представлял внутренний авторитет: власть семейного патриарха была связана с его ролью семейного священника, и только он мог быть распорядителем ритуалов.

Город также был основан на ритуалах. Изначально греческие и латинские города были коалициями различных семейств. Только патриархи были гражданами, так как только они представляли семью окружающему миру. Но сама эта коалиция могла сформироваться только как культ. Таким образом, каждый город формировался вокруг храма, культового центра в честь бога или богини (как Афина в Афинах) и героического первопредка (Ромула в Риме или Тезея в Фивах). Археологические исследования подтвердили, что изначальные храмы были построены в форме поселения с очагом, домом богов и духов предков. Сначала граждане селились за пределами городских стен и приходили туда только на политические и религиозные ассамблеи или с целью военной обороны.

Первые гражданские чиновники сами были священниками гражданского культа. Первые цари были на самом деле церемониальными вождями. Ритуал был основой политики. Позже разразилась борьба социальных «классов», между теми, кто получил привилегии религиозного (а значит, и политического) участия, и теми, кто был из них исключён. Только граждане в полном смысле имели юридические права, так как только они могли предстать перед религиозными чиновниками, которые были судьями. Религия была не толь-

⁴ Фюстель считал, что истоки домашнего культа были связаны с почитанием умерших предков. Он утверждал, что очаг строился над мощами основателя семьи. Поэтому ещё в христианские времена семьи собирались на траурную тризну на самой могиле. (См. *Peter Brown, Society and the Holy in Late Antiquity*. Berkeley: University of California Press, 1982). Эта теория позволила Фюстелю

ко основой права, но и источником установления форм юридических наказаний. Самым страшным наказанием было изгнание, так как это означало исключение из культовой жизни. Только культ гарантировал права собственности и физическую защиту. Поэтому изгнанник считался социальным преступником и бесправным человеком. Даже война, главное занятие древнего государства, велась ритуальным образом. Армия собиралась под религиозными знаменами и с общими жертвоприношениями и шла в бой церемониально, выкрикивая имена богов и под звук военных маршей. Война между двумя городами считалась войной между их богами. Поэтому мир мог быть достигнут только альянсом на религиозном уровне: культ иноземного бога мог быть установлен в каждом из союзных городов. Это автоматически придавало империалистический характер древним альянсам: союз городов не мог ограничиваться чисто внешней кооперацией партнеров. Эти города были связаны торжественным участием в общих ритуалах. Римляне были известны приглашением в культ богов тех городов, которые они собирались захватить, обещая что их будут почитать в Риме.

В древности ведение войны характеризовалось беспощадностью к жертвам. У побежденных не было прав, и они и их семьи могли быть уничтожены или проданы в рабство без всяких моральных угрызений. Это происходило потому, что границы морали устанавливались самой религией. Только те, кто участвовал в гражданском культе, имели моральные (и юридические) обязательства по отношению друг к другу. Сходным образом семейный культ устанавливал моральные барьеры для аутсайдеров, которые допускали беспощадное отношение к себе, хотя существовали строгие обязательства в отношении членов семьи⁵. Ритуальное сообщество служило основой морали, и этот момент особенно заострен у Дюркгейма.

⁵ Картина, которую рисует Фюстель в отношении древней морали — и Дюркгейм принял ее в свою сравнительную социологию, — кажется преувеличенно негативной. Действительно, различные города были беспощадны друг к другу в период войн. Также верно, что культы, основанные на родстве, устанавливали моральные барьеры в отношении чужаков, которые не препятствовали развитию капиталистической рыночной экономики, на что обращал внимание Макс Вебер. Но было бы преувеличением сказать, что у изгнанников не было никаких прав. По крайней мере, в 400-х годах до н.э. политический изгнанник, например, Фукидид, мог уйти на покой в своем поместье в какой-то другой части Греции и жить спокойной и благополучной жизнью. Точно так же уже в архаический период, видимо, существовала особая мораль

Структура, которую представляет Фюстель, описывает то, что Дюркгейм называл «механической солидарностью», небольшое недифференцированное общество с его местнической и репрессивной коллективной совестью. При этих условиях моральные верования были в высшей степени конкретными, а не абстрактными и общими. Формальности правильного соблюдения ритуала были важнее субъективных верований. Нужно было следовать всем ритуалам буквально, чтобы гарантировать их последствия. Судебный процесс мог быть проигран из-за неправильного цитирования юридической формулы, а не по сути дела. Правильная форма жертвоприношения была важнее, чем позиция его исполнителя в религиозном служении. Позже Дюркгейм опишет эволюцию общества от этой конкретной совести и местной морали к универсальной морали общества с развитым разделением труда. Фюстель предвосхищает эту тему моральной универсализации. Он приписывал ее христианству, которое возникло в древнем мире в качестве силы, которая разрушает изоляцию семей и городов, хотя ее можно различить и гораздо раньше в культе Зевса, бога справедливости и защитника чужаков.

Религия не только устанавливала фундаментальные социальные деления, но также политику и нравственность. Она также формировала экономику. По мнению Фюстеля, собственность имела своим источником уважение к пограничным камням, освященным религиозной значимостью. Как уже было показано (см. сноску 4), современная наука не приняла утверждений Фюстеля, согласно которым в основе этой практики лежало погребение предков в соб-

в отношении чужаков в виде этики гостеприимства. Гостей приглашали в дом (хотя и не делали их частью домашних ритуалов), и они получали дары, которые связывали их с дарителями ожиданием взаимности. Такие надсемейные альянсы доброй воли поощрялись религиозными верованиями: например, существовало верование, что Зевс защищает чужаков. Такое отношение мы встречаем и во многих других мифах, где бог или богиня являются в облике бедного странника, объекта благотворительности. В то же время Фюстель довольно точно описал бессердечность и жестокость в отношении неудачника, которые были характерны для Древней Греции. Марсель Мосс, наследник традиций Дюркгейма и Фюстеля в следующем поколении, дополнил эту картину отсутствовавшим в ней элементом, показывая, как взаимный обмен дарами между группами устанавливает социальные узы на ритуальной основе, но узы другого типа. Теория родства Леви-Стросса даже представила эту структуру обмена в качестве основы племенного общества в целом.

ственном доме. Вероятно, идея обращения к культу предков как претензия на собственность возникла позже. Но собственность действительно была связана с культовой системой. Культовые центры были главной основой экономики за пределами самодостаточных домашних хозяйств. Именно здесь возникли первые анклавные богатства в форме даров богам. Первые деньги, то есть социально санкционированные и стандартизированные единицы ценности, а позже и обмена, развились из церемониальных треножников, которые были посвящены храмам. Позже храмы стали первыми банками, местами для сохранения ценностей и потому центрами ростовщичества. Когда Иисус выгонял денежных менял из иерусалимского храма, он пытался положить конец связи между религией и деньгами, которая уходила своими корнями к истокам денежного обращения.

Дюркгейм должен был обобщить все эти моменты в абстрактную социологическую теорию, направленную против утилитаристов, подобных Спенсеру, которые рассматривали экономический обмен в качестве основы общества. Дюркгейм воспринял от Фюстеля его идею о том, что первичные экономические институты были изначально моральными и религиозными. Его трактовка политики, однако, упускала из вида уроки Фюстеля. Фюстель посвятил немало страниц своего труда череде революций, которые имели место в древних городах-государствах. На ранних этапах своей жизни Маркс почерпнул немало сведений о классовом конфликте из его исследований классической античности, и сам его термин «пролетариат» происходит от лишенного прав класса в Риме. С точки зрения Фюстеля, политика тесно связана с ритуалом. Таким образом, Фюстель открывает путь для построения того концептуального элемента, который до сих пор отсутствует в традиции Дюркгейма, — теории ритуала как основы конфликта.

Теория Фюстеля уже неявно предполагает, что ритуал — это орудие господства. Он составляет основу авторитета главы семьи. Позже в коалиции, которая составляет город, гражданский культ был организационным средством, с помощью которого аристократия могла монополизировать политическую власть. Можно даже говорить о ритуале как о «средстве эмоционального производства», параллельном «средствам ментального производства» Маркса и Энгельса, которые обеспечивали господство в сфере идей. Фюстель также дает полезную корректировку функционалистского убеждения о том, что ритуальная солидарность уничтожает или, по крайней мере, значительно ослабляет конфликт. Если ритуал действи-

тельно является орудием, которое приводит к господству, то в то же самое время он расчленяет общество на класс тех, кто господствует, и класс тех, над кем господствуют. Первые классовые конфликты, таким образом, происходят не на почве самой экономики, а связаны с обладанием *ритуальной собственностью*: контролем над или исключением из средств эмоционального производства.

В действительности с ритуальной собственностью связаны не только эти две группы в древнем обществе. Фюстель говорит о четырех великих революциях, которые изменили характер религиозного соучастия и потому всю социальную структуру. *Первая революция* имела место в 600-е годы до н.э., когда аристократия глав семейств вырвала власть у царя. Обе фракции определялись ритуалом: аристократы были священниками своих собственных домашних культов, а царь был священником культа всей коалиции. Эта революция, которая произошла в различных городах Греции и Италии, оставила царю чисто церемониальную позицию. В некотором смысле это означало подъем государства, так как в результате этого процесса возник политический орган, отличный от религиозного.

Вторая революция противопоставила аристократов своим клиентам. Последняя группа состояла из людей, у которых не было прав гражданства, так как они были подчиненными членами в семейных культах некоторых аристократов. Это могли быть члены младших ветвей семейства, обслуга, чужаки или челядь, которые также принимали участие в семейных богослужениях на вторых ролях. Борьба за установление полных политических прав для клиентов означала их освобождение от обязательств по отношению к своим аристократическим патронам, которые были связаны с их подчиненным религиозным статусом. Фюстель считал, что это предполагало избавление от изначального права первородства, хотя современные исследования показывают, что такой практики никогда не существовало.

Третья революция (которую не так просто отделить от второй, поскольку обе из них происходили в 600–400 годах до н.э.) состояла в борьбе плебеев за доступ в города. Плебеи были чужаками, у которых не было собственных семейных культов и которые жили за городскими стенами. В отсутствие семейной религии у них не было социальной чести, юридических прав и своего места в политических собраниях города. Благодаря переменам в типах оружия важность плебеев для армии возросла (и на этот момент обратил внимание Макс Вебер), и в результате они получили некоторые права гражданства. Этот процесс протекал по-разному в различ-

ных местах. В Афинах была установлена полная (мужская) демократия. В Риме, самом консервативном из древних городов, плебеи получили только ограниченные уступки. Именно победа плебеев в Греции возвестила классический период демократии. Только после этой политической революции возникает классовая стратификация, основанная главным образом на богатстве. Именно в этот период возникает плутократия, которую клеймили Платон и Аристотель.

Четвертая революция, согласно Фюстелю, была результатом этой ситуации. Теперь граждане подразделялись на богатых и бедных, то есть на классы, которые основывались на богатстве, а не на ритуальных различиях. Существовала также консервативная фракция, состоявшая из аристократов старого образца, которые периодически устраивали заговоры по свержению демократии и установлению традиционной олигархии с ее ограничениями участия в гражданском культе. Среди этих меняющихся политических волн появлялись популистские тираны, которые взывали к эмоциям бедняков против реакционных аристократов и нуворишей. Результатом этого процесса стало разрушение древних городов-государств. Их заменили царства, но теперь уже не религиозные, а чисто политические деспотии. И здесь опять Рим дольше всех сопротивлялся общей тенденции, но, в конце концов, и здесь республика уступила императорам, которые пришли к власти за счет своих демагогических обращений к беднякам.

Фюстель открывает тот потенциал в дюркгеймовской традиции, который почти не был реализован. «*Древний город*» остается секретным оружием: даже задействованный только отчасти, он стал основой силы и убедительности теории Дюркгейма. Общее положение о том, что ритуалы создают классы и классовые конфликты, предполагает теорию политики, которой только предстоит быть созданной. Но, как мы увидим, дюркгеймовская традиция движется именно в этом направлении, развивая теорию классовых культур.

ТЕОРИЯ МОРАЛИ И СИМВОЛИЗМ У ДЮРКГЕЙМА

Кульминацией системы Дюркгейма стала его последняя книга *Элементарные формы религиозной жизни* (1912). Своим влиянием эта книга обязана идее о том, что тайна религии состоит отнюдь не в трансцендентном и что Бог является символом общества и его моральной власти над индивидами. Здесь Дюркгейм соединяет религиозный и научный аспекты своей идейной традиции. Мысль о том,

что религия является моральным основанием общества и что мы не смогли бы выжить без уважения к традиционному христианству, высказывалась представителями одного из консервативных идеологических направлений и берет свое начало у де Местра и других консерваторов. Во времена Дюркгейма американские прагматики, например, Уильям Джеймс, говорили о том, что религия глубже рациональности и науки и что мы не можем пожертвовать волей к вере. Дюркгейм соглашался, что это вполне здравая линия рассуждений. Общество не стоит на чисто рациональной и сознательной основе. Религии не смогли бы играть такую важную роль в жизни общества в течение целых столетий, если бы они были основаны на простом недоразумении. Тем не менее Дюркгейм не отдает приоритета религии в ее споре с наукой. Он выдвигает научную теорию религии как мощной моральной силы, которая лежит в основе всего общества. Религия производится ритуалом, то есть определенными конфигурациями социальных взаимодействий в реальном мире. Эта теория ритуала может быть распространена на все многообразие социального производства морали и идей.

Дюркгейм сосредотачивается на племенах центральной Австралии, которые только недавно были описаны в антропологических отчетах. Отсюда некоторые недостатки его анализа. Этот материал не давал той сравнительной перспективы, которой требовали собственные методологические установки Дюркгейма. Дюркгейму казалось, что, говоря о наиболее примитивной форме религии, у него окажутся в руках те элементы, из которых впоследствии должны вырасти все остальные. Эта посылка исходит из принятия эволюционного взгляда на историю, который сегодня уже не так очевиден. Он также ошибочно предполагал, что австралийские племена представляют собой наиболее примитивные социальные формы. Действительно материальные технологии этих племен предельно просты: у них нет домов, керамики, никаких инструментов, кроме самых простых, и они живут в пустыне охотой и собирательством. Тем не менее эти племена обладают одной из наиболее сложных форм социальной структуры на племенном уровне, которая состоит из сложных правил женитьбы у различных сегментов общества. Дюркгейм выбрал достаточно нетипичные племена Австралии и проигнорировал кланы, у которых не было своих тотемов и прочих факторов, которые не подходили к его модели⁶. И все же тео-

⁶ В своем исследовании «Первобытная классификация» (1903), которое было предварительным наброском теории, представленной в «Элементарных фор-

рия Дюркгейма оказалась сильнее его доказательств. Антропологическое исследование Ллойда Уарнера «Черная цивилизация: социальное исследование австралийского племени» (1937) подтвердило общие заключения Дюркгейма. Позже социолог Ги Свансон провел сравнительный анализ и подтвердил идею Дюркгейма о том, что тип божества соответствовал типу общества: вера в местных духов и тотемы была характерна для более разрозненных племенных групп, а культы сильных богов были характерны для стратифицированных обществ с сильным центром земной власти.

В «Элементарных формах религиозной жизни» выдвигаются две важные идеи. Социология знания представляет первую из них. Дюркгейм пытается показать, что социология может предложить более убедительное объяснение человеческих идей, чем философия и психология, будь то философия кантовского образца или любая эмпирическая теория. Кант считал, что идеи существуют априорно в качестве категорий, через которые опыт становится предметом разума. Дюркгейм соглашался, что идеи существуют до любого конкретного индивида. Но идеи пространства, времени, числа и прочие общие категории не являются универсальными и неизменными, они получают свою форму через структуру общества и изменяются с изменением общества. Эмпирики правы в том, что материальный мир существует до всяких идей. Но люди приобретают идеи не просто за счет обобщения своих чувственных ощущений. Главный аспект материального мира — это само общество. Категории, через фильтр которых процеживается наш чувственный опыт, возникают в связи с тем, где располагаются наши тела и как они сопряжены вместе.

Ритуалы представляют собой механизм, который производит идеи, заряженные социальной значимостью, и потому содержание идей отражает структуру общества. Дюркгейм признавал, что

мах», Дюркгейм и Мосс совершили сходные ошибки в отношении эмпирических данных, на этот раз в отношении индейских племен американского юго-запада. Им не удалось в достаточной мере использовать их собственный метод сопутствующих вариаций. Вместо этого они слишком быстро сконцентрировались только на тех данных, которые соответствовали их теориям о том, что формы классификации объектов, принятые в обществе, соответствуют его реальной структуре. Тем не менее направление анализа, которое они выбрали, оказалось плодотворным для позднейших теорий, как, например, в теории *La pensée sauvage* Леви-Стросса (*The Savage Mind*, Chicago: University of Chicago Press, 1962).

идеи, после того как они сформировались, обладают частичной автономией. Позже Клод Леви-Стросс освободил символы от их ритуальной основы. Он пытался показать, как символы, заключенные в социальных мифах, были растасованы обществом в новые комбинации, которые должен дешифровать аналитик. В конце концов, Леви-Стросс потерял интерес к социальной структуре, которая изначально породила идеи. Его «структуралистский» метод превратился в поиск фундаментальных законов человеческого разума, управляющих образованием символов. Но даже здесь Леви-Стросс только пытался раскрыть одну из догадок Дюркгейма⁷. Дюркгейм предположил, что если идеи обладают какой-то степенью независимости от своего социального происхождения, то у них должны быть свои законы притяжения и отталкивания. Здесь Дюркгейм представлял себе возникновение нового раздела социологии, который был бы подобен теории электричества или химии, но в применении к «коллективным репрезентациям», которые мы называем идеями. Этот раздел должен был бы заниматься законами о том, как идеи заряжаются эмоциональной силой, которая содержится в социальной группе (так как они используются в социальном ритуале), а также законами о том, как сами идеи сочетаются друг с другом вне общества. Сегодня с развитием анализа разговоров, как цепи ритуальных взаимодействий, проект такого рода анализа становится все более реалистичным.

Вторая идея «Элементарных форм» — это теория ритуалов, которая закладывает основу микросоциологии Дюркгейма. Теория ритуала уже имплицитно содержится в ранних работах Дюркгейма по преступлениям, так как наказание — это ритуал, который напоминает людям о законах и закрепляет их эмоциональные обязательства перед ними. В своих антропологических материалах Дюркгейм пошел еще дальше и заострил идею о том, что общество выражает себя не только в негативном виде в форме ряда обязательств, которые становятся очевидными, когда их нарушают. Общество также является положительной силой, и об этом свидетельствуют ритуалы, подобные религиозным празднествам первобытных племен. Работа по анализу этих религиозных феноменов была проведена двумя авторами журнала Дюркгейма *Année Sociologique*, Мар-

⁷ Необходимо различать французский структурализм и значение этого термина, закрепившееся в американской социологии. В первом случае речь идет о структурах в сфере умственных форм, а во втором — о структурах в обществе, таких, например, как сети людей или организаций.

селем Моссом и Анри Хюбером в те 15 лет, которые предшествовали публикации «Элементарных форм». Последняя книга Дюркгейма подводит итоги теоретическим идеям, которые разрабатывала вся эта группа.

Помимо влияния этой теории на последующих антропологов, которые интерпретировали первобытные ритуалы, она оказала влияние на социологию *современных* обществ. Она позволила нам по-новому взглянуть на наше общество и раскрыть ритуалы, которые создают наши собственные верования и моральные границы. Конечно, это не те ритуалы, которые мы видим в первобытных обществах, так как у нас другая социальная структура, которая, с точки зрения Дюркгейма, является определяющим фактором. Это влияние традиции Дюркгейма не так хорошо известно, хотя оно чувствуется даже в названии книги Ирвинга Гофмана «Ритуал взаимодействия» (1967). Я считаю наиболее важным моментом в анализе ритуала его связь с центральным феноменом современных обществ, стратификацией. Это выносит ритуал в сферу теории конфликта, но не в качестве контраргумента, а в качестве необходимого ее дополнения.

РИТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТРАТИФИКАЦИИ: У. ЛЛОЙД УАРНЕР

Ирвинг Гофман является важной фигурой в эволюции этого направления, но мы должны начать с его учителя Ллойда Уарнера. Уарнер был австралийским антропологом, который подтвердил в своей ранней полевой работе выводы Дюркгейма в его анализе обществ аборигенов. Позже он переехал в Соединенные Штаты. Уарнер пришел к заключению, что мы больше знаем о племенных обществах, чем о нашем собственном. Он и его студенты провели серию сессий по изучению сообществ, включая традиционный город в Массачусетсе (Янки Сити), среднеамериканский город Центрального Запада (Джоунсвилл), черный район Чикаго (Броунзтаун) и сегрегированное графство в Миссисипи (Дип Саус). Уарнер также осознал, что социальная структура сложного общества, подобного Соединенным Штатам, не может быть понята на основе статусной системы отдельных сообществ. Поэтому он провел исследования социальной мобильности и наследования в среде общенациональной деловой элиты, а также еще более глобальное исследование корпоративной экономики. Масштаб исследований Ллойда Уарнера не был оценен по достоинству, так как он никогда не входил во фракцию инсайдеров американской социологии. Маркси-

сты и представители теории конфликта, которые входили в моду, считали, что его анализ стратификации слишком концентрировался на культуре и недостаточно на экономике. Уарнер начал изучение стратификации как системы престижа и как множества отдельных сообществ так, как будто его австралийские племена были ранжированы один над другим, подобно тотемному столбу. Важность этих подходов для изучения статусной стратификации и социальных сетей, которые сегодня переросли качественные описания Уарнера и вышли на уровень анализа количественными методами, не была достаточно оценена.

Можно задаться вопросом, почему Уарнер так быстро перешел от изучения племенных ритуалов к изучению стратификации. Ответ состоит в том, что когда пытаешься смотреть на современное общество или даже на одно из его сообществ, в глаза сразу бросается самый важный момент – стратификация. Существует не одна культура и не одна социальная группа, а большое количество таких групп. Для того, чтобы соотнести их, необходимо их ранжировать. При анализе разнообразия современного общества невольно приходит на ум концепция «классов», по крайней мере, в широком смысле этого слова. Эра масштабной эмпирической социологии началась в 1920-х годах с модой на изучение сообществ и продолжалась в 1930–1940-е годы. Уарнер приобрел известность именно на этом этапе. Также, впрочем, как Роберт и Хеллен Линд, антропологи, которые решили заняться городом Среднего Запада (Миддлтаун), а не островитянами южных морей. Они также указали на стратификацию как на первичную реальность. То же самое относится ко всем прочим сообществам. Все исследования сообществ в той или иной мере одновременно являются исследованиями стратификации.

Уарнер перенес дюркгеймовскую парадигму на современное стратифицированное общество, обратив внимание на его ритуалы. Существует тенденция рассматривать современное общество как секуляризированное и рационалистическое. Уарнер показал, что мы можем взглянуть на самих себя глазами антрополога и везде обнаружить ритуал. Религия представляет собой только одну из этой группы ритуалов. С точки зрения Уарнера, христианство вполне поддается тому же типу анализа, который применим к племенной религии. Ключом к современной религии, как и ко всякой другой, являются церемонии, с помощью которых она собирает сообщество и дает ему символическую идентичность. В течение года каждая встреча, каждая воскресная церемония, как и любая другая

религиозная церемония, современной церковной конгрегации возобновляет узы моральной солидарности. Уарнер был особенно внимателен к тому, что эти религиозные сообщества являются частью стратификации современного общества. В «Янки Сити» основным маркером статусной стратификации был этнос. Английские протестанты (включавшие в себя большую часть высшего класса) отделялись от недавних иммигрантов-католиков (составлявших большинство рабочего класса) и евреев (составлявших в основном средний и высший средний классы, но резко сегрегированных от белых англосаксов протестантов).

Различные религиозные доктрины не только символизировали различные социальные группы, но также служили для того, чтобы разделять и стратифицировать эти группы. Религиозные ритуалы воспроизводят классовую структуру, воздействуя на человеческое сознание моральных и религиозных различий и утверждая структуру межличностного общения и исключения из этого общения. С точки зрения Уарнера, живой реальностью стратификации был вопрос о том, кто с кем общается и на каком уровне интимности. Уарнер стал отцом сетевого анализа стратификации, который достиг значительной изоциренности в исследовательском опросе, проведенном Эдвардом Лауманном и другими. Это открыло множественные измерения паутины стратификации, в которой мы живем: иерархии социального класса, которые делятся дальше этносом, и другие анклавы личных знакомств. Наиболее интимный тип общения и ассоциации представляет семья. Практика брака укрепляет в повседневной жизни этнические и классовые модели.

Религии закрепляют эту основу интимных ассоциаций, так как они особенно заботятся о поддержании семьи. Семьи принадлежат церквям целиком. По крайней мере, в богомольных семьях религиозные церемонии пронизывают семейную жизнь. Молитвы на сон грядущий, молитвы, связанные с благословением пищи, представляют собой церемонии, которые используют «ритуальную столицу» церкви для утверждения семейной ячейки. Авторитет отца в традиционной семье поддерживается тем, что он сидит во главе стола и председательствует над благословениями. Это не слишком отличается от той картины, которую рисует в отношении древних греков Фюстель де Куланж. Основные религиозные праздники превращаются в семейные ритуалы: Рождество (ритуал семейного обмена дарами), Пасха (игры с пасхальными кроликами, конфеты для детей, а также возможность демонстрации своего статуса в сообщ-

ществе походом в церковь в своем лучшем наряде). Даже Хеллоуин с его невероятным наплывом духов и призраков происходит из традиционного христианского поминовения мертвых. Другими словами, церковь окружает семью церемониями, которые направлены на то, чтобы удержать ее вместе. Рождение освящается крещением, отрочество — ритуалом конфирмации или бар-мицвой, брак — венчанием, смерть — отпеванием и похоронами.

Уарнер подчеркивал, что сами символы современных религий отражают семейные связи. Традиционный протестантизм воспева-ет отца, «который на небесах», строгого, дисциплинирующего и моралистического. Он также утверждал авторитарного человеческого отца в каждом автономном доме. Католицизм в большей степени подчеркивает, каким образом каждая семья подчиняется централизованной церкви, которая посредует власть божью через иерархию папы, епископов и священников, а также святых. Центральным семейным символом католицизма является Дева Мария, мать, которая одновременно является совершенной женщиной и девой, и она идеализирует семью без разрушительного сексуального элемента. Уарнер замечает, что, учитывая различия между типами семейной структуры, которые символизирует религия, неудивительно, что этнические группы, основанные на этих религиях, должны быть столь разделены. Он также утверждал, что изменения семейной структуры повлекли бы за собой и изменение доминирующих религиозных концепций.

Уарнер также проанализировал секулярные ритуалы в отношении их воздействия на стратификацию. Патриотические церемонии вроде парада 4 июля, Дня труда или исторические празднества — это церемонии, рассчитанные на то, чтобы направить внимание сообщества на самого себя как целое. В «Янки Сити» идеей этих парадов и ритуалов было соединение практически всех сообществ, но под эгидой исторических символов, возвышающих роль аристократии белых англосаксов протестантов. Когда-то обычные люди, Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, выступают теперь эталонами протестантских добродетелей. Тем самым восславляется не только собственная страна, но и подразумеваемое политическое лидерство более поздних белых англосаксов протестантов, которые специально продолжали свой высокостатусный ритуальный стиль жизни. Патриотические церемонии — это ритуальные орудия классового господства. Они подавляют чувства классового конфликта и раскола, подчеркивая групповое единство и имплицитно предоставляя легитимность тому классу, который возглав-

ляет ритуалы и представляет их культуру. По этой же причине высшие классы занимаются уходом за могилами предков. «Кульг мертвых» делает честь им, живым⁸.

ИРВИНГ ГОФМАН И ПОВСЕДНЕВНЫЙ КУЛЬТ ИНДИВИДА

Таким образом, Уарнер ввел антропологические ритуалы в контекст анализа современной повседневной жизни. Его ассистентом в Чикагском университете в 1950-е годы был Ирвинг Гофман, который в этом анализе пошел еще дальше. Уарнер занимался очевидными формальными ритуалами в нашей жизни. Гофман обратил внимание на ритуалы, о которых мы обычно даже не подозреваем, ритуалы, которые пронизывают все аспекты наших социальных взаимодействий. Безусловно, не все аспекты нашей жизни в равной мере ритуализированы, и не все люди в равной степени участвуют в них. Но это только увеличивает полезность «ритуала взаимодействия» Гофмана, так как он устанавливает стратификацию между различными людьми и различными ситуациями.

Вежливость и хорошие манеры представляют собой наиболее ясно сформулированные из этих ритуалов повседневной жизни. Гофман подчеркивает, что в этих ритуалах мы даем идеализированное представление нас самих и других людей. Выражение «Как дела?» не следует понимать буквально. Это символическая формула, показывающая, что человек приписывает значительный статус другому человеку и относится к нему как к индивиду (в противоположность чисто деловой ситуации, где человек подходит к кассе и бесцеремонно говорит: «Два билета на вечернее представление»). Каждый такой ритуал, а их существует огромное множество, показывает уважение к другому человеку и придает новый статус самому говорящему, показывая, что здесь мы имеем дело с человеком, который знает, как надо вести разговор и при этом поддерживать «нужные» формальности. Целые разговоры в этом смысле могут иметь чисто ритуалистический характер, например, в случае когда два человека

⁸ Уарнер подчеркивает, что маленькие городки особенно любят войны потому, что войны предоставляют дополнительные возможности для такой ритуальной политики. Они создают ощущение солидарности и экзальтации индивида в контексте большого порядка вещей, который обычно отсутствует в изолированных сообществах. Здесь Уарнер дает чисто дюркгеймовское объяснение националистического консерватизма, на который обратил внимание Маркс в «Восемнадцатом Брюмера» в своем анализе французских крестьян.

во время вечеринки обмениваются информацией о работе, своих родных городах или погоде — предметах, которые лишены для них всякого интереса в качестве информации. Тем не менее оба могут быть вполне довольны таким обменом, если он устанавливает ритуальные узы между ними, соответствующие их статусу.

В этом смысле Гофмана часто рассматривают как циника, хотя он и не является таковым. Здесь он открыто следует идее Дюркгейма о том, что в дифференцированном современном обществе боги изолированных групп уступили культу единственного сакрального объекта, которому причастны мы все: культу индивидуального я⁹. В то же время Гофман замечает, что люди не жертвуют своим эгоизмом ради участия в ритуалах. Ритуалы взаимодействия являются орудиями, которые люди используют, чтобы набрать очки: для того, чтобы установить правильные контакты, чтобы припугнуть или опустить конкурентов или утвердить собственное превосходство. Сакральные объекты и верования создаются ритуалами: в племенных обществах (и в наших собственных церквях) ритуал создает бога или духа. В повседневных взаимодействиях ритуал создает я. С точки зрения Дюркгейма, ритуал представляет собой особую кон-

⁹ Ссылаясь на особое внимание Дюркгейма к контролируемому влиянию общества, исследователи часто высказывали мнение о том, что он был враждебен индивиду. Модель социального ритуала Дюркгейма опирается на современных ему «психологов толпы», таких как Густав Лебон, которые подчеркивали, что в толпе индивид оказывается поглощенным коллективными эмоциями и больше не действует в соответствии со своим рациональным выбором. Но у Дюркгейма не было и тени той враждебности к «толпе», которая была характерна для этих теоретиков толпы и которую они использовали как аргумент против демократии. Дюркгейм пытался показать, что само общество создало концепции мышления, которые были инструментами рациональности. Более того, сама изменяющаяся социальная структура создала современное общество с его сложным разделением труда, и именно *это позволило автономному индивиду вообще появиться на свет*. Гофман следует этой идее Дюркгейма в деталях, описывая пути, которыми современное общество, отнюдь не антагонистическое в отношении индивидов, дает им обширную ритуальную подпитку. Это не означает отсутствия в современном обществе опасностей бюрократических и политических манипуляций и даже тоталитаризма, но указывает на противостояние между различными частями общества (это моя идея, а не Дюркгейма или Гофмана). По всем этим причинам современное общество гораздо более индивидуалистично по сравнению с досовременными обществами.

фигурацию людей, которые концентрируют свои тела, внимание или эмоции определенным образом. Гофман добавляет к этому еще более материалистическое объяснение: ритуалы аналогичны театру. Они являются представлениями, которые мы даем, и потому они требуют реальных декораций: костюмов, сцен, мест для зрителей и мест, где актеры могут переодеться и подготовиться. Отсюда известно гофмановское различие между передней и задней сценой: первая — это витрина, откуда продавцы зазывают покупателей, а последняя — это задняя комната, где работники делят свои территории продаж, устанавливают линию продаж и причесывают волосы после всех своих манипуляций. Примером такого противостояния из совсем другой сферы будет различие между вычищенной гостиной и накрытым столом, где ритуал ужина должен подтвердить статус членства в одной группе с гостями, и задней сценой ванной комнаты, кухни и спальни, куда выбрасывается весь эмоциональный и физический мусор.

Ритуалы поэтому являются представлениями. Они требуют определенных ресурсов, материальных качеств и культурных навыков, а также имеют важные социальные последствия — создают идеальные образы самого человека, устанавливают социальные связи, которые контролируют других. Эти ритуалы удерживают общество вместе, но они достигают этого через стратификацию. Ритуалы — это орудия, которые утверждают и перегруппируют классовую структуру. Они не только создают я, но и определяют людей в разные социальные классы.

РИТУАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КЛАССОВЫЕ КУЛЬТУРЫ: КОЛЛИНЗ, БЕРНШТЕЙН И ДУГЛАС

Сам Гофман не говорил прямо о том, что стратификация происходит от ритуалов, но его анализ легко поддается такой интерпретации. Материал для его модели взаимодействия передней и задней сцены почерпнут из стратифицированных ситуаций. Например, из материалов исследования поведения фабричных рабочих и менеджеров. Каждая из этих групп дает представление в присутствии другой группы, в то время как в неформальной обстановке друг с другом они ведут себя совершенно иначе.¹⁰ То же самое от-

¹⁰ Наиболее известным из этих исследований является работа, начатая в 1930-е годы Элтоном Майо на фабрике Хауторн. Как и Ллойд Уарнер, Майо был австралийцем и последователем Дюркгейма. Его открытие неформальной

носится к исследованию тех профессий, которые наделены высоким социальным статусом (например, врачам), представители которых усердно охраняют свою деятельность, представляя себя авторитетными и всезнающими. Или сравнительному исследованию представителей высших и низших классов: первые культивируют особый ритуальный фронт, вторые — речь идет о людях, находящихся в психбольнице, — утратили все условия частной жизни, которые позволили бы им контролировать свой публичный образ.

Этот анализ великолепно подходит для понимания и анализа культурных различий разных классов. В этой теории существует два главных параметра различий между людьми. Оба они относятся к ритуалам, в которых участвуют люди. В последние годы различные аспекты этой теории высказывались автором этих строк, английским социологом Базилем Бернштейном и социальным антропологом Мэри Дуглас.

Один из этих параметров относится к тому, что я называю ритуалами власти. Социальные классы делятся в соответствии с тем, принимают они распоряжения или дают их. Но здесь можно говорить и о континууме. Некоторые классы дают распоряжения на вершине длинных цепей управления в крупных организациях, другие передают эти указания на среднем уровне, третьи вообще никогда не дают распоряжений, а только принимают их. Это, по сути, гофмановский эквивалент той версии теории конфликта, которую отстаивал Ральф Дарендорф: главным параметром стратификации является организованная власть. Она может базироваться на собственности или на военном или политическом контроле. Поэтому в капиталистическом и социалистическом обществах мы обнаруживаем один и тот же состав классов, так как частная собственность — это только одно из оснований для отдачи распоряжений. В обоих случаях те, кто дает распоряжения, отвечают за организационные ритуалы. Они представляют собой «официальный класс», тех, кто придерживается идеалов организации и верит в ее формальности. В гофмановской терминологии они представляют «переднюю сцену». На противоположном ее конце люди, которые только принимают распоряжения (рабочие), отчуждены от официальных идеалов, от имени которых им дают распоряжения. В отсут-

группы, которая лежит в основе формальной структуры организации, является прямым применением к современной жизни идеи Дюркгейма о том, что ритуал и моральные узы солидарности лежат в основе любого практического утилитарного взаимодействия.

ствии контроля над ритуальной собственностью они уходят из мира передней сцены и идентифицируются с «задней сценой» своих неформальных групп.

Это вертикальное построение власти дополняется горизонтальным, вторым измерением социального класса. Независимо от того, контролируются ли люди ритуалами или контролируют их, встает вопрос о количестве и типе ритуалов, в которых они участвуют. Некоторые люди находятся в сердцевине социальных сетей, встречаясь с людьми и занимаясь разными делами. Остальные пребывают в небольших местных сообществах, взаимодействуя с одними и теми же людьми и проживая годами в одном и том же социальном пространстве. Это тот же самый параметр, который использовал Дюркгейм для сравнения различных обществ, но сейчас он обращен на положение индивидов внутри одной и той же сети. Как подчеркивал Герберт Ганс, у рабочих в современных городах нет широких профессиональных контактов, которыми располагают члены высших классов. Они ближе небольшим крестьянским деревням, возникшим в современных метрополисах. Из-за этого различия в местной социальной структуре различные социальные классы характеризуются различными ментальностями.

Таким образом, культура членов высших социальных классов соответствует сложному разделению труда Дюркгейма. Она включает в себя абстрактные идеи, индивидуализм, мышление с точки зрения долгосрочных последствий. Низшие социальные классы, проживая в своих небольших анклавах, придерживаются культуры, сходной с племенными обществами Дюркгейма: сильное давление социальной конформности, в высокой степени опредмеченные символы, привычка мыслить конкретно, а не абстрактно. Базиль Бернштейн показал, что эта модель Дюркгейма относится и к различиям в языке различных социальных классов. Низшие классы используют то, что он называет «ограниченным кодом», форма разговора, которая отсылает к конкретным людям и вещам и предполагает, что слушатель в курсе дела местных деталей предмета разговора. Высшие социальные классы используют «разветвленный код», разговор, в котором имеют дело скорее с абстракциями и в котором не чувствуется зависимости от местного контекста. В своих противоположных проявлениях это различие между разговором на местном сленге и техническим языком профессионалов. Первое удерживает вместе небольшое сообщество и практически не имеет смысла за его пределами. Последнее — своего рода деньги, о кото-

рых можно договариваться, для заключения связей с группами экспертов по всему миру¹¹.

Здесь мы снова видим, как теория стратификации Дюркгейма позволяет заполнить пробел в модели конфликта. Модель политики Энгельса и Маркса подчеркивала преимущества высших социальных классов и уязвимость низших классов, связанные с их уровнем мобилизации. Благодаря ей небольшое меньшинство может доминировать над расколотым большинством. Модель Дюркгейма, разработанная Базилем Бернштейном и автором этих строк, подчеркивает, что эти структурные различия не только объясняют различия в степени политической власти, но также влияют на культурное мировоззрение различных классов. Классовая культура определяется интенсивностью и характером участия индивидов в ритуалах взаимодействия.

Антрополог Мэри Дуглас дала добротное изображение этих двух параметров культуры. Она показывает, что они определяют не только ритуалы и верования в современном обществе, но и объясняют, почему существует такое многообразие культур в различных племенных сообществах. Дюркгейм сравнил их в самом общем виде в «Разделении труда в обществе»: с одной стороны, все традиционные общества (взятые вместе), создающие репрессивную и партикуляристскую коллективную совесть, с другой стороны, современные общества с высоким уровнем разделения труда, для которых характерна абстрактная и индивидуалистическая коллективная совесть. Как мы уже видели, современная составляющая этого сравнения чересчур обобщена, так как высшие социальные классы представляют собой единый культурный тип, а низшие социальные классы – иной культурный тип, который ближе «традиционному» типу культуры. Дуглас указывает на те же самые различия между традиционными обществами¹². Некоторые из этих обществ жест-

¹¹ Конечно, профессионалы и высшие классы тоже сплетничают. Но идея здесь состоит в том, что низшие классы обращаются только к своему «ограниченному коду», который удерживает их группу вместе в изоляции от других групп. Высшие классы тоже обращаются к внутригрупповому слуху и жаргону, но у них также есть доступ к «разветвленному коду», который позволяет им вести переговоры с людьми, с которыми они никогда не встречались, на расстоянии.

¹² Подобно «Духу законов» Монтескье или «Общине и обществу» Тенниса, «Разделение труда в обществе» Дюркгейма описывает только два типа обществ: досовременные и современные. Это огромное упрощение истории. Хотя эволюционизм Дюркгейма заставляет его считать, что механический тип

ко ограничивают индивида религией, которая ритуализирует каждое действие повседневной жизни и не дает никакого пространства для личного выбора под угрозой табу, осквернения и тяжелых наказаний за грехи. Другие из них более терпимы и более индивидуалистичны. Эти культуры верят в добрых духов, а не в наказания или вообще скептически относятся к существованию духов. Дюркгейм заблуждался, думая, что существует однонаправленный тип эволюции от одного типа к другому и что репрессивное групповое сознание характерно для всех племенных обществ, а секулярное и индивидуалистическое — только для современных.

Тем не менее анализ различий в социальной структуре, пионером которого был Дюркгейм, сохраняет свою ценность даже при отсутствии последовательности между его двумя фазами. Племенные общества, ритуалы которых наиболее репрессивны, а верования носят наиболее карательный характер, прекрасно укладываются в модель густонаселенных обществ, которые, как подчеркивает Дуглас, характерны для мест с недостатком ресурсов. Племенные общества, в которых преобладает индивидуализм, характеризуются тем, что групповые границы в них преодолимы и люди перемещаются здесь непрерывно и по своей воле. Существует и другой параметр, который относится к различным племенным сообществам: каков уровень неравенства среди членов этого сообщества и насколько они конфликтуют с другими группами. В сущности, это первый параметр в паре, которую я обрисовал выше, параметр, который определяет степень индивидуального участия в «ритуалах власти». Таким образом, племена различаются не только масштабом контроля группы над индивидом, но также степенью внутренней доминации и имплицитного контроля. У племенных культур (обычно имеются в виду их религии), как правило, есть два параметра: 1) коллективизированные и индивидуализированные и 2) племена с сильными вождями и племена, для которых характерно равенство. Каждый тип общества обладает специфической формой символизма.

Модель, предлагаемая Дуглас, является достаточно универсальной и способна объяснить религиозные и светские культуры всех типов обществ, включая вариации в нашей собственной. Напри-

солидарности наиболее характерен для племенных обществ, на самом деле те характеристики, которые имеет в виду Дюркгейм, особенно репрессивная юридическая система, более всего характерны для стратифицированных аграрных государств, которые являются гораздо более сложной формой общества.

мер, она подчеркивает, что характер контроля над собственным телом зависит от структуры группы, в которой живут люди. В племенном обществе существует противоположность между теми группами, которые рассматривают транс как одержимость духами, благотворно воздействующими на группу, и теми, гораздо более авторитарными, где всякое отклонение от строгого контроля над своими эмоциями и телом рассматривается как проявление скверны и греха. Такая же противоположность обнаруживается и в нашем обществе: с одной стороны, существуют аскетические и моралистические группы, с другой — те, которые ценят самовыражение и «делание того, что нравится». Длинные волосы и военная стрижка, свободная широкая одежда или застегнутость на все пуговицы, разные способы расстановки мебели — все это может быть объяснено такого рода структурным анализом культуры.

Схема Дуглас решительно многомерна. Общества могут отличаться друг от друга по двум разным шкалам. Поэтому мы не можем рассматривать эти различия в одномерном пространстве, а должны смотреть на вещи в перспективе двухмерного графика (сетки). То же самое относится в более общем виде к теории классовых культур в нашем собственном обществе. Современное общество состоит из множества разных «племен», которые мы иногда в целях удобства робко именуем классами, но которые на самом деле классами не являются. Место, которое занимает индивид в этом стратифицированном пространстве, может быть уникальным, так как каждый из них участвует в своей собственной комбинации ритуалов. Это другая причина, почему индивидуализм является доминирующей реальностью современного общества: никто в точности не похож ни на кого другого, так как дифференцированная социальная структура открывает каждого человека разным связям групп. Тем не менее индивидам удается иметь дело друг с другом, хотя они и взаимодействуют исходя из несколько разных культурных мировоззрений. Каким образом это происходит и как эта ситуация воспроизводит стратифицированный порядок общества, является предметом другого применения традиции Дюркгейма.

СЕТИ РИТУАЛЬНОГО ОБМЕНА: СВЯЗЬ МЕЖДУ МАКРО- И МИКРОУРОВНЯМИ

После работ о праве, преступности и самоубийстве в 1890-х годах главным вопросом для Дюркгейма стала проблема места индивида в обществе. Его модель показывает общества, которые господству-

ют извне и которые применяют внешние ограничения и создают общие сантименты и идеи. Но человек не всегда находится в присутствии других и не всецело движим внешними влияниями. Как же можно объяснить этот индивидуальный аспект поведения людей? Индивиды творчески и достаточно уникальным образом пользуются идеями. Какова та доля влияния, которая все же должна быть приписана социальному базису?

Это вопрос о том, как соотносятся макро- и микроуровни анализа, с точки зрения макроструктуры. В начале 1900-х годов Мосс уже начал работать над этой проблемой¹³. Материалом ему служили не сложные современные общества, где индивид играет центральную роль, а общества племенные, где индивид ничего из себя не представляет по отношению к группе. Если мы найдем здесь индивидуальные действия и мысли, то механизм, который их производит, будет ясно высвечен.

МАРСЕЛЬ МОСС И МАГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА

Весьма примечательно, что Мосс нашел то, что искал, в сфере религии. Феномен молитвы представляет собой пример действия, которое является индивидуальным и частным и показывает, что даже ритуалы должны быть социальными. Но объяснение молитвы не только не подрывает фундаментальную теорию Дюркгейма, но, напротив, только упрочивает и расширяет ее. Наша современная концепция молитвы рассматривает ее как форму внутреннего опыта: это разговор с Богом в собственном сердце. Мосс считает, что исторически молитвы всегда были вокализированы и публичны. Многие общества даже запрещали частные молитвы и считали их святотатством. Частная индивидуальная молитва — это наследница публичных церемоний, в которых коллективные концепции разыгрываются индивидами и помещаются в их собственном созна-

¹³ Марсель Мосс подготовил множество предварительных материалов, которые, в конце концов, легли в основу «Элементарных форм религиозной жизни» Дюркгейма. Он был ответственен за написание большого количества аналитических рецензий антропологических исследований для *Année*. Вклад Мосса во все это предприятие, причем начиная с периода задолго до смерти его дяди, все еще недостаточно оценен. Хотя Мосс не был так важен для Дюркгейма, как Энгельс для теорий Маркса, было бы большим упущением пытаться отделить мысли «Дюркгейма» от влияния Мосса в последней части карьеры последнего (начиная с 1890-х годов).

нии. Можно даже сказать, что развитие ритуалов, подобных молитве, которые являются вербальными формулами, а не церемониями, открывает возможность индивидам для их присвоения. Через интернализацию коллективных формул современные люди приобретают способность видеть через свой внутренний гироскоп и мыслить самостоятельно.

Мосс относит то же самое к еще более первобытной практике — магии. Кажется, что магия не затронута влиянием общества. Природа магии антитетична религиозным ритуалам. Если религиозные ритуалы почти всегда носят коллективный и официальный характер, магия носит частный характер, часто нелегальный, и проводится индивидуальным магом на пользу или во вред отдельному индивиду, а не на благо или во вред сообществу. Тем не менее Мосс и Анри Хюбер подчеркивали, что магия зависит от того же самого круга идей, вещей и действий, что и религия. Магия всегда производна от какой-то религии. Заговоры, призывающие демонов, и черные мессы средневековой Европы, очевидно, являются частью христианского мира так же, как и взывания шамана племени к силам являются частью религиозных племенных канонов. Фактически магические силы, которые они призывают — для убийства жертвы, для удачи, для любовного привораживания или любой другой традиционной цели магии, — являются разновидностями общей всем духовной силы, которую некоторые племена тихоокеанских островов называют *маной*. Но сама эта духовная сила носит социальный характер: это наиболее общая концепция власти общества над индивидом. Официальная религия использует ее для своих коллективных целей, а маг использует ее уже для своих частных целей.

С точки зрения Дюркгейма и Мосса, религия — отнюдь не просто иллюзия. Она символизирует реальную вещь — власть общества. *Мана* также обладает конкретной реальностью. Это *эмоциональная энергия*, которая циркулирует среди людей и движет ими извне, по всей видимости, мистическим образом. Мосс утверждает, что магия часто была эффективной, по крайней мере, в достаточной степени для того, чтобы люди считали ее действенной. В тех социальных условиях, где люди верят в магов, они не являются просто мошенниками. В силу самой своей веры в свою собственную магию маги приобретают эмоциональную власть над людьми. Магия — это реальная субстанция, которая невидимо циркулирует в социальной атмосфере: эмоциональное заражение, идущее на определенные коллективно заряженные идеи. Для члена племени, верящего в ма-

гию, получение записки от куклы Вуду, которая изображает этого человека, равносильно самой смерти.

С точки зрения социологической теории магия – не просто причудливый обычай. Урок, который мы получаем в ходе изучения магии, состоит в том, что феномен, социальный по своему происхождению, может поселиться в индивидуальном сознании, где он становится частью личности и частью личных стратегий в борьбе за социальные преимущества. Она также показывает, что социальные силы не просто висят невидимым облаком над обществом, но циркулируют среди индивидов. Они поддаются количественному измерению, и их интенсивность у разных индивидов различается. Маг, ощущающий полноту силы магии, которую он контролирует, гораздо больше уверен в себе и располагает большей силой и энергией, чем другие. То же самое относится к официальному распределению *мань*. Вождь племени или «большой человек» считается более сакральным, более сильным и возвышенным по сравнению с обычными людьми, так как у него больше *мань*. Короче говоря, он приобрел гораздо больше эмоциональной энергии, которую выбросили в социальную циркуляцию «электрические генераторы» – ритуалы. Анализ магии и *мань* Моссом демонстрирует механизм, который лежит в основе харизмы тех великих людей, которых Вебер назвал харизматическими личностями. Это напоминает нам, что харизма не возникает по мановению волшебной палочки, как это происходит в веберовском изложении, но что она является частью системы социальной стратификации и распределения социально инспирированных энергий и верований.

До сих пор мы трактовали индивида как носителя сил, которые имеют своим первоисточником макроструктуру. Аргумент Мосса также движется и в другом направлении и показывает, какие механизмы составляют саму макроструктуру. Статья 1925 года «Дар» является наиболее известной вехой этого поворота. Уже в 1914 году Мосс высказал идею о том, что *мана*, кристаллизованная в материальных объектах, представляет изначальные источники того, что позже становится деньгами. Другими словами, экономика основывалась на религиозном веровании в буквальном смысле этого слова. Деньги – это средство обмена, универсальный стандарт и мера ценности, которая позволяет перевести на единый язык все прочие типы благ, минуя неуклюжий процесс бартера. Монетарная экономика медленно росла, и росла на многих уровнях, пока она не достигла этапа легко-конвертируемых бумажных денег и еще легче манипулируемых акций, опций, фьючерсов и всех прочих эпифеноменов

капитализма. Племенные «деньги», на которых концентрировал свое внимание Мосс, были еще слишком тяжелыми, и ими было непросто управлять. Но они уже носили социальный характер из-за моментов престижа и того сакрального качества, которое может дать только общество. Общество внушает социальное доверие, которое необходимо для универсального признания денег. (Сравните деньги с обменом, когда товар не принимается, если в нем нет потребности, или достоверная идея о том, с кем нужно торговать, чтобы получить то, что хочется.) Можно сказать, что деньги возникают из магии, так как магия является индивидуализированным использованием коллективной *маньы*.

Самые первые «обезьяньи» объекты были похожи на ювелирные изделия: особенно ценны предметы, рассматривавшиеся как имеющие экстраординарные эстетические качества¹⁴. Особую ценность этим объектам придает не только их редкость, но и социальная значимость, которую им придают, — это предметы, наполненные социальной уверенностью. В силу этого они могут служить связными частями между одной ситуацией и другой. Они строят более крупную социальную структуру через сеть обмена.

Идея о том, что общество представляет собой систему обмена между частями, не нова: ее высказывали уже первые экономисты, Адам Смит, а также утилитаристы, например, Герберт Спенсер. Но Дюркгейм резко критиковал эти модели, если в них шла речь только о сфере обмена чисто материальными преимуществами. На этом уровне экономика была бы невозможной, так как утилитарный эгоизм ведет не к обмену, а к обману, мошенничеству и войне всех против всех. По этой причине Дюркгейм пытался вскрыть моральные и эмоциональные основы «доконтрактной» солидарности. Мосс реализовал ту же самую идею, но в более динамичном ключе. Его идея состояла в том, что материальная экономика в буквальном смысле создавалась на основе системы ритуального обмена. Существует два уровня обмена: один из них первичен и служит основой для другого.

В известной работе «Дар» (1925) Мосс описывает кольцо кула Тробриандских островов. Вождь каждого из островов возглавля-

¹⁴ До эпохи аграрной цивилизации поиски драгоценных камней не были технологически возможны. Но даже в этих достаточно изощренных экономических системах драгоценные ювелирные изделия часто рассматривались как имеющие магическую силу и как эмблемы и прерогативы королей и высших религиозных чиновников.

ет торговую экспедицию на соседний остров. Участники экспедиции везут с собой два типа товаров: рыбу, кокосовые орехи и тому подобное (продукты своего острова) для бартерного обмена на то, на чем специализируется другой остров. Это обычная экономическая торговля. Но ей предшествует другая символическая форма торговли: приехавшие вожди ритуально приносят подарки вождям-хозяевам — орнаментальные раковины и браслеты (эквивалент ювелирных изделий) — и получают в ответ подобного же рода подарки. Таким образом, рыба и кокосовые орехи перемещаются по прилегающим островам, а «символические деньги» движутся кольцом по островам. Ритуальные дары являются формой дипломатии. До тех пор пока они не поднесены и не приняты, два племени вооружены и подозрительно относятся друг к другу. Они не могут вести обычную экономическую торговлю, пока нет гарантий мира, обеспеченного ритуальной торговлей символическими дарами.

Кольцо кула — это парадигма экономических структур в целом. В их центре находится идея о том, что социальные связи должны быть установлены прежде сделок, относящихся к социальным преимуществам. В современных терминах можно сказать, что здесь подтверждается идея Макса Вебера: экономика должна быть организована первыми религиозными и статусными системами прежде, чем она сможет функционировать. Статусные группы более фундаментальны по сравнению с классами, так как последние могут возникнуть только на основе первых. Вебер определял статусные группы как сообщества, которые объединяются общим стилем жизни и следуют определенному коду чести. Если принципом рынка является преследование своих целей любой ценой, то признаком статусной группы является как раз *отсутствие торговли*. Другими словами, члены статусной группы предлагают друг другу дары подобно мосссовским тробрианским вождям. Только в нашем случае эти дары состоят в *вечеринках, рождественских подарках и всех прочих церемониальных обменах повседневной вежливости, которые проанализировал Гофман*.

Мосс описывает различные виды экономик, которые могут поддерживаться обменом дарами. Кольцо кула представляет собой достаточно эгалитарную форму с обменами между островами, происходящими горизонтально. В других местах, в южной части Тихого океана и на Новой Гвинее, а также во многих других племенных сообществах обмен дарами принимает форму иерархического «перераспределения». Вождь племени получает дары в форме пищи или других символов богатства, которые он раздает своим после-

дователям в период огромных церемониальных празднеств. В этой системе обмена каждый получает примерно столько же, сколько он первоначально в нее вкладывает, но один из людей, вождь или «большой человек», получает в результате дополнительное преимущество. Он может периодически разоряться из-за своей расточительности, но он вознаграждается социально и политически и становится ритуальным центром внимания племени. Эти празднества «перераспределения» подобны политическим компаниям, где наивысший статус достается человеку, у которого больше всего последователей. Эти последователи дают ему силу в войне, подобно тому, как это происходит у других племен охотников за головами.

Обмен дарами также может носить соревновательный характер. Подтверждение этому мы находим в ритуале потлача, принятом среди богатых людей прибрежных племен канадского Тихого океана, где вожди пытаются оскорбить и пересилить своих соперников, раздавая им подарки, которые их соперники не в состоянии оплатить адекватными встречными дарами. Получение дара обязывает возвратить его подарком равной ценности или потерять статус. Поэтому, считает Мосс, сфера статуса является также сферой стратификации. Эта стратификация связывает друг с другом людей, которые могут позволить себе обмен друг с другом равноценными дарами. Вместе с тем такой обмен имплицитно исключает всех тех, кто не может находиться на соответствующем уровне символического обмена. Обмен дарами кажется горизонтальным, но у него есть вертикальные последствия. Как мы увидим ниже, это соответствует современной версии символического обмена, которая обсуждается как разговорный рынок культурного капитала.

ЛЕВИ-СТРОСС И ТЕОРИЯ АЛЬЯНСА

Влияние модели обмена дарами шло в нескольких направлениях. Леви-Стросс предложил свою интерпретацию этой теории, которая объясняла всю структуру племенного общества. Он применяет двухуровневую модель Мосса, где символические дары служат основой материального обмена. В этом случае предметом обмена служат не ювелирные орнаменты вроде колец кула, а сами люди в качестве сексуальных партнеров. Сеть представляет собой фундаментальную структуру семьи. В результате табу на инцест: ни одна семья не может брать сексуальных партнеров из самой себя, но должна искать их за пределами семьи. Браки представляют собой обмен, подобный обмену дарами. Как правило, предоставляя

сексуального партнера, семья не получает в ответ другого партнера для одного из своих членов немедленно. Тем не менее в длительной перспективе возникает обязательство оплатить услугу. Это дароподобное качество браков создает моральные обязательства, которые могут быть нарушены только ценой потери статуса. Браки становятся основой статусной политики племен. В соответствии с принципом о том, что символический уровень обмена делает возможными все более материальные трансакции, семьи, вступающие в родство, становятся экономическими торговыми партнерами и военными союзниками. Не будет преувеличением сказать, что брачный обмен создает все альянсы, которые составляют основу племенного общества.

У различных типов племенных форм родства есть свои особенные структуры обмена. Некоторые связывают вместе два клана или группы систематическими брачными обменами, другие обмениваются партнерами по кругу, подобно системе кольца кулу. У каждой из этих систем есть собственная логика. Дюркгейм подчеркивал в своих ранних работах, что австралийские системы брака устроены как математические проблемы. Леви-Стросс раскрыл формальные импликации каждой из таких систем брачного партнерства: в некоторых случаях они составляли «краткие циклы», которые спланировали несколько групп, отделяя их от аутсайдеров, в других случаях получались «длинные циклы», которые интегрировали большое количество семейств через более удаленные сети обмена. Леви-Стросс предположил, что судьба обществ определялась стратегиями брачной политики, которую они преследовали. Только те, кто взял на себя риск инвестиций в длинные циклы, смогли построить более крупные альянсы и получить доступ к политическим сетям и экономическому богатству, которые делали возможным возникновение государства. Идея «революции родства» Леви-Стросса, которая дала новую форму многим племенным сообществам, не была никем подхвачена. В своей последующей работе Леви-Стросс отошел от проблем структурной организации обществ и сосредоточился на расшифровке мифов и анализе их фундаментальных ментальных форм. Однако теория альянса стала важным инструментом для антропологического анализа политики родства, и она остается важной метафорой для понимания логики политического обмена в более сложных обществах.

Например, в одном из своих применений эта теория рассматривает науку как систему обмена дарами. Уоррен Хагстром подчеркивает, что наука отличается от коммерческой деятельности тем, что

здесь знание подлежит свободному обмену и трактуется как цель сама по себе. Оно связано с высоким и почетным статусом членства в научном сообществе. Отсюда соревновательный аспект в науке, как и в других формах обмена дарами, но скрытый под нормативным тоном «вкладов». Ученые соревнуются в вопросах престижа и пытаются достичь признания своих даров сообществом коллег и легитимации их в качестве реального знания. Ученые рассматривают себя и свои идеи как «чистые», продиктованные чистым интеллектуальным любопытством и незапачканные обыденными мотивами. Поэтому они встречают в штыки любое применение социологических объяснений того, что они делают. Дэвид Блур подчеркивает, что наука для них является сакральным объектом в дюркгеймовском смысле: она конституируется ритуалами, которые выделяют ее в самодостаточное сообщество. Идеи Дюркгейма позволяют рассматривать социологию науки как одно из применений теории о том, как идеи отражают социальную структуру, члены которой создали ее. В этом случае сообщество представляет собой *сеть самих ученых*, а не все окружающее их общество целиком.

Хотя сам Хагстром не развивает эту идею, здесь также можно применить двухуровневую модель обмена. Символические обмены ученых составляют моральный центр сообщества, но когда они установлены, ученый статус человека может быть обменян на более классовые, материальные блага вроде академических постов, зарплат, распродаж книг, гонораров за изобретения и тому подобное. Если мы забудем на мгновение о парадигме Дюркгейма, эти блага можно рассматривать как материальные средства духовного производства, которые традиция конфликта использует для объяснения содержания созданных идей. Оба этих уровня взаимодействуют: ритуальный обмен дарами научных идей происходит в своей собственной сакральной сфере бескорыстных истин, но сами эти идеи становятся «интеллектуальной собственностью», формой того, что французский социолог Пьер Бурдьё называл «культурным капиталом». Ученые маневрируют в целях инвестиции своего интеллектуального капитала для получения большего признания и, таким образом, получают должности и материальные ресурсы, которые могут использоваться для производства последующих научных идей. Культурный рынок и экономический рынок задействованы для производства научных идей в системе, отмеченной ритуальной солидарностью, а также господством и конфликтом.

ТЕОРИЯ СЕТИ РИТУАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Заметим, что мы уже пунктирно прочертили связи между микро- и макроуровнями анализа. Теория ритуалов Дюркгейма объясняет, как определенные направления эмоций и внимания людей конституируют ритуалы, которые ведут к узам членства в обществе и формированию символов, которые их представляют. Эти «коллективные репрезентации» поселяются в разуме человека и действуют как гироскопы, которые направляют людей к определенным видам взаимодействия и удерживают от других. Одна микроситуация ведет к другой предсказуемым и структурированным путем. Таким образом, механизм микроритуалов составляет в более крупную модель, во все общество в целом на макроуровне. Решающий вклад в развитие этой модели внес Мосс, показав, как обмены дарами создают статусные притязания и обязательства для воспроизводства ритуала обмена. Он также показал, как ритуал заряжает социальным значением физические объекты (например, магию, деньги и, возможно, другие вещи и процессы), которые могут циркулировать как суррогаты социального присутствия. Эти символические объекты связывают вместе ситуации и людей, которые сильно отличаются и которые могут никогда не сталкиваться друг с другом лицом к лицу. Феномен собственности возникает из этих ситуаций заряда объектов социальной энергией. Перспектива Мосса становится фундаментальной поддержкой для теории Маркса.

Я предложил понятие *сетей ритуала взаимодействия* для того, чтобы показать, как микроинтеракции складываются в классовую структуру современного общества. Каждое взаимодействие представляет собой ритуал в гофмановском смысле. Приветствия и другие формы вежливости связывают людей вместе или позиционируют их как неравных партнеров. То же самое осуществляется невербальным образом через то, как люди одеваются и следят за собой. Даже слова обычного разговора содержат скрытый код, несущий в себе коннотации членства в определенных группах, который эти слова получили в предшествующих разговорах. Отдача и прием распоряжений — это гофмановский ритуал, который порождает классы, принимающие распоряжения, и классы, их дающие, и их символические взгляды, как мы описали это ранее в нашем обсуждении классовых культур. То же самое происходит и во втором измерении стратификации. Мировоззрение людей складывается под значительным влиянием того, какой по преимуществу вид взаимодействия характерен для человека, космополитический или местный.

Каждый аспект умственного или культурного обладания людей оказывается отмеченным значимостью маркера социального членства. Только теперь мы начинаем видеть, как дюркгеймовская теория, где ритуалы создают членство во всем обществе целиком, заменяется членством в стратифицированных группах, на которое разделено общество. Каждая из этих групп имплицитно признает своих членов на основании элементов стратифицированного символизма, который они привносят в свои социальные взаимодействия.

Все общество в целом может быть представлено как длинная цепь ритуалов взаимодействия, где люди перемещаются от одного взаимодействия к другому. Эта структура вовсе не предполагает никакой жесткости. Любая комбинация людей может оказаться в ситуации взаимодействия лицом к лицу. Но, оказавшись в этой ситуации, они должны найти правильный тип отношений и ритуального разговора. Результат зависит от культурного капитала и символически заряженных идей, которые они привносят в свое взаимодействие. Здесь возможны вариации, в зависимости от того, как *культурный капитал каждого человека* соотносится с *культурным капиталом другого*. Люди добиваются наиболее удовлетворительных обменов на своем уровне за счет процессов, сходных с рыночными. Примечательно, что культурный капитал циркулирует во всей сети таким образом, что новые идеи, имплицитно связанные с членством в группе, передаются от одного человека к другому. Эти символические ресурсы обычно остаются внутри стратифицированных каналов связи. Высшие социальные классы воспроизводят свой тип символического капитала, а низшие классы обмениваются своими собственными капиталами, но внутри своей локальной группы. Более того, ритуалы, в которых принимают участие неравные (например, начальники с работниками), также обычно закрепляют символические мировоззрения для каждой из сторон. При этом одна сторона получает свою долю эмоциональной энергии и уверенности в себе, которая сохраняет ее господство, и это создает эмоциональный дефицит для другой стороны, которая не может эффективно с ней конкурировать. Но водовороты в циркуляции культурного капитала могут препятствовать ровному воспроизводству социальной страты. Отсюда возникает социальная мобильность, а также драматические взлеты и падения в карьерах политиков и предпринимателей во всех сферах жизни.

С моей точки зрения, сегодня мы располагаем всеми возможностями для построения теории макроструктуры государства, организаций, классов (то, чем до сих пор занималась традиция конфлик-

та) на основе микроанализа взаимодействий лицом к лицу в разного рода ситуациях. Ритуалы взаимодействия создают культуры различных социальных классов. Сети, возникающие из таких повторяющихся ритуальных взаимодействий, составляют реальность более крупных структур. Теория стратификации, главная составляющая на обоих уровнях, связывает все это вместе.

БУДУЩЕЕ ДЮРКГЕЙМОВСКОЙ ТРАДИЦИИ

Мы видим, что традиция Дюркгейма была богатой и процветающей областью, переплетаясь с идеями и аппликациями в других сферах. Она выдвинула не только теорию ритуалов на самом низшем уровне повседневной жизни, но и макротеорию самых крупных и наиболее абстрактных форм социальной структуры, покрывающих ландшафт Земли. Она объясняет производство идей в формах религии и мифов, а также в принципе может объяснить и саму науку. Мы не стали затрагивать многие из наиболее экзотических аспектов теории Дюркгейма – например, концепцию образования как символического насилия, выдвинутую Бурдьё, и его анализ племенной вендетты как статусной игры «ссуды» и «возврата» перерезанных глоток, в которой наличие врагов представляет собой способ продемонстрировать свой статус, а убийства предстают как форма обмена дарами.

Но наиболее важным, с моей точки зрения, является то, что традиция Дюркгейма дает наиболее существенную поддержку традиции конфликта. На микроуровне взаимодействия она дает возможность традиции конфликта объяснить многообразия классовых культур. Эта теория строит из этих взаимодействий стратифицированную сеть, которая создает макроструктуру господства и борьбы за власть во всем обществе. Теории двухуровневой системы обмена – рынка культурного капитала в ритуальных взаимодействиях и экономического рынка, который идет поверх него – чрезвычайно важны для задач объединения этих двух традиций. Именно из рук дюркгеймианцев традиция конфликта получает наиболее глубокие объяснения работы социальных механизмов.

Конечно, не все в теории Дюркгейма может быть интерпретировано в этом контексте. Возьмем, например, последователей теории преступлений Дюркгейма. Кай Эрикссон, развивая идею о функциональной роли преступности в обществе, выступил с теорией, согласно которой общества создают девиантные формы поведения

в период, когда они проходят кризис поддержания границ. То, что считается девиантным, всегда зависит от конкретного общества. Достаточно пессимистично Дюркгейм заявляет, что даже сообщество святых будет создавать свою форму девиантности, раздувая маленькие недостатки до крупных нарушений. Эриксон применил это к реальному обществу возможных «святых», пуританским поселенцам в Новую Англию. Безумные обвинения в колдовстве, преследование квакеров и других «ересей» могут рассматриваться как способы создания периодических волн кризиса всем колониальным сообществом в целом, а не индивидуальными девиантами внутри этого общества. Не так давно Дональд Блэк расширил дюркгеймовскую перспективу до общей теории социального контроля. В наши дни жалобы на «преступность на улицах» и несправедливость полицейского насилия можно рассматривать как часть более крупного процесса, в котором *проблемы* преступности являются «нормальной» частью ритуального навязывания социального порядка.

В конечном счете, эти теории преступности нужно будет интегрировать и привести в соответствие с моделью стратифицированного общества, которая обсуждалась на страницах этой и предшествующей глав. Между тем эти теории являются примерами того, насколько жизнеспособна теория Дюркгейма. Во многом наиболее глубокие и наименее тривиальные идеи в социологии Дюркгейма до сих пор остаются полузакрытой тайной для различных эмпирических и теоретических предприятий в данной области. По моему мнению, ее потенциал в деле сосредоточения социологии на общем центре сегодня остается более мощным, чем когда бы то ни было.

4. МИКРОИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ

*Подобно тому как мы говорим, что тело находится в движении,
а не движение находится в теле, мы должны говорить, что мы
пребываем в мысли, а не что мысли пребывают в нас.*

Чарльз Сандерс Пирс, 1868

СОЦИОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Теперь мы перейдем к сугубо американской микроинтеракционистской, или интерпретативной, социологии, которая движется от Чарльза Холтона Кули, У.А.Томаса и Джорджа Герберта Мида к Гарольду Гарфинкелю и этнометодологам. Конечно, это не единственный тип социологии, которым занимались в Соединенных Штатах. По эту сторону Атлантики процветали также импортированные традиции Дюркгейма и традиции конфликта. Среди других исконно американских традиций также можно назвать эволюционизм Лестера Уарда и Уильяма Грехам Самнера (который был основателем американской социологии) и статистический уклон последних нескольких десятилетий. Микроинтеракционизм — это не единственная американская традиция в социологии. Но я считаю, что с ним связан наш наиболее оригинальный вклад в социологическую мысль. Это не единственная американская традиция, но это как раз то, что у нас лучше всего получается.

У этой традиции, безусловно, были свои зарубежные родственники и даже предшественники. Она занимается главным образом человеческим субъектом и строит социальный мир на основе человеческого сознания и субъективности. Ей чужд жесткий структурный образ общества, который отстаивают дюркгеймианцы, а также материализм, присущий теории конфликта. Жесткой предсказуемости науки она противопоставляет гибкость и приверженность идеям гуманизма. Не случайно ее иногда связывают с романтической традицией в немецкой философии: идеализмом Иммануила Канта

и в особенности с историческими штудиями Георга Гегеля, Артура Шопенгауэра и Вильгельма Дильтея. Эта романтическая традиция обнаруживает значительный контраст с французской традицией Эмиля Дюркгейма. Достаточно сравнить идеи и послышки Фердинанда Тенниса, который положил начало немецкой социологии в 1880-х годах, высказанные в его работе *Gemeinschaft unde Gesellschaft* (*Община и общество*), с книгой Дюркгейма *Разделение труда в обществе*. В этих двух работах есть немало общего. Оба противопоставляют персоналистический традиционный тип общества безличному современному обществу. Но если Дюркгейм выделяет два разных структурных типа общества на основе «механической» и «органической» солидарности и различает их по плотности населения и степени разделения труда, то Теннис выделяет свои полярные типы сообществ на основе классификации типов человеческой воли. Первый тип построен на *Wesenswille*, «естественной» установке в отношении других людей; второй – на *Kürwille*, расчетливой и рациональной установке. Можно сказать, что Теннис психологизирует и субъективизирует общество, превращая его в проекцию индивидуальных ментальных процессов, спроектированных на большой экран.

Именно этой идее следовали американские социологи. Первые американские философы и социологи учились в Германии, следуя моде конца XIX века. Вспомним, что это было время, когда американские колледжи реформировались и расширялись в исследовательские аспирантуры. Германские университеты, которые прошли этот процесс за 75 лет до этого, служили для них эталоном. Поэтому неудивительно, что первые американские социологи импортирова-

Некоторые отправные точки микроинтеракционистской традиции

1870–1900	Американские прагматисты: Пирс, Джеймс	Немецкие объективисты: Брентано, Мейнонг
1900–1930	Дьюи Кули Томас Мид	Гуссерль
1930–1960	Символический интеракционизм: Блумер Теории девиантного поведения, занятости и профессий: Хьюз	Шюц Экзистенциализм: Хайдеггер, Сартр
1960–1990	Теория ролей	Этнометодология: Гарфинкель Анализ разговоров Когнитивная социология
	Анализ рамок Гофмана	

ли немецкие идеи. В 1940–1950-х годах новая волна микросоциологии была инициирована в США беженцем из Германии Альфредом Шюцем, который вдохновил Гарольда Гарфинкеля на создание этнометодологии. Гарфинкель привил на американской почве и другую группу немецких идейных предшественников, прежде всего философов Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера.

Но несмотря на эти немецкие влияния, американский интеракционизм не был простой имитацией. Американцы значительно переработали то, что они получили от немцев, как в ходе первой волны их влияния, которая дала начало символическому интеракционизму, так и во второй, которая породила этнометодологию и феноменологию. Немецкая философия дала стимул, но американцы создали на ее основе полноценную социологическую теорию. Там, где немцы оставили философский уровень сознания как нечто неприкосновенное и благоговейно почитаемое, американцы разложили его на части и в этом процессе создали социальную теорию разума.

В нижеследующем я сосредоточусь именно на этих достижениях микросоциологии. Это не значит, что теоретики, подобные Кули и Миду, писали только о разуме и теории «я». Они развернули свои теории о более широких структурах общества. Но их сила заключалась отнюдь не в этом. Их картина общества сравнительно наивна и неразвита по сравнению с Дюркгеймом и традицией конфликта. Социальные институты здесь выглядят благообразно, как собрание в учительской начальной школы. Когда Талкотт Парсонс вернулся со стажировки из Гейдельбергского университета и Лондонской школы экономики в 1920-х годах, ему было нетрудно выместить весь этот идейный скарб и заменить его на мощную импортированную европейскую макросоциологию. В Америке силу этого направления составляло то, что отсутствовало в Европе: подлинная микросоциология личности и череда ситуаций, с которыми она сталкивается. Сейчас мы и обратимся к этим вопросам.

ФИЛОСОФИЯ СТАНОВИТСЯ ПОЛЕМ БИТВЫ МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И НАУКОЙ

Первоначально американская традиция возникает не внутри самой социологии, а в среде американских философов-прагматистов. Социологи конца 1800-х годов интересовались социальными проблемами, например, иммиграцией и преступностью. Обращаясь к теоретическим проблемам, они ссылались прежде всего на эволю-

цию, макроконцепцию. Однако из-за радикальных преобразований в устройстве университета в философии это было время важных идейных потрясений. Новые университеты, ориентированные на исследования, заменили систему колледжей, которые давали религиозное образование. Изначальной целью американских колледжей была подготовка главным образом священников. Исторически возникновение сотней колледжей в Соединенных Штатах было связано с периодом фронтьеров, когда каждая протестантская деноминация хотела иметь в своем распоряжении собственную систему колледжей по всей стране: баптисты могли изучать баптистскую доктрину, методисты — методистскую и так далее. Но новые университеты немецкого образца больше не делали акцента на пиелизме, а скорее подчеркивали значимость науки и учености. Даже библейские штудии преобразились в историю и критику текстов. В современном мире старые «нереформированные» колледжи и их религиозное образование безнадежно устарели.

Эта ситуация создавала проблему для американских университетских профессоров, и никто не чувствовал ее так остро, как философы. Другие специализированные дисциплины могли отмахнуться от вопроса о том, что делать со старыми религиозными штудиями, но философы должны были дать ответ на этот вопрос. В старых колледжах философия была основным предметом, но она была всего лишь подготовительной дисциплиной для теологических штудий. Что могла она теперь сказать о религии, когда весь престиж оказался на стороне науки? Дарвин, Спенсер и спор об эволюции поставили религию в положение защищающейся стороны. В то же самое время мир был потрясен целой серией удивительных открытий в области физики и химии, которые преобразовали мир электричеством, стальными заводами и бензиновыми моторами.

Та же самая проблема возникла и в Европе. Франция дает свой ответ на эту ситуацию. Уже во времена Наполеона Французская революция уничтожила средневековые университеты, в которых тон задавали теологи, и заменила их на технические школы, подобные *École Polytechnique* и *École Normale Supérieure*. Реакцией Франции было безоговорочное принятие новой науки и полное изъятие религии из официальных интеллектуальных обзоров. Типичный французский интеллектуал, подобный Эмилю Дюркгейму, был атеистом, пытающимся заменить религию совершенно секулярным мировоззрением.

В Англии и Германии старая религиозная система образования не подвергалась таким резким трансформациям. Был необходим

какой-то компромисс между религией и новым секулярным типом учености. Этот компромисс принял форму идеалистической философии: поколение Канта и Гегеля (около 1800 года) — это поколение германских университетских реформ. Так как британцы реформировали свои университеты гораздо позднее (в 1880-х годах, примерно в то же время, что и американские), то волна идеалистической философии докатилась туда позже и ее возглавили такие мыслители, как Т.Х. Грин и Ф.Х. Брэдли. Идеалистическая философия — это своего рода идейный компромисс с религией: она объявляет мир манифестацией Духа и провозглашает наличие трансцендентных ценностей. Религия, таким образом, сохраняет свое место, но это происходит ценой отказа от буквальной интерпретации Священного Писания. Главным каналом веры становится уже не Библия, а либерализированная теология, которая опирается на разум философов.

С точки зрения ортодоксальных верующих, все это казалось ересью. Непорочное зачатие, чудеса, божественность Иисуса, понятая буквально, и даже суровые наказания и небесные награды Бога-Отца были обменены на аргументы разума о Духе и о важности благих социальных дел. В Америке один философ заявил, что мир божий — это не царство, а республика, а гарвардский профессор Джошуа Ройс удивил многих своим утверждением, что «божественными являются государство и социальный порядок». Тем не менее нужно было что-то предпринять для того, чтобы сделать религию более приемлемой в секулярном мире, который оказался свидетелем очевидных триумфов науки. С 1880-х до 1920-х годов идеализм стал доминирующей философией в американских университетах.

Само по себе все это не кажется особенно многообещающим основанием для социологии разума. Но именно эта философская позиция легла в ее основу. Частью аргумента в пользу реальности духовных факторов в мире стало подчеркивание важной роли сознания в материальном мире. Наиболее явными «духовными» институтами стали такие явления, как искусство, литература, право, история мысли. Ройс и молодой Джон Дьюи пошли еще дальше по этому пути, утверждая, что социальные институты, например, государство, носят нематериальный характер, но являются той системой идеалов, на которые ориентируются люди и которые дают им руководство в их поведении. Таким образом, социальный мир интерпретировался как манифестация человеческого сознания. Идеи рассматривались в качестве объективных, существующих вне индивидуальных людей, так как их можно наблюдать извне. Мы не изобретаем наших идей сами, как утверждали материалистические фи-

лософы. Мы не получаем идеи, глядя на вещи с помощью наших органов чувств и затем формируя ментальные ассоциации, которые порождают идеи, такие как «стул», «красный» и так далее. Напротив, эти идеи приходят к нам готовыми через механизмы языка. Этот аргумент вырос на почве философии, как способ защиты приоритета и объективности духовной стороны вещей над всем материальным. Но как можно видеть, этот аргумент открыл дорогу социологической интерпретации разума и концепции индивида не как изолированного наблюдателя физического мира, который абстрагируется от стульев и пятен цвета, а как участнику человеческого сообщества, чей разум насыщается через посредство языка.

Идеалистические философы открыли этот путь, но сами они не могли следовать по нему. Они слишком увлекались объективной стороной Духа. Люди были только пассивными восприимчивыми Духа, своего рода регистратурой получения божественных сообщений: Богом, являющим себя в секулярном мире. Чтобы превратить это в социологию, идеи нужно было спустить назад на землю и сделать их источником индивидов. Эти индивиды должны были опять обрести плоть и стать активными агентами в «здесь и сейчас» реального мира. Прагматисты стали теми мыслителями, которые совершили этот следующий шаг.

ПРАГМАТИЗМ ЧАРЛЗА САНДЕРСА ПИРСА

Самым известным прагматистом был Уильям Джеймс, гарвардский психолог и философ. Его фундаментальная мысль — о том, что идеи — это не копии внешних объектов и что истина представляет собой форму действия, состоящую из идей, работающих на практике, у которых есть свои следствия, нужные нам. Джеймс был довольно легковесным философом, и отсутствие объективности в его системе превратило его в благодарную мишень для его коллег. На самом деле он вообще не интересовался вопросами эпистемологии. Его интересовала защита религии философскими аргументами. Перед ним стояла та же задача, которая стояла и перед идеалистами. Но если последние пытались найти духовный эквивалент Бога в повседневном мире, то подход Джеймса к чувству веры был скорее психологический. С точки зрения Джеймса, вера в свободную волю оправдана, так как иначе мораль невозможна. Вера в Бога является правильной даже в отсутствие убедительных свидетельств, так как *все* наши мысли тоже основываются именно на вере, а не на исчерпывающих доказательствах. Джеймс приходит к безоговорочной

поддержке любой религии, не предоставляя никаких средств доказательства верности определенной теологии. Для теологов это не было вполне приемлемым решением, но как раз в этом состояло решение Джеймса¹.

Реальным интеллектуальным лидером прагматизма был друг Джеймса, Чарлз Сандерс Пирс. Пирс был, вероятно, самым великим американским философом. И в то же время одним из наиболее экстраординарных. У него никогда не было постоянного научного поста (хотя он и читал лекции в Гарварде, а также в университете Джона Гопкинса), и за свою жизнь он не опубликовал ни единой

¹ Джеймс не интересует нас здесь в качестве психолога, хотя в его психологии есть некоторые элементы, которые превосходят теории личности Чарльза Хортона Кули и Джорджа Герберта Мида. Джеймс был типичным представителем первого поколения экспериментальных психологов, еще работавших на философских факультетах, которые сочетали описание физиологии мозга с анализом различных ментальных функций. Известные «Принципы психологии» (1890) Джеймса содержат главы о зрении, слухе, внимании, памяти, привычке, инстинкте и тому подобном. Среди этих тем он рассматривает поток сознания, а личность становится центром этого потока. Социальная личность, или я как образ, видимый с точки зрения других, — это один из аспектов личности. Кому-то может показаться что в этом уже представлена теория Кули, но это несколько поспешное суждение. Социальное я Джеймса — это только часть иерархии личности, которая включает в себя и телесное я, и духовное я. Единство всех этих я в едином я представляет собой аргумент Джеймса в пользу реальности души. Джеймс проповедовал религию даже в своей психологии. В некотором смысле Джеймс был американским аналогом Вильгельма Вундта, основателя экспериментальной психологии в Германии. Оба были медиками, которые перешли в философию и учредили лаборатории для экспериментального изучения разума. Но Вундт, действовавший в более научной атмосфере, занял более радикальную позицию и отделил психологию от философии. Джеймс же шагнул назад из экспериментальной психологии в религиозную философию. Поэтому основатели американской психологии были учениками Вундта, а не Джеймса. (Эти интеллектуальные сети обсуждаются в книге Бен-Дэвида и Коллинза, 1966.)

По моему мнению, вряд ли можно считать, что Джеймс превосходил социологическую теорию я, так как направление его мысли никогда бы не могло привести к чисто социально обоснованной личности. Кроме того, его кардинальный принцип единого я отходит на второй план при социологическом анализе. Наиболее радикальный пример этого мы увидим в гофмановской теории множественных личностей.

книги. Он оставил после себя множество рукописей на самые разные темы, многие из которых были перепутаны и почти не связаны между собой. Часто он был сознательно эзотеричен. Ему нравились темные выражения, некоторые из которых он сам и придумывал: «агапастизм», «идиоскопия», «фаллибилизм» (термин Пирса для его собственной философии), «фанерон» (для идеи), «фернероскопия» (для феноменологии), «синехизм», «энтаймене», «илляция», не говоря уже о «хоризии, циклозии, перипраксии и апейре пространства». В своей собственной метафизике он выделяет в мире три аспекта, которые безрадостно называет «первичностью», «вторичностью» и «третичностью». Психология была для Пирса «психогнозией», геология — «геогнозией». Может, Пирс просто насмехался над коллегами, когда он, возражая против версии прагматизма Джеймса, заявил, что будет использовать термин «прагматицизм» для своей собственной доктрины, «так как это слово достаточно уродливо, что предохранит его от воров».

Достоинство удивления, как идеи Пирса вообще могли получить какое-то признание. Но ответ на этот вопрос достаточно прост. Пирс был гением, и он находился прямо в центре событий. Его отец Бенджамин Пирс был гарвардским профессором и самым известным американским математиком. Чарлз Пирс жил в Кембридже, и с ним регулярно консультировались видные интеллектуалы. Ройс добился технического совершенства своей системы благодаря предложениям Пирса. Джон Дьюи также оказался под его влиянием. В начале 1870-х годов Уильям Джеймс и другие будущие знаменитости (включая пионера юридического прагматизма и главного судью Верховного суда Массачусетса Оливера Уэнделла Холмса) собирались для неформального семинара в кабинете Пирса и заимствовали его идеи, правда, значительно упрощая их.

Отличие Пирса от позднейших прагматистов заключалось в том, что он гораздо теснее был связан с наукой и менее благосклонно относился к религии. Это отчасти можно объяснить разницей в воспитании. Отцом Уильяма Джеймса был Генри Джеймс Старший (младший Генри Джеймс, романист, был его братом), широко известный популярный философ и последователь шведского спиритиста Сведенборга. В противоположность этому семья Пирса была предана прежде всего науке и к религии относилась несколько враждебно, поскольку догмы последней часто служили препятствием для поисков научной истины. Подход Чарлза Пирса состоял в попытке превращения философии в науку за счет расширения дисциплины логики.

Этот подход был полон энергии предвидения. Во времена Пирса логика была совокупностью формальных дедуктивных упражнений, имеющих своим источником средневековую схоластику и восходящих к Аристотелю. Различные формы мышления классифицировались по типу силлогизмов, наиболее известный из которых, называющийся на студенческом жаргоне «силлогизм Барбара», звучит так:

- A. Все люди смертны.
- B. Все греки — люди.
- C. Поэтому все греки смертны.

Пирс возражал против такой формы логики и считал ее помехой на пути реального мышления. Он подчеркивал, что очень немного в нашем мышлении укладывается в такую форму. Например, как человек приходит к главной посылке этого суждения (A)? Большая часть науки и обыденного мышления связана именно с этим процессом. *Дедукция* менее важна, чем *индукция*, то есть процесс достижения таких обобщений.

Но Пирс идет гораздо дальше. Индукция — это не просто система рассмотрения доказательств и выведения заключений. В отличие от многих современных ему философов-«ассоцианистов» Пирс был достаточно осведомлен о научных исследованиях, чтобы понимать, что обобщения не просто вытекают из фактов. Существует целая стратегия исследования, не последнюю роль в которой занимает процесс формулировки гипотезы. Этот предварительный процесс предположения Пирс называет *абдукцией*. Это не строгий и неэмпирический процесс, а своего рода процесс угадывания отношений. Тем не менее это решающий шаг, без которого наука не смогла бы ничего достигнуть. Более того, с точки зрения Пирса, сама абдукция тоже является формой вывода — и формой логики в более широком смысле. Такой формой вывода, благодаря которой можно двигаться от одной группы идей к ее заключениям в другой группе идей. В своей основе наука основана на процессах человеческого разума, которые идентичны тем, которые задействует здравый смысл.

Это дало Пирсу способ расширения метода логики, который не просто включал науку и философию, но и охватывал всю теорию разума во всех его проявлениях. Он предположил, что каждая форма мышления состоит в установлении некоторой связи между идеями. Эти связи и их законы могут исследоваться эмпирически. Он назвал науку, которая занимается этими связями, семиотикой.

Этот термин, в отличие от термина «абдукция», закрепился (впрочем, Пирс также использовал и другие варианты: «семиозия» и «семиозис»).

Семиотика — это наука о знаках. С точки зрения Пирса, человек никогда не воспринимает и не думает о мире напрямую, но только посредством знаков. Значение — это всегда трехстороннее отношение между *знаком*, *объектом* (но только в аспекте, в котором его описывает знак) и *внутренним референтом*, или мыслью. Не существует прямой связи между идеей и внешним объектом, к которому она якобы отсылает (вопреки представлениям Локка и других философов-ассоцианистов). Знак всегда находится посередине и контролирует отношение. Знаки не изолированы друг от друга. Они являются внешними по отношению к индивидам, и их сущность состоит в том, что они эквивалентны для всех, кто их использует. Таким образом, слова (или визуальные символы, шумы и прочее) всегда вмешиваются в процесс мышления и внедряют момент универсального и социального в индивидуальный разум.

Кроме того, знаки не являются изолированными и в другом смысле. Знаки используются цепочками, одни после других. Они привязаны не только к объекту и внутренним мыслям, но и друг к другу. Один знак несет в себе коннотации других знаков. Часть этой связи — в оттенках значения знака, так как одно слово отсылает к другим словам, в которые оно частично или полностью может быть переведено (то, что сейчас называется *семантикой*). Другая часть — это динамическая связь слов в предложении или цепь мысли (то, что сейчас называется *синтаксисом*, хотя Пирс имел в виду очень широкую концепцию таких последовательностей мысли, далеко превосходящую отдельные предложения). В пирсовском смысле логика состоит из этих связей знаков друг с другом со всеми их последствиями для их отношения к мыслям и объектам. Наши логические выводы — это умственные привычки. То, что мы считаем правильными верованиями, — это привычка движения от одного знака к другому, которая так упрочилась, что она протекает без всяких сомнений.

В эту схему попадают даже эмоции. У эмоций есть своя логика — вывод из одного ментального состояния в другое через посредство знаков (и иногда с отсылкой ко внешним объектам). Сознание — это вид эмоции, обычно очень слабой, который привязан к определенным типам отношений знаков. За 20 лет до Фрейда Пирс говорил о ментальных процессах как действующих на бессознательном уровне, когда привычки связи тесно установлены и ничего не про-

исходит, что препятствовало бы потоку умозаключения. С другой стороны, мы сознаем нечто, когда мы эмоционально возбуждены в связи с этим. Фактически эмоция — это просто особый тип беспокойства, который мы испытываем в потоке умозаключения.

С этой точки зрения Пирс критикует тот тип философии, который сформулировал Рене Декарт. Последний пытается достичь определенности, сомневаясь во всем до тех пор пока вне его процедуры не останутся только определенные фундаментальные элементы, которые уже невозможно поставить под сомнение. Пирс считает, что *Cogito ergo sum* («Я мыслю значит существую») Декарта невозможно, так как мы вообще не можем мыслить без знаков, а знаки отсылают к другим знакам и другим людям, которые тоже их используют. Мышление всегда происходит в сообществе, и то, что мы называем истиной, является объективным только потому, что это умственная привычка, к которой мы неизбежно тяготеем в качестве группы, так как эти умственные привычки позволяют нам действовать в мире. Таким образом, эпистемология Пирса оставляет место для объективного материального мира, который Джеймс просто пробегает мимо. В то же время она предлагает сущностно социальную теорию разума. Пирс говорит, что человек — это сумма его мыслей, и эта сумма всегда представляет собой историческое собрание его опыта в обществе. Мы никогда не сможем достичь полной определенности в отношении чего бы то ни было в смысле строгого логического доказательства. Даже в математике можно поставить под сомнение основания связей между различными идеями. Но на самом деле мы никогда этого не делаем. Нашим рабочим критерием истины является отсутствие сомнения. Это прагматический подход, который обеспечивает нормальное функционирование, когда идеи текут автоматически. Это то, что мы ошибочно принимаем за абсолютную истину.

Пирс не был социологом в явном виде. Он не видел возможности такой науки, хотя он и включает в свою классификацию «человеческих наук» раздел, который он называет «deskриптивной физикой или историей». У него не было концепции социальной структуры. Такой подход был типичен для большинства американских мыслителей его поколения и нескольких последующих. Джон Дьюи, один из его прагматистских последователей, много писал о вопросах социальной философии, хотя результаты его работы вряд ли можно квалифицировать как какой-то особый вклад в социологию. Дьюи был больше озабочен идеалами демократии, чем

реальностью. Он внес большой вклад в популяризацию программы «Прогрессивного образования», которая состояла в том, чтобы школы вместо изучения традиционных дисциплин стали частью общего курса приспособления к жизни. В период значительной экспансии школьной системы в начале XX века эта программа служила разбавлению схоластического содержания образования. Но ни сам Дьюи, ни другие последователи прагматизма не обладали той отстраненностью, которая позволила бы им увидеть за всем этим борьбу за социальный статус или тенденции к инфляции авторитета, которую они тем самым приводили в действие. Как это обычно происходит с философами, которые занимаются обществом, не овладев объяснительными принципами социологии, их идеалы того, что должно быть, мешали их серьезному пониманию того, почему вещи таковы, как они есть, и поэтому они не могли осуществить эти идеалы на практике.

Прагматисты никогда не доминировали на своей родной почве американской философии. В период расцвета Пирса, Джеймса и Дьюи, то есть примерно с 1870 по 1930 год их жизни, на философских факультетах преподавались в основном различные формы идеализма, который казался более аутентично философским в великих вопросах метафизики и более объективным в своей концепции истины по сравнению с прагматизмом. Когда идеализм, в конце концов, обрушился под напором секулярных тенденций XX века, в 1930–1940-х годах его заменили на логический позитивизм, который был сосредоточен на технической группе правил того, что считалось научным методом. Более широкая и реалистичская концепция науки Пирса была забыта. Она возродилась вновь, но в несколько другом обличье только в отголосках в недавней социологии науки.

В целом социологи оказались наследниками прагматистской традиции. Нельзя сказать, что они приняли все. Первой была устранена прагматистская защита религии, главная забота Джеймса. Прогрессивная идеология Дьюи тоже не имела шансов уцелеть после того, как американские социологи стали импортировать более серьезные традиции, традицию конфликта и традицию Дюркгейма. Вклад Дьюи, недостаточно еще оцененный, состоял в новом ощущении текучести жизни, как она является нам в непрерывной последовательности ситуаций. Но самым главным вкладом прагматистов был сам стимул к созданию всецело социальной теории природы разума и личности, которая была ориентирована на действия, для эмпирических социологов.

ОБЩЕСТВО В РАЗУМЕ: КУЛИ

Чарлз Хортон Кули был коллегой Джона Дьюи по Мичиганскому университету. Но Кули был не философом, а сотрудником вновь образованного факультета социологии, и его теория строилась на эмпирических наблюдениях, хотя и довольно обыденных. Первое важное заявление американской микросоциологии было сделано в начале XX века, и им стала работа Кули «Человеческая природа и социальный порядок» (1902).

Кули начинает с достаточно тривиального наблюдения о том, что у детей часто бывают воображаемые партнеры в их играх. Физически они могут находиться одни, но в своем воображении они находятся в присутствии других. Кули считает этот факт ключевым для понимания развития разума. Он предполагает, что мышление — это и есть воображаемый разговор, который протекает в уме как бы про себя. Дети учатся мыслить, участвуя в разговорах. Разговор с воображаемыми друзьями по играм — последующее звено в процессе интернализации разговора. Здесь разговор еще ведется вслух, но с воображаемым партнером.

Кули продолжает, что даже для взрослых нет существенных различий между воображаемыми и реальными людьми. Другие люди реальны только потому, что мы представляем внутреннюю жизнь, которую мы не можем наблюдать сами, но которую мы проектируем на них. «В этом смысле все реальные люди являются воображаемыми», — провозглашает Кули. «Мое общение с другим человеком, очевидно, состоит в отношении моей идеи этого человека и моим остальным разумом». Таким образом, Кули здесь предлагает своего рода феноменологический эмпиризм. Человек никогда не сталкивается с другими людьми, а только с их идеями. Их физические тела, стоящие перед нами, важны только потому, что они дают нам тот центр, вокруг которого мы можем кристаллизировать свои чувства. В конце концов, спрашивает Кули, что можно узнать о человеческой личности из измерения и взвешивания человеческих характеристик? Цель социологии — наблюдение за истинными фактами общества, которые представляют собой не более чем представления, которые у людей складываются друг о друге.

Значит, общество надо изучать главным образом в представлении. Физически реальные люди не становятся социально реальными, пока их кто-нибудь не представит себе. Они не могут воздействовать на нас, пока мы не будем сознавать их социальных намерений по отношению к нам. Кули говорит, что если бы кто-то поехал

в чужую страну и укрылся бы там так, что никто бы не знал, где он, он не имел бы никакого социального существования для местных жителей. Это довольно эфемерный взгляд на общество, но Кули превращает его в теоретическую добродетель. Если мыслить людей именно в физических терминах, то невозможно объяснить, как существует общество. В таком случае можно было бы видеть только разрозненные тела, а общество тогда должно было быть помыслено как некая мистическая сила, которая добавляется извне, под именем социальности, альтруизма и так далее. Но этой проблемы не возникнет, если мы признаем, что разум каждой личности уже социален и что все социальное сосредоточено в разуме. Общество — это отношение между идеями. «Для того, чтобы существовало общество, необходимо, чтобы люди где-то вместе собирались, а они собираются вместе только как личные идеи разума. Где же еще?» Человеческий Разум (это слово Кули теперь пишет с большой буквы) — это коллективный рост, который относится к разным возрастам, и место пребывания общества в самом широком смысле.

Как можно себе представить, взгляд Кули на общество необычайно благодушен. Он провозглашает, что не существует реальных различий между эгоизмом и альтруизмом, так как я и другие существуют только в отношении друг к другу. Альтруизм — это не особый мотив поведения, так как он присутствует во всех наших чувствах. Невозможно себе даже помыслить я, кроме как в контексте неявной отсылки ко всем другим. Конфликт или господство в такой схеме не могут даже возникнуть. Социальные проблемы являются просто результатом недопонимания и могут быть разрешены за счет более широкого учета точки зрения других. Здесь очевидно присутствие элементов наивной американской идеологии. Социальный идеализм Кули настолько радикален, что он не видит разницы между фиктивными и реальными людьми. Гамлет обладает такой же социальной реальностью, как дворник на нижнем этаже, а может быть, даже большей, так как о нем думает больше людей. Кули говорит, что русские помещики, которые думают о крепостных как о животных, не испытывают социального воздействия последних, так как крепостной не воздействует на их ум и совесть. Это очень неудачный пример, так как крепостной поддерживает помещика своим трудом, и сама жизнь и само существование помещика как социального класса зависит от него. Кули, вращавшийся в среде среднего класса и работавший в своем кабинете в Анн Арборе, штат Мичиган, за 15 лет до русской революции, был убаюкан своими фантастическими взглядами на такого рода предметы.

Тем не менее Кули нельзя просто списывать со счетов как мечтателя. Его теория почти лишена смысла как модель объяснения широких структур общества. Но она сделала возможной микросоциологию как процесс умственной интерпретации. Пример с Гамлетом, который обладает большей социальной реальностью, чем окружающие люди, конечно, немного нелеп. Но он не будет выглядеть так глупо, если мы заменим его на Иисуса или Мухаммеда, или на имя какой-то современной звезды поп-музыки, которые задают идеал, к которому стремятся миллионы людей. «Представления, которые у людей складываются друг о друге, — это полноценные факты общества» — провозглашает Кули. Можно добавить, не единственные полноценные факты, но тем не менее достаточно полноценные и важные.

СОЦИОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЖОРДЖА ГЕРБЕРТА МИДА

Если Кули высказывался в форме предположений и догадок, но достаточно поверхностно, то Джордж Герберт Мид развил его направление мысли в стройную и сложную теорию социального разума. Мид был не социологом, а философом, который преподавал в Чикагском университете, на том же факультете, что и Джон Дьюи (который переехал туда из Мичигана). Он учился в Гарварде у Джошуа Ройса, философа-идеалиста, которого мы упоминали раньше в связи с его экстравагантной верой в божественность государства. В сравнении с ним Мид был закостенелым эмпириком и даже материалистом. Он называл себя социальным бихевиористом и восхищался психологом Джоном Уотсоном, который предложил свести изучение разума к изучению внешнего поведения и индуктивно выводить законы человеческого поведения из экспериментов над животными. Однако, с точки зрения Мида, решающее значение всегда имеет социальное поведение. Это взаимодействие между биологическими организмами и интернализация движения вперед-назад внутри людей, которые конституируют разум.

Мид начинает свое изложение с проведения резкого различия между я и телом. Я представляет собой нечто рефлексивное, нечто, что может быть и объектом, и субъектом; оно может сделать объект из самого себя. Наши части тела (например, сердце, пищеварительная система) могут работать сами по себе без нашего сознательного контроля, и они представляют собой единство, так как мы заставляем их принадлежать нашему я. Когда мы чем-то поглощены, то я исчезает. К тому же существует множество опытов я, которые никак не связаны с телом: мышление, воображение, память.

Откуда же тогда возникает это нетелесное я? Мы никогда не можем видеть тело в целом, даже в зеркале. Человек получает опыт самого себя не через прямое наблюдение, а только косвенно, с позиции других. Это то, что характерно также для человеческой коммуникации. Животные подают сигналы, которые имеют значимость для других членов их вида, но человеческие слова — это символы, которые направлены не только на других, но также и на самого себя. В отличие от Кули, понимание разума которым было довольно грубым, Мид ассимилировал сложную трехчленную теорию значения Пирса. Человек отличается от других животных, так как он может быть объектом для самого себя. Мид считает, что эта рефлексивность, а не какая-то сверхъестественная сущность вроде души, дает человеку особую человечность, таким образом порывая с религиозными сантиментами своего учителя Ройса.

Это я, которое может быть объектом для самого себя, возникает только в социальном опыте. После того, как человек приобретает эту социальную точку зрения, он может и в одиночку продолжать свои внутренние мысли, но никак не до этого. Мысль — это разговор жестов, который идет с самим собой. Но даже разговор с другими несет на себе это качество самоотсылки. Мы можем думать о том, какие слова мы собираемся сказать, потому что мы принимаем точку зрения другого и оцениваем реакцию другого на то, что мы до сих пор сказали. Это также относится к интернализированному разговору, который конституирует мысль: мы должны постоянно наблюдать за собой как внутренними собеседниками, принимая точку зрения внутренней аудитории так, чтобы мы могли направлять поток последующих частей наших мыслей.

Мид идет дальше Кули и в другом отношении. Если у Кули было понятие единого я на уровне здравого смысла, то Мид подчеркивал, что у каждого индивида есть множество я. У нас складываются разные отношения с разными людьми, и мы ведем себя иначе по отношению к разным людям. Существуют различные я для разных типов социальных отношений, а некоторые части нашего я существуют только субъективно в отношении к самому себе. Мид таким образом вторгается на ту же территорию, что и Зигмунд Фрейд, хотя он и предлагает совершенно другое разделение частей я. Как мы увидим, этот акцент на множественности я был позже подхвачен Ирвингом Гофманом.

В своем интересе к значению и верованию как формам действия Мид был прагматистом. Он развивает триадическую теорию семиотического значения Пирса: перед нами всегда жест (который мо-

жет быть звуком), направленный от одного организма к другому, ответ другого, и действие, которое является результатом и ответом на жест. Наше мышление осуществляется за счет символов, заряженных таким образом значением. Даже нечто настолько прозаическое, как стул, символизируется жестом (вербальным или невербальным, например, физическим актом присаживания на него), который таким образом входит в процесс коммуникации. Символы не являются частью окружающего физического мира, так как последний обязательно состоит из отдельных объектов — *этот* стул, *этот* угол комнаты — тогда как символы являются универсалиями. Они вызывают во всех одну и ту же реакцию и поэтому встречаются во многих различных ситуациях. Даже невербальный язык основан на том, что он вызывает в разных людях один и тот же ответ. «Человек, который что-то говорит, говорит себе то, что он говорит другим», провозглашает Мид. «В противном случае он не знает, что он говорит».

Мид описывает развитие разума в детстве, начиная с описания воображаемых партнеров по детским играм Кули. Мид расширяет эту метафору до игры в целом, будь то игра в одиночку или с другими детьми. Самая ранняя форма игры — это игра в кого-то: в маму, в полицейского, в водителя игрушечной машины (или в саму машину) или во что-то в этом роде. Маленькие дети бесконечно играют в свое свободное время, так как первая наипростейшая стадия их развития — «стать другими для своего я». Для того, чтобы посмотреть на себя со стороны, решающее значение имеет попытка принятия на себя роли другого.

Для более старших детей характерна следующая стадия организованных игр. Идет ли речь о прятках или бейсболе, перед нами новая структура, которой надо овладеть. Чтобы играть какую-то роль, ребенок должен овладеть отношениями всех включенных в игру. Игрок в бейсбол должен знать, что делает бьющий по мячу и что делает тот, кто его отбивает, и что делает тот, что на подхвате; отношения всех других вплетены в каждую позицию. На этой стадии наше социальное я еще более кристаллизуется. На ранних стадиях ребенок быстро переключается от одной роли к другой, от одной воображаемой игры к следующей и от одного настроения к прямо противоположному. В этой быстрой череде ролей, пишет Мид, заключены как очарование, так и слабость детства. Эта смена ролей объясняет как удивительную спонтанность ребенка, так и его предрасположенность к поглощенности вещами и процессами, а также быстрому переходу от смеха к слезам в течение нескольких минут.

Организованные игры представляют собой более высокую ступень организации я. Человек принимает на себя роли более сознательно и остается в ней, как того требует социальная ситуация. Как само я, так и окружающая сеть ролей, становятся более социально структурированными. По этой причине дети начинают интересоваться правилами и часто проявляют отсутствие гибкости в отношении изменения этих правил. Здесь еще не достигнут более высокий уровень рефлексивности, когда участники понимают, что правила изобретаются и могут изменяться. Правила, которые кажутся внешними, представляют на самом деле достижение умственной структуры, которую Мид называет «Обобщенный Другой». Это не просто принятие позиции какой-то конкретной другой личности, а постоянная способность разума, которая может принимать позицию всего сообщества. Это взгляд зрителя на всю бейсбольную команду, где каждая роль смешана с другими. «Обобщенный Другой» — это основа сложной институциональной кооперации, которая создает сам институт общества. Например, собственность — это не просто отношение человека к какой-то определенной вещи, а признание того, что это право человека в общем будет признано и другими.

«Обобщенный Другой» также играет решающую роль для собственного разума человека. Только принимая отношение «Обобщенного Другого» к своему я индивид может мыслить в категориях тех абстрактных символов, которые конституируют рациональный взрослый ум. Слова — это универсалии, которые во всех вызывают одно и то же отношение. Эта импликация универсальности не могла бы существовать, если бы не было какой-то ментальной структуры, которая принимает позицию всех. Это своего рода глобальное зеркало, об которое каждый индивид прогоняет свои собственные утверждения, чтобы придать им общее значение.

Другие части я производны от этой структуры. Кули говорил о «зеркальном я» как об образе самого себя, который приходит извне. Мид подчеркивал, что такое я представляет собой только часть более широкой структуры. Существует I, спонтанная действующая часть нас самих, которая отвечает на социальные ситуации и обменивается жестами с другими. Я не полностью определяется извне, но в нем есть элемент свободы и инициативы. В я также есть Me, то есть такое я, которое состоит из позиций, которые принимают другие люди по отношению ко мне. Это образ самого себя, я как нечто гордое или смиренное, доброе или дурное, уродливое или прекрасное. Me — это производное я, которое возникает только рефлексивно после того, как человек совершил активные жесты в отношении

других людей. Зеркальному я Кули теперь отводится более скромная роль, и, таким образом, вся система становится более динамичной. Во всем этом «Обобщенный Другой» играет решающую роль. Зеркало – это не просто нечто внешнее, как это было у Кули. Оно должно стать перманентной основой внутри разума человека, если он хочет видеть свои мысли отраженными на нем и так придавать им общую значимость, которая делает их сообщаемыми. Этот процесс не менее важен, когда человек находится в одиночестве. «Обобщенный Другой» предоставляет абстрактную неспецифицированную аудиторию, которая может использоваться для внутреннего разговора, который и составляет суть мышления человека.

Таким образом, Мид предоставляет модель разума как группы взаимодействующих частей. Она социально укоренена, так как «Обобщенный Другой» является центральной точкой отсчета, хотя и невидимой. В то же время она индивидуальна и фундаментально свободна, так как I всегда ведет переговоры с другими людьми, не принимая уже существующих социальных требований. Но мышление человека проникнуто обществом, так как фишки, которые человек передвигает в своем разуме, планируя курс действий, являются аспектами Me, микрообразами себя, которые человек воображает в различных ситуациях, перебирая в уме различные альтернативы. Можно сказать (хотя это и моя метафора, а не Мида), что я – это своего рода шахматная доска, на которой Me (а на самом деле несколько Me) – это фигуры, I – это игрок, который их двигает, а «Обобщенный Другой» – это свет, освещающий доску, который делает ходы понятными. Или, если использовать другую метафору, я – это серия взаимоотражающихся зеркал, постоянно находящихся в движении.

БЛУМЕР СОЗДАЕТ СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ

Можно заметить, что система Мида могла развиваться в нескольких разных направлениях. Одно из этих направлений подчеркивает текучесть и возможность переговоров в отношении социального порядка. Это как раз то направление, которое было избрано Гербертом Блумером и поддержано основными тенденциями Чикагской школы социологии. Другое направление прямо противоположно. Оно подчеркивало вплетенность я в систему социальных ролей и дало начало так называемой теории ролей. Мы обратимся к каждому из этих направлений по очереди.

Как уже было отмечено, Джордж Герберт Мид не был социологом и в течение своей жизни опубликовал всего несколько социоло-

гических работ. Но в 1920-е годы его лекции в Чикагском университете были популярны среди студентов-социологов. Это было время, когда американская социология приобретала свою исследовательскую традицию под руководством чикагских социологов У.А. Томаса и Роберта Е. Парка. Эти социологи не были особенно сильны в теории, и их исследовательские интересы концентрировались на социальных проблемах современного города и на ассимиляции новых иммигрантов в американском обществе. Те теории, на которые они опирались, были экологическими и структурными, а не микроинтеракционистскими. Но У.А. Томас, у которого была хорошая философская база в немецкой философии благодаря стажировке в Германии в начале века, подчеркивал волюнтаристический элемент, который хорошо был приспособлен к активистской стороне теории Мида. Томас сформулировал несколько новых положений на страницах трактата по социальным проблемам «Ребенок в Америке», которые впоследствии стали известны как «теорема Томаса». «Если люди определяют ситуации как реальные, они реальны в своих последствиях», — такова его основная идея. Социальная жизнь обладает особым качеством: она становится тем, чем люди ее считают. Если какое-то поведение определяется как престижное, то люди будут пытаться вести себя именно таким образом. Если оно определяется как нечто противоположное, оно становится социально девиантным и избегается теми, кто хочет быть респектабельным.

Такая ситуация делает жизнь очень текучей и способной к быстрым изменениям. Если определение ситуации может быть изменено, поведение, которое оно вызывает, тоже изменится, иногда к начальным крайностям. Именно эту интерпретацию Мида избрал Герберт Блумер, в то время молодой инструктор на социологическом факультете Чикагского университета. После смерти Мида в 1931 году Блумер стал его страстным пропагандистом. Он придумал термин «символический интеракционизм», чтобы подытожить позицию Мида, которой, как ему казалось, он преданно следовал. Однако нужно отметить, что вопрос о следовании Миду вызвал множество споров. Символический интеракционизм Блумера имеет гораздо больше общего с развитием «дефиниции ситуации» Томаса, чем с Мидом, который следовал бихевиористу Уотсону, и он кардинально отличается от теории ролей, представители которой пытались суммировать идеи Мида в определяющий набор объяснительных законов.

В символическом интеракционизме Блумера есть и элементы философии Джона Дьюи. Дьюи также был преподавателем на фи-

лософском факультете Чикагского университета до своего перехода в Колумбийский университет и стал частью той идейной атмосферы, которая окружала Блумера. Дьюи критиковал утилитарную модель рационального агента, который выбирает средства для достижения целей и, таким образом, максимизирует вознаграждения и минимизирует наказания. Дьюи подчеркивал, что средства и цели в реальной жизни не разделены. В обычных ситуациях человек действует по привычке и находит цели по ходу дела, когда он видит средства для их достижения. Одна ситуация переходит в другую и рациональная ментальность расчета обычно не играет такой уж решающей роли.

Блумер воспринял эту ситуационную модель и довел ее до крайности. Люди не просто находят уже готовые ролевые модели. Они постоянно создают и пересоздают их от одной ситуации к другой. Так называемые социальные институты — государство, семья и экономика — существуют только тогда, когда люди оказываются вместе в определенных ситуациях. Мы можем действовать сообща, потому что только сообща мы конструируем сами действия. Это делается через механизм, на который обратил внимание Мид: каждый индивид проектирует себя (например, Ме аспект я) на различные будущие возможности. Каждый берет на себя роль другого для того, чтобы увидеть, какую реакцию вызовет определенное действие. В результате каждый строит свои действия с точки зрения последствий, которые он предвидит в реакциях другого человека. Общество — это не структура, а процесс. Определения ситуаций возникают из этого постоянного отрицания перспектив. Реальность социально сконструирована. Если она и принимает одни и те же формы снова и снова, то это происходит только потому, что агенты переговоров разработали одно и то же разрешение этой ситуации и не существует гарантии того, что следующий раз это произойдет как-то иначе.

В блумеровской версии символического интеракционизма особенно высоко ценится спонтанность и неопределенность. Любой институт может видоизмениться. Общество может взорваться революцией. Но эта позиция никогда не становилась господствующей в американской социологии. Даже в течение собственной карьеры Блумера эволюционные и экологические подходы к структуре уступили структурному функционализму Талкотта Парсонса и Роберта Мертона, с одной стороны, и во все большей степени традициям макроконфликта — с другой. Но Блумер превратил символический интеракционизм в мощное подводное течение и громкую оппозицию. Он резко критиковал все соперничающие позиции, которые,

с его точки зрения, опредмечивали социальную структуру и упускали из виду первичную реальность, индивида, который ведет переговоры по поводу социальных ситуаций. С точки зрения Блумера, функционализм имел дело с фикциями, играя с абстрактными категориями. Исследовательские опросы и количественные исследовательские методы в целом (которые становились все более популярны в одном из направлений социологии, начиная с 1950-х годов) тоже осуждались Блумером, как упускающие из виду саму сущность социальной жизни. Блумер утверждал, что ответы на вопросники по поводу отношения к социальным явлениям были совершенно нереалистическими, так как они абстрагировали реальные ситуации, в которых люди действуют. Например, когда кого-то спрашивают о его отношении к расовым проблемам, то его ответ показывает только, как человек действует в ситуации интервью, а не его реальное поведение в различных ситуациях взаимодействия с белыми или неграми. Негативные комментарии Блумера больно жали его оппонентов, один из которых назвал его «могильщиком социологического исследования».

Тем не менее Блумер продолжал оказывать значительное влияние своим подходом. Он выступал в Чикагском университете в течение 20 лет и издавал престижный журнал *American Journal of Sociology*. Затем в 1950-х годах он переехал на западное побережье для организации известного факультета социологии Калифорнийского университета в Беркли. Символический интеракционизм не оставался при этом только критикой других социологий, но создал свою собственную традицию исследования. Опираясь на идеи Чикагской школы в области наблюдения за участниками социальных процессов, он развил теорию занятости и профессий, в которой рассматривал их не как сущности, а как процессы: формы взаимодействия, выбранные самими участниками. Под руководством чикагского коллеги Блумера, Эверетта Хьюза, символический интеракционистский подход к профессиям представил докторов, адвокатов и дворников в равной степени в качестве манипуляторов, пытающихся скрыть свою грязную работу для создания благоприятного публичного образа. (Эмпирическое влияние этого подхода на Ирвинга Гофмана уже стало очевидным, хотя Гофман почерпнул свои теоретические интерпретации из другой традиции — традиции Дюркгейма.) Полученная картина оказалась весьма далекой от официального благоприятного взгляда на эти профессии, которых придерживались функционалисты. Они обнажили нелицеприятные пласты скрытой политики профессий.

Другой крепостью символических интеракционистов оказались исследования девиантного поведения. Такие исследователи, как Альфред Линдесмит, Ховард Беккер и Эдвин Шур, взглянули изнутри на ситуации и мировоззрения деликвентов, алкоголиков, наркоманов и прочих нарушителей социальных стандартов вместо того, чтобы принимать на веру точку зрения ведомств социального контроля. Они обращали внимание на то, как девианты продвигаются в контексте своей карьеры и приходят к собственной интерпретации самих себя, которая заставляет их выбирать путь, противоположный «прямому» или «квадратному» миру. С этой точки зрения, сама девиантность — отнюдь не само собой разумеющееся явление. Те нормы, которые они нарушают, — не объективные сущности, а нечто такое, что само является предметом переговоров. Эдвин Шур описывал создание «преступлений без жертв», например, использование наркотиков, азартные игры или аборт, а Ховард Беккер выдвинул концепцию «моральных предпринимателей» для анализа маневров тех официальных лиц, которые пытаются создать и навязать другим свои концепции девиантности.

Символический интеракционизм принял сторону изгоя и бэдолаги, которая резко расходилась с благодушными официальными банальностями, которые высказывались в отношении общества и которые поддерживал Кули. Траектория исследовательских интересов последних 70 или 80 лет была движением от поверхности нормального общества к андеграунду, а блумеровская критика официальной социологии стала поворотным пунктом на этом пути. В последние годы символический интеракционизм даже солидаризовался, по крайней мере, в лице некоторых социологов, с марксистской традицией конфликта. Это, конечно, относится не ко всем формам теории конфликта — особенно он мало совместим с жестким материализмом, — но символический интеракционизм оказался прекрасно совместим с антипозитивистской и антинаучной формой марксизма, которая ведет речь о переходных и произвольных чертах капиталистического социального порядка. В этой конвергенции даже есть своя глубокая идейная логика, так как обе традиции имеют своих предшественников в лице германских идеалистов и историцистской философии Гегеля и Дильтея.

Однако не все последователи Мида пошли этим путем. Существует и другое направление, которое тоже называет себя символическим интеракционизмом, но иногда оно также называется теорией ролей. Это направление пытается разработать общую научную теорию в отношении к социальной структуре. С точки зрения этого

подхода, социальные институты состоят из ролей, подходящих индивидам. В семье есть роли отца, матери, детей, братьев и сестер и так далее. Такие роли предшествуют всяким переговорам участников. Эта теория связана с функционалистским взглядом на общество, особенно в описании ролей, которые создаются на основе институционализированных норм и ценностей. Одна часть этой теории пытается анализировать эмпирически различимые вариации в индивидуальном поведении. Наиболее развитая часть этой теории обращается к множественности ролей, которые индивид может принимать в «серии своих ролей» (этот термин был введен Робертом Мертоном, который интегрировал теорию ролей в свой функционалистский анализ). Таким образом, один и тот же индивид может быть одновременно женой (для своего мужа), матерью (для своих детей), дочерью (для своих родителей), работником (для своего работодателя), лидером (какого-то комитета) и так далее. Возникает вопрос: как люди действуют в случае конфликта интересов различных компонентов их сети ролей? В самой утонченной части этой теории Ралф Тернер предложил группу пропозиций, которая пытается предсказать, с какими ролями человек наиболее тесно сживается и идентифицируется, или другими словами, в каких из них он чувствует себя дома, а какие из них наиболее поверхностны.

Два направления символического интеракционизма очень отличаются своим тоном. Теоретикам ролей нравятся банальные домашние темы вроде тех, что были описаны выше (материнская и так далее), а более радикальные ситуационисты-блумерианцы предпочитают темы, связанные с андеграундом. Ролевые социологи много занимались построением теорий, в то время как ситуационисты критиковали абстрактное теоретизирование от имени спонтанности и текучести реальной жизни. Тем не менее эта традиция загнала себя в теоретический тупик. Ситуационисты часто пренебрегали теорией в пользу анализа конкретных социальных проблем, таким образом возвращаясь к атеоретической позиции, которая господствовала в начале XX века. Теория ролей продолжает развивать научную модель, которая, впрочем, изрядно сузила свой охват и свелась к вопросу о том, как я встраивается в свои социальные роли. Такой подход упускает динамическую составляющую индивидуума, которую акцентировал Мид, и превращается только в частичную теорию я. Мид разработал модель разума и уточнил состав внутреннего аппарата сознания: внутренний разговор I, Me и «Обобщенного Другого», которые составляют социологическую теорию мышления. Теория ролей больше не интересуется этой

внутренней структурой и просто указывает на те пути, которыми я привязывается к различным частям общества. В терминах Мида это только теория Ме.

С моей точки зрения, потенциал теории разума Мида еще далеко не исчерпан. На самом деле в этом направлении сделаны только первые шаги. Как теория ролей, так и ситуацианистская версия символического интеракционизма отвлекли внимание от главного вклада Мида, подлинно социологической теории мышления. Это одна из причин, по которым теоретический импульс социологии был подхвачен в последние годы другим теоретическим направлением, которое никак не было связано с американскими корнями Пирса, Кули и Мида. Это совершенно другой подход к социологии сознания, который выступил под флагом этнометодологии и феноменологии.

СОЦИОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ: ГУССЕРЛЬ, ШЮЦ И ГАРФИНКЕЛЬ

В 1966 году Питер Бергер и Томас Лукман опубликовали книгу с красноречивым названием «Социальная конструкция реальности». Авторы, американец и немец, были учеными в области теологии и философии. Их аргументы шокировали представителей магистрального течения социологии, которые привыкли смотреть на мир как на нечто объективное и независимое от людей. Еще более радикальная декларация такого рода появилась годом позже — это была книга Гарольда Гарфинкеля «Исследования по этнометодологии». Книга Гарфинкеля была сборником его старых статей, которые уже широко изучала группа его последователей-энтузиастов, встречаясь частным образом. С публикацией этой книги это «подпольное» движение вдруг оказалось в центре внимания. Группа эпистемологических радикалов бросила вызов социологии, провозгласив ее наивной, необоснованной наукой, которую надо заменить на новую дисциплину, «этнометодологию».

Нет необходимости говорить, что этого не случилось, но все поняли, что старый социологический истеблишмент больше не вызывал всеобщей преданности и что среди соперничающих фракций новой идейной сцены была одна открыто революционная группа. «Этнос», как их теперь называли, не был революционным в чисто политическом смысле. Марксизм в их глазах принадлежал к тому же старому способу мышления, иго которого надлежало свергнуть.

Чего они требовали? Многие не совсем хорошо это понимали. Гарфинкель и его последователи обычно писали сложным языком,

используя только им понятную терминологию. Обычно они встречались частным образом и не прикладывали особых усилий к тому, чтобы ввести в курс своих занятий коллег, работающих в этой области. Многие социологи рассматривали их поэтому как особый культ. Частью проблемы было то, что этнометодологи пытались ввести сразу два новшества. С одной стороны, они пытались сделать социологию более философской, чем она была за предшествующие бо лет, и с другой стороны, та философия, которую они хотели использовать, была недостаточно известна в США и уходила своими корнями в немецкую феноменологию. Но если бы этнос был чисто философским течением, им было бы гораздо легче пренебречь. Но этнометодологи также претендовали на куда больший эмпиризм по сравнению с конвенциональной социологией. Одним из их главных возражений против существующей социологии было обвинение в том, что она не добирается до основного массива фактов, на которые нужно обращать внимание. Исследовательские опросы просто задавали вопросы и принимали ответы на них за реальные формы жизни людей. Историческая социология основывалась на документах, имеющих еще меньшее отношение к реальной жизни. Символические интеракционисты вроде Блумера уже выступали с подобной критикой, но этнос обратил на них их же оружие. Символические интеракционисты просто оглядывали поверхность взаимодействия. Они выступали с его интерпретацией, но не добирались до его сердцевины и не сумели достаточно внимательно на него посмотреть.

Неудивительно, что символические интеракционисты были в ярости от такой критики. В течение многих лет они боролись против тяжеловесного холодного позитивизма американской социологии, указывая на важность ситуаций и текучесть социальных отношений. Теперь их критиковали из того лагеря, откуда они меньше всего ожидали критики. Им твердили, что они недостаточно радикальны и что они являются частью того же самого истеблишмента. Многие символические интеракционисты реагировали на это утверждением, что в этносе не было ничего нового: сами интеракционисты уже давно говорили обо всех этих проблемах. Они также утверждали (и это не совсем последовательно), что этнос пошел слишком далеко и совсем разрушил социальную реальность.

Однако если немного отрешиться от ситуации фурора, можно говорить о том, что этнометодологи все же чем-то отличались. Их философские и теоретические утверждения, а также их эмпиризм были отличны от всего того, что делалось в американской социологии.

Для начала посмотрим на процесс философского наследования. Интеллектуальная история, которая ведет к идеям Гарфинкеля, Бергера и Лукмана, довольно сложна. Учителем обоих был немецкий философ Эдмунд Гуссерль, которого ни сам Гарфинкель, ни кто-либо другой раньше вообще не рассматривали в контексте социологической традиции. Гуссерль был современником Кули и Мида, и его работы охватывают период с 1890-х годов по 1930-е. Самыми известными его учениками были Мартин Хайдеггер и Жан-Поль Сартр. Теперь история была переосмыслена, и эти мыслители внезапно стали частью социологической традиции. Это, конечно, была социальная конструкция или реконструкция реальности! И тем не менее в ней была своя логика. Другим учеником Гуссерля был Альфред Шюц, который бежал от нацистов в 1930-х годах и стал преподавать в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, которая была основана немецкими интеллектуалами из иммигрантов. Именно в Новой школе в 1950-х годах Бергер и Гарфинкель слушали лекции Шюца. Таким образом, в период подъема этнометодологии и социальной феноменологии в конце 1960-х годов произошло своего рода возрождение Шюца: был опубликован сборник его статей, и он сам попал в исторический пантеон.

В чем заключается важность Гуссерля для социологии? Гуссерль был чрезвычайно амбициозным философом: он рассматривал всю предшествующую философию необоснованной и хотел воссоздать весь корпус знаний на основе абсолютной определенности. Гуссерль начинал как математик, и его идеалом была философия, столь же определенная, как и идеалы математики. Но и саму математику он считал недостаточно строгой наукой: даже эту науку необходимо было поставить на новое основание. Так как Гуссерль рассматривал философию как основу всякого знания, он считал, что основания всех наук будут шатки до тех пор, пока он не осуществит свой проект. Этот подход объясняет и позицию Гарфинкеля в отношении социологии: ее основания будут шаткими, пока этнометодология не осуществит свою работу по применению к ней гуссерлева феноменологического метода.

В чем состоит уязвимость эмпирических наук? В том, что они опираются на натуралистический метод. Они предполагают существование внешнего мира, который можно наблюдать и на основе которого можно делать индуктивные обобщения. Но никакой объем индуктивных выводов из эмпирической конкретики не может дать нам совершенно достоверного знания: мы знаем, что нечто произошло множество раз в прошлом, но это не дает нам гаран-

тии, что то же самое случится в следующий раз и в каждом последующем случае бесконечного будущего. Точно так же разработка правил логики в общепринятом смысле не даст нам вполне обоснованных правил для любого рассуждения, так как она не дает своих собственных оснований, почему правила должны быть именно таковы. Истинная логика должна была бы быть гораздо более универсальной и охватывать не только конкретные виды рассуждений, но *все возможные* типы рассуждений. Как можно видеть, у Гуссерля были чрезвычайно строгие критерии знания, и он отвергает все, что не может им удовлетворить. Он предпочитает начать все сначала своим новым методом, который дает совершенно определенные результаты в каждом конкретном случае. Этот метод он называет феноменологией.

Фундаментальный принцип феноменологии гласит, что мы можем добраться до истинной сути вещей, не опираясь ни на какие эмпирические доказательства. Никакой эксперимент или научное наблюдение, включая психологию, не может опровергнуть (или доказать) эти сущности, так как они предшествуют всякому опыту. Эти сущности можно обнаружить наблюдением, но наблюдением особого рода. Для этого Гуссерль призывает пользоваться методом, который он называет *эпохе*, или вынесением за скобки: содержание сознания берется как оно есть, и суждение о том, истинно оно или ложно, выносится за скобки. Другими словами, опыт берется не как опыт, а как чистая форма сознания. Гуссерль был убежден, что эти опыты содержали в себе чистые формы, или сущности. Человек каждый раз видит вещи в качестве *универсалий*, в то время как эмпирическая реальность всегда являет себя в форме *конкретных вещей*. Например, когда человек видит два объекта, оба из которых красные, он знает, что у них один и тот же цвет, хотя это никак нельзя вывести из опыта. Опыт всегда относится к какому-то конкретному объекту, и если у человека уже нет общей и универсальной концепции красного, то он не смог бы провести сравнение и признать оба объекта красными.

Таким образом, Гуссерль пытается инвентаризировать все чистые сущности, которые составляют абсолютную структуру мира. Хотя он и отвергает эмпирический метод в обычном смысле, в своих рассуждениях он продвигается, тем не менее, вполне «эмпирически». Философ заранее не знает, каковы эти сущности: он находит их, заключая в скобки одну форму опыта за другой, и, таким образом, инвентаризирует свои находки. Именно так можно прийти к законам, которые должны быть абсолютно достоверными

езде и при любых обстоятельствах. Например, применяя этот метод к изучению времени, Гуссерль приходит к принципу о том, что «временные отношения асимметричны».

Однако время от времени Гуссерля одолевают сомнения в том, достаточно ли глубоко он продвинулся и достаточно ли универсальны его принципы для того, чтобы считаться абсолютной структурой мира. Можно также усомниться в том, что немец, анализирующий в 1910 году занесенные в скобки формы своего собственного сознания, придет к тем же формам, что и буддистский монах в Индии в 400 году до н.э. Тем не менее метод Гуссерля дал огромный импульс будущим поколениям его последователей. Он положил начало поиску сущностей вещей, законов и всего мира, по крайней мере, мира, ограниченного человеческим опытом в различных сферах. Мартин Хайдеггер, самый знаменитый ученик Гуссерля, положил начало современному экзистенциализму своими поисками сущности человеческого бытия. В результате он пришел к драматическому выводу: человеческое существование, по сути, происходит во времени, и его высшая сущность — это «бытие к смерти». Сущность человека состоит в том, что у него нет сущности. Человек логически не подкреплён: нет никакой причины, по которой он должен существовать. Человек просто «заброшен в мир» без всякой причины. Поэтому время — это фундаментальная категория существования. Логическая необоснованность существования, в конце концов, обнаруживается в своем завершении в форме смерти. В 1940-х годах Жан-Поль Сартр выступил с еще более резкой формулировкой этого положения: человеческое существование есть чистое отрицание, и поток нашей жизни — это бесконечная вереница актов Ничто, вырезающая пустое будущее из мертвых кусков прошлого.

Это, конечно, весьма драматический комплекс идей. Но как перейти от них к этнометодологии? К ней ведет более прямой путь, который проложил своими идеями другой ученик Гуссерля, Альфред Шюц. Тем не менее экзистенциалистов не следует забывать, так в своей основе настроения Гарфинкеля гораздо ближе к хайдеггеровским, чем к Гуссерлю или Шюцу. Гарфинкель привносит в социологию драматический привкус, а также страстную интенсивность, подобную экзистенциалистскому *angst* (беспокойству), которую Хайдеггер считал самой важной человеческой эмоцией. Если, с точки зрения Хайдеггера и Сартра, человеческая жизнь была лишена оснований и зависала на краю забвения, с точки зрения Гарфинкеля, то же самое отсутствие оснований было характерно и для самого общества.

Но для начала возьмем все-таки более надежный путь через социальную феноменологию, которую ввел в обиход Альфред Шюц. Шюц начал исследование с установления тех сущностей, которые могут быть обнаружены в особом типе опыта, человеческом опыте социального мира. В этом предприятии он просто применял метод Гуссерля к новой специализированной сфере. (Ему также казалось, что этим он как бы воспроизводит то, что должен был бы делать Макс Вебер, если бы он следовал своему методу *verstehen*.) В результате Шюц сформулировал группу принципов, которую он считал законами: принцип о том, что социальное сознание должно испытывать напряжение и быть бодрствующим; о том, что социальное сознание должно опустить все сомнения и принять ту реальность, которая перед нами; мы предполагаем взаимность перспектив — тебе мир кажется тем же самым, чем он представляется мне; наиболее распространенной является позиция человека, нацеленного на достижение определенной цели, и мы ощущаем наше «я» как наше рабочее «я».

Эти законы могут быть правильными или неправильными. Например, Ирвинг Гофман считал их неверными и говорил (как мы еще увидим), что его собственные исследования привели к более сложным и нетривиальным интерпретациям жизненных позиций повседневной жизни. Конечно, идея о том, что первичный опыт человеческой личности связан с перспективой достижения определенной цели, является неправомерной экстраполяцией анализа собственной личности Шюца (в течение многих лет он работал в банке и не мог получить академической должности) на всех людей. Гарфинкель принял некоторые из принципов Шюца, но только после того как он по-новому взглянул на этот предмет. То, что для Шюца оставалось кабинетной социологией, Гарфинкель вновь поставил на эмпирическую основу, хотя и весьма новую и экстравагантную. В этом процессе Гарфинкель пришел к некоторым новым открытиям, которые шли гораздо дальше того, что увидели Гуссерль и Шюц.

Гарфинкель заслуженно считается самым известным социологическим последователем гуссерлевской феноменологии. Бергер и Лукман ввели общее понятие «социальной конструкции реальности», но феноменологический мир, о котором они повествовали, еще слишком похож на обычный прозаический мир. Он построен субъективно или скорее интерсубъективно, но это почти тот же самый мир обыденных верований, имеющий много общего с идеализированным миром бой-скаутов, который описал Кули. Гарфин-

кель живет в другом мире. Его мир упирается в бездну. Он является социально сконструированным, прозаическим и само собой разумеющимся, но отнюдь не потому, что так оно и есть. Наоборот. С точки зрения Гарфинкеля, реальный мир неизъясним и неприкосновенен. Он присутствует, но только как мистический фактор X, на который мы смотрим с помощью наших социальных интерпретаций. Наш самый сильный социальный принцип состоит в том, чтобы вообще оставить интерпретации для того, чтобы понять, насколько они сомнительны, и раскрыть их внутреннюю необоснованность.

Я назвал Гарфинкеля радикальным эмпириком. Это верно в том смысле, что он считает невозможным делать выводы о мире на основе каких бы то ни было внешних источников. Нужно обязательно пойти и посмотреть самому; необходимо включить себя самого в процесс наблюдения. Только собственные методы осмысления опыта являются главным объектом исследования. Именно такой подход и подразумевает сам термин «этнометодология»: «этно», или «этнография», — исследование через наблюдение над чем-то; «методология» — методы, которые люди используют, чтобы придать смысл опыту.

В определенный период своей карьеры Гарфинкель прославился тем, что посылал своих студентов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на проведение «экспериментов», которые предполагали «проникновение сквозь» само-собой-разумеющуюся поверхность повседневной жизни. У себя дома его студенты будут стараться почувствовать себя чужаками, будут вежливо спрашивать, можно ли им пойти в туалет и тому подобное. Другие студенты получают задание пойти в магазин, купить тюбик зубной пасты за 99 центов и попытаться уговорить продавца уступить его за 25 центов. Идея состояла не в нарушении заведенного социального порядка и уклада, которые сложились дома или в магазине (или «заключение их в скобки» в терминах Гуссерля), для того, чтобы противопоставить себя ему. Проблема состояла в самой общей структуре «естественного отношения»: каковы ожидания людей по поводу организации их повседневной жизни. Метод Гарфинкеля был скорее преподавательским приемом, чем экспериментом для научной аудитории. Объект изучения феноменологии — изучение структур собственного сознания. Участие в таких экспериментах, говорил Гарфинкель, «благоприятно для души».

Тем не менее Гарфинкель колебался в вопросе о том, могут ли эти эксперименты быть обобщены и описаны. С одной стороны, он

придерживается программы Гуссерля: достичь абсолютной определенности и продемонстрировать наиболее общие и универсальные структуры опыта. В этом случае можно было бы докладывать о них в форме научного дискурса и писать о них книги. Но с другой стороны, Гарфинкель исходил из своего собственного важного открытия: мир не поддается такого рода обобщениям. Доклад о нем неизбежно искажает его истинную природу. Вероятно, именно из-за этой идеи Гарфинкель считал, что единственным путем рассказать о своих принципах студентам было послать их на выполнение экспериментов самих. Эта идейная позиция, более чем что-либо другое, укрепила репутацию этнометодологии как своего рода культа.

Тем не менее мы все-таки сможем рассказать что-то об этнометодологии аутсайдеру, сосредоточившись на той задаче формулировки общего знания, которую поставил сам Гуссерль. В своей поздней терминологии Гарфинкель говорит о мире «объектов *Lebenswelt*», которые превратились в «подписанные объекты». *Lebenswelt*, термин германских феноменологов, буквально означает «жизненный мир», мир, в котором мы живем, когда мы получаем его опыт. С другой стороны, «подписанные объекты» — это мир, который мы обсуждаем или на который ссылаемся в социальном смысле. Кажется, что это одно и то же, но тут есть фундаментальное различие: стоящая перед нами софа, печатная машинка на столе, машина, припаркованная на улице, — нечто одно, когда мы принимаем их как нечто само собой разумеющееся, используем их, живем с ними или игнорируем их, и нечто совсем другое, когда мы используем вербальные знаки для их описания. Кроме того, мы оказываемся в своего рода ловушке из знаков. Мы не можем выпрыгнуть из своей вербальной кожи. Когда мы начинаем обращать внимание на вещи, мы превращаем их в подписанные объекты и теряем их как «объекты *Lebenswelt*». Как говорит Гарфинкель, для нас объекты мира конституируются тем, как мы их объясняем: они то, что они есть для нас социально из-за символической структуры, которую мы используем, для их объяснения другим людям.

У мира Гарфинкеля много уровней. Это сам мир, а также мир, над которым мы размышляем. Рефлексия неизменно трансформирует то, чем для нас является мир. Без рефлексии мы можем знать о мире не больше, чем мы можем знать о вещах, не глядя на них. На самом деле они ни на что не похожи. Все, что мы можем сказать, это то, что они есть и что миру присуща эта дуальная структура. Последнее утверждение представляет собой фундаментальный гуссерлевский закон в подновленной Гарфинкелем версии этой системы.

Каковы социологические импликации этого открытия? Социология, с точки зрения Гарфинкеля, имеет дело только с подписанными объектами. Она не занимается реальностью вещей, истинным *Lebenswelt*. Даже символические интеракционисты обманывают себя, думая, что они добиваются до сути социальной жизни в своих ситуациях и принятии ролей. В этих попытках они только создают другой набор «подписанных объектов», которые заслоняют реальную жизнь, как мы ее ощущаем.

Существует ли какой-то выход из этой ситуации? Гарфинкель рекомендует социологам начать все сначала и приблизиться, насколько возможно, к реальному опыту, составляющему текущие детали социальной жизни. Конечно, они не смогут рассказать о самом *Lebenswelt*, так как это невозможно. Но они могут понять тот метод, которым люди превращают различные объекты *Lebenswelt* в особые «подписанные объекты», которыми, как им кажется, они окружены. Таким образом, этнометодология превращается в развернутую и сверхдетализированную программу исследования. Например, этнометодологи начинают заниматься социологией науки. Сам Гарфинкель детально проанализировал магнитофонную запись разговора астрономов, делающих «необъяснимое» открытие в ночном небе и затем постепенно превращающих его в «подписанный объект», который они описывают как «пульсар». Как и все прочее, наука социально творится людьми, которые выступают со своими интерпретациями. Эти интерпретации в свою очередь претендуют на статус объективного знания.

Другие этнометодологи изучали процесс создания математических знаний. Рассматривая работу математиков по созданию аргументов на примерах из реальной жизни, они показывали, как из этих аргументов вырастают системы теорем и доказательств, которым приписывается универсальная значимость. Когда ученые приходят к математическому доказательству, то весь процесс мышления из реальной жизни, который лег в их основу, стирается и опубликованная формула создает ошибочный образ существующей объективно реальности, незатронутой человеком. Таким же образом исследуется вся сфера работы. В каждом из этих случаев основная идея состоит в том, что локально возникшие идеи постепенно превращаются в нечто, кажущееся повторяемым, объяснимым и обобщаемым. Человек сочиняет профессию «сантехника» на основе локальных практик в очень специфических ситуациях: давая социальную интерпретацию того, что происходит, интерпретацию, которая выходит за пределы самих ситуаций. *Lebenswelt* под

кухонной раковиной превращается в якобы предметную социальную «роль» «сантехника».

В таком случае можно сказать, что общество живет иллюзиями. Но это необходимые иллюзии. Мы не можем ничего сделать без подписанных объектов и не можем жить без превращения специфических ситуаций в примеры общих правил и ролей, хотя последние существуют только в нашей системе объяснений. Как показали ранние эксперименты «нарушений», люди были чрезвычайно расстроены тем, что их заставляли ставить под вопрос «самособойную» природу общепринятых смыслов. Интуитивно они понимали, что признание произвольного характера этих смыслов приведет к признанию произвольности и всего прочего и так до бесконечности. Если мы откажемся признать конвенциональные интерпретации, то все разрушится. Социальная реальность сомнительна, но парадоксальным образом в этом и состоит источник ее силы. Люди фундаментально консервативны не в политическом, а в когнитивном смысле, так как они интуитивно чувствуют, что социальный мир — это набор произвольных конструкций, построенных над бездной. Эти конструкции занимают свое место, так как мы не ставим их под сомнение, и мы противимся самой постановке этих вопросов до тех пор, пока мир не начнет рушиться.

СОЦИОЛОГИЯ ЯЗЫКА И ПОЗНАНИЯ

Появился и другой путь развития этнометодологии Гарфинкеля. Программа анализа локального производства ведет не к обобщениям, а к детализированному изложению процесса конструирования социальных событий. Все обобщения могут быть сведены к локальным ситуациям, которые послужили их основой. Тем не менее эта программа подспудно сохраняла гуссерлевский идеал науки: универсальное, абсолютно достоверное знание. Гарфинкель придал ей ультраэмпирическое направление, и современные исследовательские технологии позволили продвинуть этот идеал еще дальше. Примерно в то же самое время, когда были опубликованы «Исследования по этнометодологии» в конце 1960-х годов, стали доступны портативные магнитофоны. Эта техника открыла возможности для более точного анализа и воспроизведения в исследованиях повседневной жизни. Если раньше участники включенного наблюдения должны были полагаться только на свои глаза и уши и иногда выбегать в ванную, чтобы что-то записать, то теперь с помощью магнитофона можно было не упустить ни единого слова из

разговора. Магнитофон не только ловил каждое слово, но и каждую интонацию, паузу, незавершенное начало фразы и все прочие детали, которые составляют *реальные* звуки разговора из повседневной жизни.

Последователи Гарфинкеля, в особенности Харви Сакс и Эммануэль Щеглофф, быстро задействовали новую технологию и разработали целую сферу эмпирических исследований по анализу разговоров. Они также разработали систему транскрибирования с особыми значками для обозначения всех форм, которыми разговорная речь отличается от своей очищенной версии, которую мы видим напечатанной. Они же начали выводить законы или общие принципы организации разговора. Ни одна из областей социальной жизни не изучалась до этого в таких деталях. Через несколько лет с введением портативных машин видеозаписи круг эмпирических деталей еще более расширился и включил в себя помимо разговорной составляющей еще и невербальный контекст. (Впрочем, анализ видеозаписей не был так хорошо разработан, как анализ аудиозаписей.)

Сбор такого впечатляющего количества деталей был не просто новой исследовательской специальностью среди прочих. Сакс предположил, что в них должна присутствовать вся социальная структура, воплощенная в самой языковой практике. Где же еще ее можно отыскать, как не в реальных людях в эмпирически наблюдаемом взаимодействии? Щеглофф и его коллеги подчеркивали, что их метод был истинно научным и имел дело только с самыми первичными данными, на основе которых строятся обобщения о речевых практиках, которые конституируют общество. В другом направлении Арон Сикурель предположил, что современная социальная структура составляется главным образом из накопления письменных записей. Именно эти записи составляют бюрократии правительства и бизнеса, и именно они являются каналом, который направляет карьеры в русло школьной системы или в русло агентств по преступности и деликвентному поведению. Сикурель расширяет сферу изучения языка и включает в нее взаимодействие между разговорами лицом к лицу, с одной стороны, и кажущимися объективными вещеподобными записями современной бюрократии. На обеих сторонах общество состоит из тех особых путей, которыми мысль ограничивается вербальными и письменными каналами, через которые она проходит. Сикурель считает, что главная тема — это социология познания во всех своих социально воплощенных формах.

КОНТРКРИТИКА ИРВИНГА ГОФМАНА

Мы уже обсуждали Ирвинга Гофмана в контексте другой интеллектуальной традиции. Его стихией была микросоциология, но в качестве своего теоретического аппарата он избрал дюркгеймовскую теорию ритуалов, а не американскую традицию символического взаимодействия. Гофман всегда подчеркивал, что социальная структура первична по отношению к вторичному и производному субъективному сознанию. Даже его теория презентации я — это, по сути, модель я как современный миф, который люди вынуждены задействовать, а не какая-то субъективная сущность, которой люди обладают частным образом. Гофман, конечно, знал символических интеракционистов со своих студенческих лет в Чикаго, и его часто причисляли к ним несведущие люди со стороны, но сам Гофман не относился к ним слишком серьезно. Он едва упоминает их в своих ранних работах и даже не упоминает их критики.

Но этнометодология не сводилась к символическому интеракционизму. Представители этой школы вышли на сцену уже после того, как Гофман стал известен своими эмпирическими работами о повседневной жизни и микроинтеракциях. Но теперь они вторгались в его сферу с совершенно чуждой философией и даже утверждали, что он не делает свою работу слишком хорошо. С точки зрения критериев Гарфинкеля, воплотившихся в сверхдетализированных исследованиях социального познания и точных магнитофонных записях разговоров, исследования Гофмана казались набором смутных и случайных наблюдений, почти реконструированной кабинетной социологией. Кроме всего прочего, второе поколение молодых этнометодологов, таких как Сакс и Щеглофф, было докторами из университета Беркли под эгидой самого Гофмана. В конце 1960-х годов Гофман видел, как его собственная сфера исследований перерастает его и ускользает от его контроля, двигаясь от ритуалов взаимодействия и природы социального я и погружаясь в философские вопросы эпистемологии и познания.

Здесь истоки поворота Гофмана в его двух последних книгах «Анализе рамок» (1974) и «Формах разговора» (1981). Он входит в микросоциологию как на территорию врага и занимается новыми этнометодологическими темами и тщательным анализом магнитофонных записей. Его мишенью становятся не только этнометодологи, но и вся сфера языковых штудий. 1960–1970-е годы стали современным «золотым веком» лингвистического анализа. В самой формальной лингвистике Ноам Хомский инициировал революцию

своим развитием метода анализа «глубоких структур» грамматики. Англо-американская философия давно оставила метафизику и копала все глубже и глубже в области изучения природы «речевых актов». Французские постструктуралисты и немецкие философы-марксисты, подобные Юргену Хабермасу, находились в поисках фундаментального когнитивного кода, который бы позволил проанализировать общество с точки зрения актов коммуникации. В своей критике, нацеленной на то, чтобы отбить свою территорию, Гофман задействовал все эти теории.

«Анализ рамок» отчасти направлен против этнометодологии Гарфинкеля, а отчасти на уточнение старой критики Блумера и символических интеракционистов. Шюц провозгласил, что повседневная жизнь характеризуется определенными качествами: взаимностью перспектив, погружением в себя как в действующего индивида и так далее. На это Гофман отвечает: почему мы должны верить ему на слово? Мы можем привести множество примеров ситуаций, когда передняя сцена одного человека не является перспективой человека, на которого она направлена. Другие идеи в списке Шюца выглядят не менее сомнительно. Гофман считает, что тот же самый подход надо применить к Гарфинкелю и его последователям. Их «эксперименты» и наблюдения иногда точны, а иногда фрагментарны. Нам не нужно поддаваться их драматическому пафосу и высокопарному анализу, предполагая, что они предоставляют нам единственно правильную интерпретацию.

Гофман выдвигает альтернативную концепцию, синтезируя свои ранние работы с приемом, который он называет «рамками». Его метафора предполагает картину, обрамленную рамкой. Можно добавить к этому еще одну рамку и потом отойти и поставить еще одну. Можно также поставить новую рамку внутри предыдущей, и так до бесконечности. (Гофман не любит задерживаться на одной метафоре и также называет этот процесс «использованием ключей», подобно тому, как можно записать одну и ту же мелодию на фортепьяно в новом ключе.) Это понятие отчасти является ответом на утверждение Гарфинкеля о том, что социальное познание характеризуется рефлексивностью и опасностью регресса в бесконечность. С точки зрения последнего, социальная реальность — это те методы, которые мы используем для ее объяснения. Поэтому мы все время застреваем на уровне «подписанных объектов» и никогда не можем проникнуть до уровня объектов *Lebenswelt*, которые находятся за ними. В этом и состоит значение «рефлексивности»: это состояние, когда мы оказываемся в ситуации человека, пытающе-

гося вытащить себя из болота за волосы. Гарфинкель уже пришел к выводу, что люди интуитивно понимают произвольный характер своих социальных конструкций и боятся ставить их под вопрос, так как иначе они окажутся в опасной ситуации нескончаемых сомнений по поводу всего, и так до бесконечности.

С точки зрения Гофмана, это абстрактная философия, а не реальная социальная практика. На самом деле люди с готовностью принимают произвольность социальной жизни, и у них есть приемы, которыми все пользуются для движения от одного уровня рамки к другой. В принципе, количество уровней может быть бесконечным, но практически мы никогда не заходим так далеко. Мы можем поставить рамки над уже существующими рамками и все-таки хорошо ориентироваться в ситуации.

Например, люди часто играют в игры, участвуют в церемониях, сидят в театре или смотрят театральные представления. Все это трансформации первичной реальности: не реальная комната, а комната в телевизоре, не обычное поле с травой, а футбольная игра, и так далее. Но на этой основе может легко возникнуть и новый уровень: тренировка перед игрой, например, или показательная игра, или дети, имитирующие игру. Если мы добавим к этому сферу разговоров, то мы увидим, что у разговора есть свой уровень правил и конвенций, не говоря уже о том, что иногда к этому добавляется комментарий к какой-то игре или церемония, о которой говорят. Сам разговор также может разными способами комментировать сам себя. Если мы прибавим к этому переднюю и заднюю сцены, которые составляют значительную часть сферы работы, то мы заметим, что люди вполне привычно могут участвовать одновременно во многих уровнях реальности. Мы не прикованы только к поверхности, как предполагает Гарфинкель.

Идеи «Анализа рамок» можно рассматривать и как критику символического интеракционизма. Эта книга занимается *определением ситуации*, ответом на вопрос «Что здесь происходит?» Но если символические интеракционисты занимаются этим вопросом с точки зрения индивида, поведение которого задается доминирующим определением, Гофман занимается всей структурой, которая охватывает точки зрения всех участников и все возможные перспективы. Это репетиция свадьбы, которая сама станет передней сценой демонстрации социального статуса. Это разговор на задней сцене адвокатов в отсутствие клиентов, но они говорят о футбольной игре своих детей. Наиболее отдаленный слой определения — не обязательно главный и контролирующий. Гофман не просто пока-

зывает фокусы с зеркалами, социальная жизнь не находится в бесконечном потоке. При необходимости мы можем быстро сбросить оболочки и снова оказаться в центре действия.

Что представляет собой центр, первичная рамка, как ее называет Гофман? Это реальный физический мир и реальное социальное присутствие человеческих тел. Гофман отмечает: «Определение ситуаций в качестве реальных имеет свои последствия, но это не слишком влияет на течение дел... Отнюдь не весь мир является сценой даже в случае с театром. Идет ли речь о театре или о фабрике по производству самолетов, нам всегда понадобится парковка и раздевалка, и они должны быть вполне реальными. Среди прочего их неплохо, кстати, застраховать от воров». Это опять тот же реальный мир Дюркгейма, в котором соединяются человеческие тела, проводятся ритуалы и, таким образом, создаются коллективные ментальные репрезентации. Гофман добавляет новые и новые уровни того, как эти церемонии и ментальные дефиниции взаимодействуют друг с другом, но фундаментом остается этот материальный мир человеческих тел. Когда в театре возникает пожар, все прочие игры заканчиваются.

В своей последней книге «Формы разговора» Гофман применяет эту модель множественных рамок к практике разговора. Он критикует этнометодологический подход Сакса и Щеглоффа, а также лингвиста Хомского и философов Джона Остина и Джона Серля. Ограничения на то, как человек говорит и что отвечает, заключаются отнюдь не в формальностях языка, а в сфере социальных отношений — в том, как нужно себя представлять в отношении других. Речь вживлена в ритуал. Поэтому единицами языка являются не грамматические конструкции (предложения) и не интервалы речи, когда люди говорят (сколько времени есть у человека для его утверждения), а социальные движения (*social moves*) в определенных ситуациях, которые могут быть гораздо короче или гораздо длиннее интервалов речи. Социальное действие фундаментальнее самого разговора.

Короче говоря, Гофман предлагает набор свидетельств, которые приметны только ему: типы всхлипываний, бормотаний и тому подобного, которые люди делают в присутствии других, но не в разговоре с ними. Этот «разговор с самим собой», как называет его Гофман, показывает, что социальная ситуация основана на *физическом соприсутствии* людей, но необязательно осознана на уровне их субъективного или интерсубъективного сознания. Мы чувствуем неловкость по поводу этого разговора с самими собой, так как он идет

наперекор нашей потребности чувствовать себя компетентными людьми, выказывающими самообладание. Те странные звуки, которые мы производим, — это не просто биологические бурчания, крики боли или другие асоциальные выражения. Напротив, они возникают вслед за действием, которое обязательно заметят другие, и они привлекают их внимание к нашему внутреннему миру, «не выплескивание эмоций вовне, а выплескивание уместности вовнутрь». Мы тяжело вздыхаем и чертыхаемся, споткнувшись на тротуаре, не потому, что это наша непроизвольная физиологическая реакция на ситуацию, а потому, что таким образом мы даем знать другим людям, что мы тоже рассматриваем эту ситуацию как неловкий инцидент. Наши звуки служат для дистанцирования нашего социального я от нашего биологического я. Это своего рода небольшой ритуал восстановления нашего компетентного образа самих себя, который мы чувствуем обязательство поддерживать.

Этот пример также показывает, что социальная ситуация всегда шире и фундаментальнее фокусированного разговора. «Даже когда не происходит ничего примечательного», говорит Гофман, «люди в присутствии друг друга, тем не менее, следят друг за другом и действуют так, чтобы за ними можно было следить». Внутри наших человеческих ролей мы делаем то же, что и другие животные, осматриваемся на предмет возможной опасности и присутствия друзей. Поэтому метод социолингвистов в их разделении разговора на «говорящего» и «слушающего» недостаточно фундаментален. Посторонние наблюдатели в визуальном и ауральном поле — такие же полноправные участники разговорной ситуации, хотя лингвисты их и не признают таковыми. Ситуацию можно разложить на три составляющие: говорящий, тот, к кому непосредственно обращаются, и тот, к кому не обращаются. Эта сложная ситуация позволяет выделить различные способы коммуникации: «сговор» (*collusion*), «побочная игра», «взаимоигра» и прочие (например, понимающее подмигивание говорящего стороннему наблюдателю и тому подобное). Помимо прямого разговора существуют и другие его формы: публичные церемонии, коллективное пение, лекции, речи. Они представляют собой различные типы дюркгеймовских ритуалов не из-за количества людей, которые в них принимают участие, а из-за того, что они включают в себя различные рамки и способы, которыми они привлекают внимание людей. В результате они создают различные типы «сакральных объектов».

Социальная жизнь представляет собой серию вкраплений. Существует человеческий разговор с различными уровнями претен-

зий и игр. Разговор является частью более широкой социальной ситуации людей, которые в ней участвуют, а сама эта социальная ситуация вкраплена как в этнологическую ситуацию, так и в ситуацию чисто физическую. Часто сам способ возникновения разговора и приобретение им значения происходит из отношения участников к какому-то событию или задаче в окружающей их физической сфере. Разговор, возникающий, когда индивиды чинят машину («Вот в чем проблема») или играют в карты («Пики»), невозможно понять, если не знать того, что происходит физически, что часто требует присутствия на месте разговора. Иногда нужно посмотреть под капот машины под тем же углом, что и говорящий. Как говорит Гофман, основа языка — это не некая первичная интерсубъективность, а общий фокус на физической сцене действия.

В дополнение к этой серии вкраплений наша специфически человеческая способность к опоясыванию новыми рамками или разрушению рамок создает знакомый многоуровневый мир, в котором мы живем. Социальная изошренность состоит в том, насколько легко мы движемся среди этих рамок и соплагаем их с рамками других людей или манипулируем рамками для того, чтобы ввести в заблуждение окружающих в отношении того, что мы делаем. Хотя Гофман и не упоминает об этом, представляется вероятным, что невидимые барьеры между культурами различных социальных классов связаны с этими различиями в техниках заключения в рамки. Он демонстрирует, что различие между передней и задней сценой может быть более точно выражено с точки зрения степени свободы, которой человек располагает для того, чтобы устранить собственную рамку и переместиться к другой.

С точки зрения Гофмана, усилия Хомского и других формальных лингвистов выявить единую глубокую структуру, которая лежит в основе всех разговоров, являются дурацкой затеей. Язык по своей природе является частью многоуровневой ситуации. Ключ — в способности языка к бесконечному дистанцированию от первичной ситуации и переделке ее. Язык построен на серии социальных действий, каждое из которых отсылает к предыдущему, а не на кодировке, запрограммированной в мозге человека. Бездна относительно, которую проповедуют этнометодологи на противоположном спектре, также искусственна. Мир может находиться в текущем состоянии, но эта текучесть имеет свои пределы. Когда текучесть заходит слишком далеко — или когда что-то более важное вмешивается в процесс, — мы можем быстро вернуться назад к начальной

точке, к физическому миру и к позиции физических тел вокруг нас. Мир может быть очень сложным, но он построен на повторении небольшого количества рефлексивных механизмов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Пожалуй, родословная микроинтеракционизма наиболее хаотична в сравнении с другими идейными традициями, до сих пор обсуждавшимися в этой книге. У всех позиций, которые мы здесь рассмотрели, и сегодня есть свои приверженцы. Вряд ли кто-то согласится с тем, что здесь можно говорить о каком-то последовательном движении и что более близкие нам по времени теории как-то вытекают или построены на базе предшествовавших. Но можно выделить, по крайней мере, четыре форпоста, которые не удалось покорить в бесконечных стычках и противостояниях микросоциологии: это Пирс, Мид, Гарфинкель и Гофман. Для удобства мы можем сократить этот список до трех, так как Пирс был прежде всего философом, философом широких интересов, а не социологом, и та часть его философии, которая наиболее уместна для целей данного повествования, — его теория семиотики, была включена в систему Мида. Таким же образом, и разве что немного преувеличивая, можно сказать, что теория Гофмана включает в себя и расширяет теорию ритуала микросоциологии Дюркгейма.

Как быть с этими тремя позициями? Если здесь нет последовательности и прогресса, можно ли все-таки как-то разрешить вопросы нестыковки между ними? Такая постановка вопроса мне кажется преждевременной. Все три теории породили большой массив эмпирических данных (и опирались на эмпирические данные), но мало что из них использовалось для тестирования самих этих теорий. Символические интеракционисты исходили из теорий Мида и Блумера и использовали их для интерпретации различных данных о девиантном поведении, профессиях и тому подобном. Этнометодологи использовали свои данные для иллюстрации аргументов, но не для их подтверждения и демонстрации в полемике против альтернативных теорий. Эти теории относились к одной и той же области, но они только следили друг за другом на расстоянии. Только Гофман занимался целенаправленной критикой по поводу точек расхождения, но даже эта его критика была покрыта вуалью аллюзий и намеков.

Но попытаемся все-таки представить себе хотя бы гипотетические дискуссии этих мыслителей на основе их идей. Начнем с со-

отношения Мида и Гарфинкеля. В их лице мы сталкиваемся с конфронтацией двух различных философий: прагматистов, с одной стороны, и феноменологии Гуссерля — с другой. Гуссерль пытался достичь того, что Пирсу казалось противоестественным для разума: он пытался поставить все под сомнение и изъять из этого комплекса чувство веры. С точки зрения прагматистов, все происходит как раз наоборот: наиболее фундаментальным качеством человеческого разума считается «воля к вере». Прагматисты также были убеждены, что люди по большей части правы (и их верования работают на практике), а потому их позиция вполне удовлетворительна. Мид и прагматисты считали, что независимо от того, как именно организовано общество, мы всегда сможем об этом позаботиться.

Этнометодологи, как никто, далеки от этой наивной уверенности. Когнитивные способности человека строго ограничены, и мы можем поддерживать порядок, только если мы будем избегать сомнений по поводу нашего конвенционального понимания. Общество существует не потому, что мы достигли какого-то общего горизонта понимания и не потому, что это прагматически эффективный инструмент для достижения коллективных целей, а просто потому что мы предполагаем, что все идет нормально, пока не произойдет такой сбой в системе, когда необходимость починки и корректировок станет насущной. В этом пункте этнометодологи более реалистичны. Оптимизм Мида и прагматистов похож на философскую версию конвенциональной идеологии. Модель Гарфинкеля гораздо ближе системе свидетельств макроуровня, собранных теорией конфликта.

То же самое можно сказать и на уровне деталей. Мид предположил, что социальный порядок устанавливается в каждой ситуации, так как все участники берут на себя роль другого и взаимно координируют то, что они пытаются сделать. Но Гарфинкель обращает внимание на возможность бесконечного регресса в этой сфере. Если ты пытаешься объяснить мои реакции, планируя свое поведение, и я объясняю твои реакции, планируя свое поведение, то каждый из нас должен будет объяснить следующий уровень наблюдения другого, и так до бесконечности. Человеческое сознание не может иметь дело с таким уровнем бесконечной рефлексивности. По Гарфинкелю, мы не принимаем роль другого: мы принимаем наиболее нормальное, конвенциональное понимание ситуации и делаем то, что собирались. Для взаимодействия людям не обязательно понимать друг друга. Им даже нет смысла беспокоиться о том, правильно

их понимание или нет, пока в системе не произойдет сбой. Но даже и в этом случае люди обычно делают только небольшие поправки для восстановления ощущения нормальности.

Теперь рассмотрим аргументы Гоффмана против Мида. Гоффман критикует многие аспекты символического интеракционизма. I, Me и «Обобщенный Другой» слишком просты для того, чтобы схватить те действительные я, в которые и из которых мы перетекаем, иногда всего на несколько минут или даже доли секунды. Например, когда кто-то читает лекцию, существует «множество я, в которые может воплотиться я говорящего». (По иронии судьбы, Гоффман говорил об этом с лекционной кафедры, читая лекцию «Лекция».) Существует я, которое объявляет, во что оно верит и чего хочет, но также и я, как фигура речи, а кроме этого, я, которое все это одушевляет, — то я, которое дает представление в этой ситуации (лектор в качестве лектора). Кроме того, можно сломать рамку (например, запинаясь и потом извиняясь в качестве человека, который пытается читать лекцию), увлечься какой-то личной побочной игрой вне сцены или приостановиться для того, чтобы прокомментировать то, что только что было сказано. Мид бы сказал, что все это действия I, которое испытывает различные Me на фоне «Обобщенного Другого». Но сферы Me и «Обобщенного Другого» в каждом из примеров Гоффмана находятся на разном уровне анализа и расположены в разном социальном пространстве. Кажется, что Гоффман подразумевает, что не существует единого «Обобщенного Другого» в голове. То, что занимает его место часто вне нас в социальной ситуации, а также в некотором смысле в нашем непосредственном прошлом, так как каждое я разыгрывает рамку, которая была установлена в предыдущие моменты.

Гоффман также критикует модель развития, через которую ребенок якобы приобрел эти ментальные способности. Он замечает, что взрослые говорят с ребенком сложным, а не простым образом: они имитируют детский тон голоса и говорят *за* ребенка, а не *ему*. («Мальш хочет хорошенького медвежонка?») Это вкрапление социальных ролей. Ребенок не просто приобретает Me и «Обобщенного Другого», а изучает достаточно сложный процесс декодировки и исполнения этих вкрапленных ролей. Детский разговор может включать упрощенную грамматику и словарь, но его «слоистые черты представляют все что угодно, только не детские представления». Хотя анализ им еще не проводился, Гоффман предлагает совершенно новый способ подхода к изучению языка и детской психологии в целом.

На мой взгляд, Гофман здесь двигается по дорожке, протоптанной Мидом, а не создает какое-то принципиально новое направление. Мид и символические интеракционисты особо не разбираются в вопросе о том, за счет чего существует социальная организация, но их сила заключается в теории мысли. Та критика, которую я здесь набросал, не более чем предположение, а не систематическая модель, так как Гофман не создавал системы. Мид дает нам фундаментальный план теории мышления как интернализированного социального процесса, который остается для нас наилучшим доступным строительным материалом. Гофман подчеркивает, что нам нужна гораздо более изысканная и сложная картина компонентов я и более динамичный и многоуровневый взгляд на то, как компоненты я взаимодействуют с текущими социальными ситуациями. Но эту идею можно использовать для дополнения схем Мида, которые можно взять за основу. Единственная проблема состоит в том, что мы не привыкли к построению теорий на ее основе или на основе каких-то чужих теорий. Как я уже сказал, наша социальная психология в основном проигнорировала теорию мышления Мида в пользу внешней аппликации социальных проблем и социальных ролей. Мы привыкли больше к оспариванию и критике позиций друг друга, а не к построению на основе тех их элементов, которые составляют научный прогресс. Тем не менее здесь остается громадный потенциал для построения изощренной социологической теории разума.

Наконец, Гофман против Гарфинкеля. Гофман очень резко критикует этнометодологов. Он принимает их ультраэмпиризм, но не их теоретические выводы. Эпистемологически этнос слишком радикален. Этнометодологи настаивают, что все производится локально, что вообще не существует общих законов (в гарфинкелевской версии недостижимого *Lebenswelt*) и что единственные законы — это законы самого разговора (в интерпретации Сакса и Щеглоффа). Гофман отрицает эти положения. Существует социальная структура в целокупности, и мы можем делать о ней правомочные обобщения. Даже внутри каждой ситуации разговор и когнитивные конструкции не первичны, а являются только частью набора вкрапленных рамок. Самая большая рамка — это физический мир и тела людей, взаимодействующие в процессе дюркгеймовских ритуалов.

В этом пункте я склоняюсь скорее к точке зрения Гофмана. Физический мир не так таинственен, как Гарфинкель пытается его представить, хотя, конечно, верно, что невозможно схватить в словах все, что может стать частью отдельной ситуации, в которой на-

ходятся люди. Но интересно отметить, что в этом пункте вполне можно примирить Гарфинкеля и Дюркгейма, родоначальника той традиции, в которой работает Гофман. Гарфинкель настаивает, что человеческое познание ограничено и что оно не дает своего собственного основания. В этом состояло его открытие на пути исполнения заветов Гуссерля исследовать фундаментальные структуры человеческого опыта, в данном случае — опыта социального мира. Под миром «подписанных объектов» всегда смутно просвечивает *Lebenswelt*, который несводим к тому, что мы о нем говорим. Но это только другой, когнитивный, аспект интерпретации того, что Дюркгейм говорил о социальной солидарности в своих аргументах против утилитарного социального контракта. Дюркгейм учил, что общество не может удерживаться вместе рациональным договором, так как достижение такого договора предполагало бесконечный регресс необходимых предшествующих договоров.

Таким образом, Гарфинкель и Дюркгейм приходят к одному и тому же выводу. Существует очень значительный фактор X, который лежит в основе общества и не является частью наших рациональных соглашений. Дюркгейм называл это «доконтрактной солидарностью». Гарфинкель описывает ее как наше предпочтение не ставить под вопрос то, что удерживает вещи вместе. Но фактически фактор X может быть одной и той же вещью с обеих сторон. Это *эмоциональное* отношение между людьми, которое неизбежно возникает, когда человеческие тела находятся в одном месте. Это дает имплицитное понимание, которое у нас есть в любой ситуации. Там, где эмоции ограничены, господствуют недоверие и негативные эмоции, и нам надо вернуться к общему рациональному пониманию, мы оказываемся в ситуации бесконечного регресса аргументов и недопонимания, которое, по мнению Гарфинкеля, всегда потенциально присутствует.

Таким образом, Гарфинкель отчасти прав, по крайней мере, в главном пункте о том, как общество удерживается вместе. Оно не удерживается рациональным соглашением и взаимопониманием: когда дело сводится к этому, то оно обречено на фиаско. Но в той степени, в которой оно держится вместе, здесь есть еще и что-то другое. Гарфинкель слишком ограничивает себя, не желая исследовать фактор X и давать какие-то общие его характеристики. Но содержание фактора X очень хорошо уловил Дюркгейм. Это эмоциональная солидарность. Она не носит автоматического характера. Дюркгейм и некоторые из его последователей пошли слишком далеко в своем предположении, что общество неизбежно интегриру-

ется почти в любой ситуации. У эмоциональной солидарности есть разные степени, и она проистекает из достаточно очевидных условий физического взаимодействия, которые составляют ритуал.

Гофману не удалось интегрировать свои ранние теории ритуалов взаимодействия в повседневной жизни со своим анализом рамок и разговора. Но и без этого достаточно ясно, как они соотносятся друг с другом. Сердце социального взаимодействия – самая верхняя рамка, обрамляющая все социальные ситуации и рефлексивные разговоры – это физическое соприсутствие людей, осторожно занимающихся друг другом. В этой же плоскости находятся фундаментальные составляющие ритуалов Дюркгейма. Разговор, который содержится внутри, в разной степени становится сакральным объектом, заряженным значительной или незначительной эмоциональной значимостью, которая превращает его в символ членства в конкретной группе. Поздние работы Гофмана дают нам большой материал для понимания разнообразных групп, членом которых можно быть, многие из которых имеют чисто ситуационный характер и почти мимолетны. На мой взгляд, в этом уже заключается научный прогресс. Сложность социальной жизни понемногу оказывается в зоне действия общей теории, у которой много применений.

ЭПИЛОГ

Какова ситуация сегодня? Можно ли говорить о том, что обсуждавшиеся четыре традиции сохраняются в социологическом мире 1990-х годов? В определенном смысле нужно признать, что они были просто удобными фикциями или способами описания истории дисциплины, фикциями, которые указывают на преемственность и научный прогресс там, где он имел место. Сегодня в мире действуют тысячи социологов, которые, следуя социологическому принципу о том, что числа порождают специализации, создали для себя самые разные ниши. Сегодня мы считаем, что специалист может разбираться только в небольшой части своей дисциплины и пытается обособить свой предмет в автономную сферу исследования. Для того, чтобы противостоять этой тенденции, имеет смысл подняться на более высокий уровень абстракции и бросить более широкий взгляд на все то, что случилось и что было сделано за последние столетия с момента создания этой дисциплины.

Конечно, отнюдь не все в нашей дисциплине можно однозначно отнести к одной из четырех традиций. Существует множество специальных областей эмпирических и социальных проблем, которые обращаются или к своим локальным теоретическим традициям, или пытаются обходиться без всяких теорий. Я утверждаю только, что те четыре традиции, которые я выбрал, являются главными и старейшими направлениями в социологии и что их аргументы и достижения являются справедливыми критериями прогресса магистральной тенденции социологического знания.

Как мы уже видели на многих примерах, принципиальные расхождения мнений имеют место даже в рамках одной традиции. Хотя и существует преемственность в традиции конфликта между Марксом, Энгельсом и Вебером, с моей точки зрения, сторонники этих классических мыслителей по большей части не осознавали этой преемственности. Дебаты между марксистами и веберианцами и между разными направлениями внутри этих лагерей были и остаются важной частью интеллектуальной деятельности в этой традиции. Как мы могли убедиться на последнем примере, традиция микроинтеракционизма более унифицирована тем типом проблем,

которым она занимается, а не способом подхода к этим проблемам или характером их решения. Традиция Дюркгейма, вероятно, обладает наибольшим единством, хотя и в ней существует раскол между функционалистами и теми, кто развивал более материалистический анализ ритуального и коллективного символизма.

Поэтому нам было несложно выделить именно эти четыре традиции в том виде, как они развивались в течение последних полутора столетий. Другая причина легкости этого выбора состоит в том, что их нетрудно локализовать географически. Традиция конфликта была создана исторически ориентированными немцами, и только за последние 40 лет она стала популярной за пределами Германии, в особенности в Соединенных Штатах. Так же очевидно французское происхождение традиции Дюркгейма, хотя она, конечно, неоднократно пересекала канал. Идеи Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера оказались вовлечены в линию преемственности между Контом и Дюркгеймом (хотя последний и говорил, что он должен был отказаться от их утилитаристских элементов). В XX веке британские социальные антропологи первыми восприняли идеи Дюркгейма. То же относится к видным британским дюркгеймианцам недавнего времени, Базилу Бернштейну и Мэри Дуглас. Различные другие теории также неоднократно пересекали Атлантический океан. В 30-е годы Парсонс и Мертон импортировали в США функционализм Дюркгейма. До 1950-х годов утилитаризм был центральной британской традицией, но позже его возродили и расширили в Соединенных Штатах. Микроинтеракционистская традиция была подчеркнута американской. Ее основателями были американские социологи поколения Пирса; американцами были и ее ведущие теоретики от Гофмана до Гарфинкеля, хотя Гарфинкель ретроспективно приписал Гуссерлю и Шюцу важную роль уже после создания им этнометодологии.

Правда, в последние несколько лет эти национальные границы все более утрачивают свое значение. В Соединенных Штатах произошло смешение всех этих традиций. Различные семейства социологии вступают в разного рода альянсы: микросоциологическая традиция с традицией конфликта (особенно с ее марксистским крылом), теория ритуала из традиции Дюркгейма с традицией конфликта в истолковании классовых структур. Происходит даже слияние традиции Дюркгейма с идеями микроинтеракционистов (главным образом в теориях Ирвинга Гофмана). Сегодня функционалисты, на несколько десятилетий узурпировавшие традицию Дюркгейма, практически исчезли со сцены американской интел-

лектуальной жизни. Вероятно, это послужило предпосылкой для того, чтобы освободить идеи Дюркгейма о ритуале от связывавших их функционалистских уз и приобщить их к традициям конфликта и микроанализа. Но к удивлению многих наблюдателей, функционализм обрел свою новую родину именно в Германии. Хабермас и другие немецкие теоретики также импортировали идеи микросоциологии Мида и этнометодологов — первый случай в истории, когда американцы оказались востребованными за пределами своего отечества. В то же время исконная германская традиция конфликта утратила свою почву в Германии и полностью переместилась за рубеж, главным образом в Соединенные Штаты. Напротив, рационально-утилитарная традиция приобрела множество приверженцев в Германии, а также в Нидерландах и в Скандинавии. Франция осталась верной своей старой интеллектуальной традиции. Здесь сохраняют свою силу и значимость различные направления дюркгеймианства — от структуралистов в традиции Леви-Стросса до различных адаптаций Дюркгейма к теории конфликта, инициированных Бурдьё. Но необходимо подчеркнуть, что даже во Франции имеет место длительная и успешная рецепция различных немецких философских идей. В период Второй мировой войны французские интеллектуалы обратились к экзистенциализму, который пришел из Германии и основывался на идеях Гуссерля и Хайдеггера. К 1960–1970-м годам получили популярность другие немецкие теории, основанные на теориях Маркса и Фрейда. В 1980-х годах ведущие французские интеллектуалы разочаровались в марксизме и начали критиковать все «субстанционалистские» (*foundationalist*) идеи с позиций постмодернизма. Но сам постмодернизм во многом остается в рамках традиций немецкой философии, особенно историзма и культурного релятивизма, которые сочетаются в нем с некоторыми нигилистическими и антимодернистскими темами экзистенциалистов.

Во второй главе я метафорически представил интеллектуальную традицию как водный поток, текущий по широкой равнине. Иногда она течет как узкий приток рядом с основным руслом, а иногда превращается в мощный поток, который сливается в огромную массу воды. Для наглядности наши четыре традиции можно представить в виде речных систем такого рода, иногда разделенных своими собственными системами ручьев и каналов, иногда заливающими их берега и покрывающими своих соперников. Визуально такую систему трудно представить, оставаясь верным географии. Но для наглядности попытаемся представить, что у каждого из потоков есть

свой цвет: скажем, кроваво-красный в случае традиции конфликта, бледно-голубой у рационально-утилитарной, ярко-зеленый и полный тропических растений у дюркгеймианцев и дымно-туманно-белый у микроинтеракционистов. В течение последних двух-трех сотен лет эти разноцветные потоки разливались или мелели, расширялись или уменьшались.

Можно сказать, что в последние десятилетия XX века четыре потока соприкасались друг с другом в разных местах по береговой линии русел. Теория рационального выбора сочеталась с марксистскими и материалистическими аспектами теории конфликта. С другой стороны, в своей разработке парадоксов рациональности эти теоретики оказались в опасной близости к некоторым антиутилитарным принципам Дюркгейма. (Чистая голубая вода замутнена зелеными вкраплениями из эмоционалистских джунглей.) Теория ритуалов и эмоциональной солидарности Дюркгейма смешивается с теориями конфликта, повествующими о классовых культурах и средствах духовного производства. Я также высказал предположение о том, что Гофман начинает синтезировать теорию ритуала Дюркгейма с микроинтеракционистской традицией когнитивной теории и что этнометодология сходна с дюркгеймовской эмоциональностью и даже с моделью ограниченной рациональности.

Что нам сулит будущее? Было бы соблазнительным предположить, что в какой-то момент отдельные реки сольются в единый радужный поток. Однако два обстоятельства удерживают меня от этого поспешного вывода. Одно из них состоит в том, что в последнее время обострился конфликт между релятивистскими, ускользающими от когнитивных аспектов философиями, которые лежат в основе микроинтеракционистской традиции, и другими идейными лагерями. На противоположных сторонах спектра располагаются постмодернисты и рационалисты-утилитаристы. Но между ними воды смыкаются в ровный пастельный цвет. Второе обстоятельство, больше связанное с социологией поведения социологов, состоит в том, что социологи высоко ценят свои особые идентичности и обогащают свою интеллектуальную энергию в борьбе с другими традициями. Поэтому даже если какие-то из этих традиций и сольются, то на их месте наверняка возникнут новые расколы и противоречия.

Вместо спекуляций на тему о том, что станет с этими четырьмя традициями в будущем, я бы предпочел возвратиться к менее спекулятивному вопросу о том, что, я надеюсь, произойдет в идейном плане. Мне кажется весьма благоприятным, что социологические

РЭНДАЛЛ КОЛЛИНЗ

традиции вышли из своих берегов и смешались друг с другом в разных пропорциях. Прогресс в достижении более фундаментальных истин осуществляется через столкновение идей. В этом процессе можно избавиться от слабостей одного круга идей и интегрировать его сильные стороны с сильными сторонами других традиций. Я попытался показать, где и с какими традициями это уже происходит. Я надеюсь, что в будущем появится еще больше тенденций такого рода.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОЛОГ

Наш общий подход к социологии социальной науки следует концепции Джозефа Бен-Дэвида. Joseph Ben-David, *The Scientist's Role in Society* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1971). Он был применен к психологии в книге Джозефа Бен-Дэвида и Рэндалла Коллинза. Joseph Ben-David and Randall Collins, «Social Factors in the Origins of a New Science: The Case of Psychology», *American Sociological Review* 31 (1966): 451–465. Более абстрактные результаты сравнения шести социальных наук представлены в моей книге *Conflict Sociology: Toward Explanatory Science* chapter 9 (New York: Academic Press, 1975). Обзор циклического подъема и падения средневековой и ранне-современной системы университетов содержится в моей книге «Crises and Declines in Credential Systems», in *Sociology Since Midcentury* (New York: Academic Press, 1981). Нижеследующее содержит более детальные исторические отсылки, относящиеся к материалу в этом прологе.

ГЛАВА 1. ТРАДИЦИЯ КОНФЛИКТА

Наиболее важная работа Гегеля — «Феноменология духа». *The Phenomenology of Mind* (New York: Harper, 1963; originally published 1807). Ссылка по поводу истории как бойни на странице 52 взята из «Философии истории». *The Philosophy of History* on p. 21 (New York: Dover, 1956; original lectures ca. 1822). Среди лучших комментаторов Гегеля — Вальтер Кауфман и Герберт Маркузе. Walter A. Kaufman, *Hegel: A Reinterpretation* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965); Herbert Marcuse, *Reason and Revolution* (New York: Humanities Press, 1954; originally published 1941). Сам Энгельс рассказывает историю развития марксизма из младогегельянства в книге *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy* (1888). [Существует множество изданий трудов Маркса и Энгельса; среди лучших собраний Lewis Feuer, *Marx and Engels, Basic Writings on Politics and Philosophy* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959); and Eugene Kamenka, *The Portable Karl Marx*

(Baltimore: Penguin, 1983). В последней из них можно найти много библиографического материала. Современная биография Маркса дана в работе Дэвида МакЛеллана. David McLellan's *Karl Marx* (New York: Random House 1973); классический образец его биографии представлен в работе Франца Меринга. Franz Mehring, *Karl Marx* (New York: Corvici, Friede, 1935). Цитата на странице 57 по поводу того, что Маркс следовал по стопам Энгельса, взята из этой работы (стр. 260). Меринг также замечает (стр. 123), что «Энгельс проявлял излишнюю скромность по поводу своего собственного вклада в теорию». Широко используется биография Энгельса, написанная Густавом Майером. *Friedrich Engels* (The Hague: Mouton, 1934); из недавних биографий стоит назвать William Otto Henderson, *The Life of Friedrich Engels* (1976). Типичной предвзятой попыткой возвеличить Маркса и принизить Энгельса можно считать книгу Нормана Левина. Norman Levine, *The Tragic Deception: Marx Contra Engels* (Oxford: Clio Press, 1975); pp. 232–239, в которой, однако, представлена информация о сексизме Маркса, его социальном снобизме и о большем личном либерализме Энгельса. Высокая оценка исторической социологии Энгельса и мысль о его превосходстве в этом качестве высказывается в книгах Leonard Krieger's «Introduction», pp. ix–xvi to Friedrich Engels, *The German Revolutions* [в которую включается *The Peasant War in Germany* (1850) and *Germany: Revolution and Counter-revolution* (1851–1852)] (Chicago: University of Chicago Press, 1967). В дополнение к уже упомянутым их основные социологические работы включают *Communist Manifesto* (1848) и *The German Ideology* (1846), написанные совместно с Энгельсом; Marx's *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852) и *The Class Struggles in France* (1850); Engels's *Condition of the Working Class in England* (1845) и *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884).

Классическим примером использования идеи «средств духовного производства» является книга Арнольда Хаузера Arnold Hauser, *The Social History of Art* (New York: Knopf, 1951). В ту же идейную родословную следует включить Karl Mannheim, *Ideology and Utopia* (New York: Harcourt, 1936; originally published 1929). Гнездовая организационная модель разрабатывается в моей книге *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*, chapter 9 (New York: Academic Press, 1975). Теория половой стратификации разрабатывается в главе 5 этой книги и в более марксистском ключе в работах Карен Закс и Лессер Блумберг. Karen Sacks, *Sisters and Wives* (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979); и Rae Lesser Blumberg, «A General Theory of Gender Stratification»,

in *Sociological Theory* 1984 (San Francisco: Jossey-Bass, 1984); см. также Peggy Sanday, *Female Power and Male Dominance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). Обзор теории альянса представлен в книге Marvin Harris, *Cultural Materialism* (New York: Random House, 1979). Но наиболее систематическое ее изложение может быть найдено в книге Janet Saltzman Chafetz, *Sex and Advantage. A Comparative Macro-Structural Theory of Sexual Stratification* (Totowa, N.J.: Rowman and Allanheld, 1984) и Chafetz's *Gender Equity. An Integrated Theory of Stability and Change* (Newbury Park, CA: Sage, 1990).

Основные работы Макса Вебера включают *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978; первоначально вышла в 1922); *General Economic History* (Brunswick: Transaction Books, 1981; originally published 1923); *The Religion of China*: (Glencoe, Ill.: Free Press, 1951; originally published 1916); *The Religion of India* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1958; первоначально вышла в 1916–1917); и *Ancient Judaism* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1952; первоначально вышла в 1917–1919). Известная подборка была сделана Гансом Гертом и Райтом Миллсом: *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946). Недавние немецкие исследования, которые заостряют рационалистическую и идеалистическую сторону теорий Вебера, представлены в работе Стефана Калберга. Stephen Kalberg, «The Search for Thematic Orientations in a Fragmented Oeuvre: The Discussion of Max Weber in Recent German Sociological Literature», *Sociology* 13 (1979): 127–139; См. также Kalberg, «Max Weber's Types of Rationality», *American Journal of Sociology* 85 (1980): 1145–1179. Alan Sica, *Weber, Irrationality and Social Order* (Berkeley: University of California Press, 1988). Сика критикует акцент на рациональности в теории Вебера и предлагает противоположный тезис о том, что он испытывал трудности с иррациональностью.

Темы конфликта у Вебера развиваются в моих книгах *Conflict Sociology* (New York: Academic Press, 1975) и *Weberian Sociological Theory* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1986). Юрген Хабермас предлагает другую интерпретацию в *Legitimation Crisis* (Boston: Beacon Press, 1975); сравните это с более экономической теорией Джеймса О'Коннора. James O'Connor, *The Fiscal Crisis of the State* (New York: St. Martin's Press, 1973). Норберт Уайли наиболее проникновенно использует Вебера как теоретика классового конфликта в «America's Unique Class Politics: The Interplay of the Labor, Credit, and Commodity Markets», *American Sociological Review* 32 (1967): 529–540; а также в «The Convergence of Weber and Keynes», *Sociological Theory* 1983 (San Francisco: Jossey-Bass, 1983).

Создание организационной теории как борьбы за власть связано с работами Роберта Михельса. Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of Oligarchical Tendencies of Modern Democracy* (New York: Collier, 1962; первоначально вышла в 1911); эта теория развивается Филипом Селзником в Philip Selznick, *TVA and the Grassroots* (Berkeley: University of California Press, 1949); Aivin Gouldner in *Patterns of Industrial Bureaucracy* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1954); и Melville Dalton in *Men Who Manage* (New York: Wiley, 1959). Теоретический синтез обсуждается в работе Амитаи Эциони. Amitai Etzioni, *A Comparative Analysis of Complex Organizations* (New York: Free Press, 1961); в моей *Conflict Sociology* chapter 6 (New York: Academic Press, 1975) и в Samuel B. Bacharach and Edward J. Lawler, *Power and Politics in Organizations* (San Francisco: Jossey-Bass, 1980). Экологический подход представлен Ховардом Алдричем. Howard Aldrich, *Organizations and Environments* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1979). Теория рынков Гаррисона Уайта цитируется в библиографии к главе 3. Последние идеи организационной теории, увязанной с подходом ограниченной рациональности, представлены в книге Arthur L. Stinchcombe, *Information and Organizations* (Berkeley: University of California Press, 1990).

Современная теория конфликта была провозглашена Ралфом Дарендорфом Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958) и Герхардом Ленски Gerhard E. Lenski, *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification* (New York: McGraw-Hill, 1966). Самой важной книгой Райта Миллса была C. Wright Mills, *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1956), на которую значительно повлияла работа Карла Маннгейма: Karl Mannheim, *Man and Society in an Age of Reconstruction* (London: Routledge & Kegan Paul, 1935). Также ценна для понимания идейных баталий того времени книга Миллса Mills, *The Sociological Imagination* (New York: Oxford University Press, 1959). Недавняя биография Миллса принадлежит Ирвингу Горовицу. Irving Louis Horowitz, *C. Wright Mills* (New York: Free Press, 1983). Классовая теория политики разбирается Сеймуром Липсетом: Seymour Martin Lipset, *Political Man* (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1960). Мобилизация ресурсов обсуждается в Charles Tilly in *From Mobilization to Revolution* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978); и в Anthony Oberschall in *Social Conflicts and Social Movements* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973). Исторические взгляды на влияние экономики на политическую мобилизацию обсуждаются в Arthur L. Stinchcombe, «Agricultural Enterprise and Rural Class Relations», *American Journal of Sociology* 67 (1961): 165–176; Harrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democ-*

racy (Boston: Beacon Press, 1966); Jeffrey M. Paige, *Agrarian Revolution* (New York: Free Press, 1975) и Craig Calhoun, *The Question of Class Struggle. Social Foundations of Popular Radicalism During the Industrial Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Важной неомарксистской исторической интерпретацией является Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974). До сих пор вышло три тома книги Иммануила Валлерстайна: Immanuel Wallerstein, *The Modern World System* (New York: Academic Press, 1974, 1980, 1989). Теория мировой системы представляется в Christopher Chase-Dunn, *Global Formation. Structures of the World-Economy* (Oxford: Blackwell, 1989). Теория революции на основе развала государства была развита Теда Скокпол: Theda Skocpol, *States and Social Revolutions* (New York: Cambridge University Press, 1979) — и получила несколько иную интерпретацию у Jack A. Goldstone, *Revolution and Rebellion in the Early Modern World* (Berkeley: University of California Press, 1991). Геополитическая теория экспансии и распада государства представлена в книге Randall Collins, «Long-term Social Change and the Territorial Power of States» in Louis Kriesberg (ed.), *Research in Social Movements, Conflicts, and Change*, Vol. i. (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1978, 1–34, и применена к развалу СССР в «The Future Decline of the Russian Empire», pp. 186–209, Randall Collins, *Weberian Sociological Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). Наиболее важным исследованием условий возникновения революционных идеологий является книга Robert Wuthnow, *Communities of Discourse. Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989).

Классическая работа Георга Зиммерса переведена в Kurt H. Wolff (ed.), *The Sociology of Georg Simmel* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1950), and *Conflict and the Web of Group-Affiliations* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1955). Функционалистская теория конфликта Льюиса Козера представлена в Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1956).

ГЛАВА 2. РАЦИОНАЛЬНО-УТИЛИТАРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Классический обзор утилитарной традиции можно найти в Elie Halevy, *The Growth of Philosophical Radicalism* (London: Faber, 1928). См. также Charles Camic, «The Utilitarians Revisited», *American Journal of Sociology* 85 (1979): 516–550. Кульминацией классического утилитаризма стала работа John Stuart Mill, *Utilitarianism* (1863). Падение ути-

литарной этики было ускорено критикой Брэдли F.H. Bradley, *Ethical Studies* (Oxford University Press, 1876), и G.E. Moore, *Principia Ethica* (Cambridge University Press, 1903). Сведение этики к языку было осуществлено в Charles L. Stevenson, *Ethics and Language* (New Haven: Yale University Press, 1944).

Вкладом Адама Смита в утилитарную традицию в этике стала его *Theory of Moral Sentiments* (1759). Его великой работой по экономике стала книга *The Wealth of Nations* (1776). Развитие экономической теории великолепно представлено в Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), вероятно, лучшей интеллектуальной историей из любых социальных дисциплин. Новым введением экономики в круг социальных дисциплин в конце XX века стала книга Gary Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (Chicago: University of Chicago Press, 1976). С другой стороны, те проблемы, с которыми столкнулась экономика в превращении теории общего равновесия в инструмент научных предсказаний, ясно представлены в Alexander Rosenberg, *Economics: Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?* (Chicago: University of Chicago Press, 1992). Недавние попытки проанализировать марксизм с точки зрения теории рационального выбора представлены в John Roemer, *Analytical Marxism* (New York: Cambridge University Press, 1986) и Jon Elster, *Making Sense of Marx* (New York: Cambridge University Press, 1985), а также в более общей работе Элстер по проблемам рациональности, *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality*. (New York: Cambridge University Press, 1979). Сетевая теория рынка Гаррисона Уайта была впервые представлена в Harrison White, «Where Do Markets Come From?» *American Journal of Sociology* 87 (1981): 517–547 и развита в общую теорию в *Identity and Control. A Structural Theory of Social Action* (Princeton: Princeton University Press, 1992).

Теория обмена в социологии в эксплицитном виде была развита Джорджем Хомансом. George C. Homans, *The Human Group* (New York: Harcourt, Brace, 1950) и *Social Behavior: Its Elementary Forms* (New York: Harcourt, Brace, 1961). Хоманс инициировал известный спор по поводу соотношения макро- и микроуровней анализа в своем обращении к Американской социологической ассоциации в 1964 году: «Bringing Men Back In», *American Sociological Review* 29 (1964): 809–818. Теория обмена была впоследствии развита в Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: Wiley, 1964). Экспериментальные свидетельства в теориях обмена власти представлены в Karen S. Cook, Richard M. Emerson, Mary R. Gillmore, and Toshio Yamagishi,

«The Distribution of Power in Exchange Networks», *American Journal of Sociology* 89 (1983): 275–305. David Wilier presents his Elementary Theory in David Wilier and Bo Anderson (eds), *Networks, Exchange, and Coercion* (New York: Elsevier/Greenwood, 1981) и David Wilier, *Theory and the Experimental Investigation of Social Structures* (New York: Gordon and Breach, 1987). Теория справедливости и дистрибутивной справедливости развивается в Guillermina Jasso, «A New Theory of Distributive Justice», *American Sociological Review* 45 (1980): 3–32 и «Principles of Theoretical Analysis», *Sociological Theory* 6 (1988): 1–20.

В социологии сексуальный и брачный рынки были впервые описаны Уиллардом Уаллером: Willard Waller, «The Rating and Dating Complex», *American Sociological Review* 2 (1937): 727–734; и позднее в Hugh Carter and Paul C. Click, *Marriage and Divorce: A Social and Economic Study* (Cambridge: Harvard University Press, 1976). Влияние относительной экономической власти на домашнюю власть было проанализировано в Robert O. Blood, Jr., and Donald M. Wolfe, *Husbands and Wives* (New York: Free Press, 1960), и Maximiliane Szinovacz, «Family Power», in Marvin B. Sussman and Susan K. Steinmetz (eds.) *Handbook of Marriage and the Family* (New York: Plenum, 1987). Исторические изменения в сексуальном поведении мужчин и женщин, которые являются результатом изменений в их экономических позициях, анализируются в Randall Collins, «A Conflict Theory of Sexual Stratification», *Social Problems* 19 (1971): 3–21; более поздние модели сексуальных сделок на примере гомо- и гетеросексуальных пар анализируются в Philip Blumstein and Pepper Schwartz, *American Couples* (New York: William Morrow, 1983). Теория о том, как функционирование мужских и женских эмоций зависит от их позиции на брачном рынке, представлена в Arlie Hochschild, «Attending to. Codifying and Managing Feelings: Sex Differences in Love» (paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco, 1975).

Инфляция на рынке образования обсуждается в работе Randall Collins, *The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification* (New York: Academic Press, 1979); в книге Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, *Reproduction: in Education, Society, and Culture* (Beverly Hills: Sage Publications, 1970/1977); и в Pierre Bourdieu, *Homo Academicus* (Stanford: Stanford University Press, 1988). Эдна Боначич развивает свою теорию расколотого рынка труда в Edna Bonacich, «A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market», *American Sociological Review* 37 (1972): 547–559. Экономическая теория преступлений и нелегальных рынков была сформулирована

на в Thomas C. Schelling, «Economic Analysis of Organized Crime», in *Task Force Report: Organized Crime* (Washington DC: Government Printing Office, 1967).

Неорационалистическая теория «удовлетворенности», противоположная «максимизации», была сформулирована Гербертом Саймоном. Herbert A. Simon, *Models of Man* (New York: Wiley, 1957) и James G. March and Herbert A. Simon, *Organizations* (New York: Wiley, 1958). «Проблема безбилетника» была сформулирована в книге Mancur Olson, *The Logic of Collective Action* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965). «Дилемма узника» описывается в Robert D. Luce and Howard Raiffa, *Games and Decisions* (New York: Wiley, 1957) и развивается в контексте социологии в Douglas Heckathorn, «Collective Sanctions and the Emergence of Prisoner's Dilemma Norms», *American Journal of Sociology* 94 (1988): 535–562. По поводу повторных игр см. Martin Shubik, *Game Theory in the Social Sciences* (Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1984). Парадоксы и эристика реального принятия решений людьми представлены в Amos Tversky and David Kahneman, «Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases», *Science* 1974, 185: 1124–1131; в Robin M. Hogarth and Melvin W. Reder, *Rational Choice: The Contrast between Economics and Psychology* (Chicago: University of Chicago Press, 1987) и в Richard H. Thaler, *The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life* (New York: Free Press, 1992). Теоретический обзор парадоксов представлен в Thomas C. Schelling, *Micro motives and Macrobehavior* (New York: Norton, 1978); Шеллинг развивает свою теорию насильственных коалиций в *The Strategy of Conflict* (Cambridge: Harvard University Press, 1962).

Рациональная теория социальной солидарности представлена в Michael Hechter, *Principles of Group Solidarity* (Berkeley: University of California Press, 1987); and James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), в которой также содержатся теория корпоративных организаций Коулмана и его принципы программ по контролю их эгоистических устремлений.

Современный утилитарный подход к государству развивается в работе Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper and Row, 1957). «Минимальная коалиция для победы» описывается в William H. Riker, *The Theory of Political Coalitions* (New Haven: Yale University Press, 1962). Теория государства как сущности, взимающей «защитную аренду», представлена в Frederic C. Lane, *Profits from Power: Readings in Protection Rent and Violence-Controlling Enterprises* (Albany: State University of New York Press, 1979). Экономические ресурсы, вовлеченные в подъем государства, анализируются в Charles

Tilly, *Coercion, Capital, and European States. AD 990–1990* (Oxford: Blackwell, 1991); недостаток ресурсов как источник развала государства демонстрируется в работах Теда Скокпол и Джека Голдстоуна, которые цитировались в главе 1. Фискальные самовозвеличивания правительства разбираются в William A. Niskanen, *Bureaucracy and Representative Government* (Chicago: Aldine, 1971).

Современные философии рациональных публичных программ включают John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971); James M. Buchanan and Gordon Tullock, *The Calculus of Consent* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962); James Buchanan, *The Limits of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1975); James Buchanan and Richard Fj. Wagner, *Democracy in Deficit* (New York: Academic Press, 1977); а также James Coleman's *foundations of Social Theory* (цитировано выше).

ГЛАВА 3. ТРАДИЦИЯ ДЮРКГЕЙМА

Возможно, лучшая интеллектуальная биография из всех в истории социальных наук — работа Стивена Льюкса. Steven Lukes, *Entile Durkheim, His Life and Work* (New York: Allen Lane, 1973). Организационная политика французского академического мира времен Дюркгейма обсуждается в Terry N. Clark, *Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sicences* (Cambridge: Harvard University Press, 1973). Книга Jeffrey C. Alexander in *The Antinomies of Classical Thought: Marx and Durkheim* (Berkeley: University of California Press, 1982) дает тщательный анализ интеллектуального развития Дюркгейма и некоторых его французских последователей и обращается ко многим примерам. Правда, Александр занимается в основном философскими предпосылками и пропускает большинство субстанциальных работ дюркгеймианцев, их объяснительные теории.

Переводы основных работ Дюркгейма включают *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1964; первоначально вышла в 1893); *The Rules of Sociological Method* (New York: Macmillan, 1982; первоначально вышла в 1895); *Suicide* (New York: Free Press, 1966; originally published 1897); *Moral Education* (New York: Free Press, 1961); *Sociology and Philosophy* (New York: Free Press, 1974); и *The Elementary Forms of the Religious Life* (New York: Macmillan, 1961; первоначально вышла в 1912). Дюркгейм рассматривает своих идейных предшественников в *Montesquieu and Rousseau* (Arm Arbor: University of Michigan Press, 1960); и в *Socialism and Saint-Simon* (New York: Collier, 1962). Выдерж-

ки из крупной работы Конта *Course of Positive Philosophy* содержатся в George Simpson (ed.), *Auguste Comte: Sire of Sociology* (New York: Crowell, 1969). Основным вкладом Герберта Спенсера считается книга *Principles of Sociology* (New York: Appleton, 1884).

Функционалистское направление представлено работами Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1957); и Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, Ill.: Free Press, 1951); *Toward a General Theory of Action* — with Edward Shils and others — (Cambridge: Harvard University Press, 1951) и *Societies: Comparative and Evolutionary Perspectives* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966). Парсоновская интерпретация нацизма представлена в его *Essays in Sociological Theory* (Glencoe: Free Press, 1949). Применение парсоновской версии теории Дюркгейма к современной культуре представлено в Winston White, *Beyond Conformity* (New York: Free Press, 1961). Функциональная теория стратификации Кингсли Дэвиса и Уилберта Мура и дебаты вокруг нее воспроизводятся в Reinhard Bendix and Seymour Martin Lipset (eds.), *Class, Status, and Power* (New York: Free Press, 1966). Критика функционалистской теории образования и профессий содержится в моей книге *The Credential Society* (New York: Academic Press, 1979). Недавний подъем функционалистской теории в Германии описывается в Jeffrey C. Alexander, «The Parsons Revival in German Sociology,» in *Sociological Theory 1984* (San Francisco: Jossey-Bass, 1984).

Недавнее издание книги «Древний город» Нума Дениса Фюстель де Куланжа с приложением современных статей о Древней Греции цитируется в примечании 4 главы 3. Сравнительный тест социологии религии Дюркгейма представлен в Guy E. Swanson, *The Birth of the Gods* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962).

Первой книгой Ллойда Уарнера была W. Lloyd Warner, *A Black Civilization. A Social Study of an Australian Tribe* (New York: Harper, 1937). За ней последовала его серия «Yankee City»: Warner and Paul S. Lunt, *The Social Life of a Modern Community* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1941); и несколько последующих томов, включая его дюркгеймовский анализ современного ритуала в *The Living and the Dead* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1959). Издание этого труда в бумажной обложке, сокращенное и дополненное, вышло под названием *The Family of God* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1961). Исследование Уарнера по поводу города Среднего Запада, посвященное «Памяти Эмиля Дюркгейма», озаглавлено *Democracy in Jonesville* (New York: Harper & Row, 1949). Другие исследования группы Уарнера включают Allison Davis, Burleigh B. Gardner, and Mary R. Gardner, *Deep South* (Chicago: University of Chicago Press, 1941) и St.

Clair Drake and Horace R. Cayton, *Black Metropolis*, (New York: Harcourt, 1945). Работа в традиции Уарнера, которая занимается стратифицированными социальными сетями, — книга Edward O. Laumann, *The Bonds of Pluralism* (New York: Wiley, 1973).

Основные работы Ирвинга Гофмана, написанные в дюркгеймовской традиции: *The Presentation of Self in Everyday Life* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959); *Asylums* (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1961); *Encounters* (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1961); *Interaction Ritual* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1967); и *Relations in Public* (New York: Basic Books, 1971), последняя была посвящена памяти социального антрополога Радклиффа-Брауна. Эссе с трактовками Гофмана, Леви-Стросса, Бурдьё и других интеллектуалов вышли в моей книге *Sociology Since Mid-century* (New York: Academic Press, 1981); в этой книге также дается трактовка цепей ритуалов взаимодействия (первоначально опубликовано в *American Journal of Sociology* 86 (March 1981), 984–1014). Попытка сочетания цепей ритуалов взаимодействия с теорией рационального выбора рынков предпринимается в Randall Collins, «Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Choice,» *Rationality and Society* 5 (1993): 203–230. Недавнее развитие социологии эмоций как связующего звена, ведущего к традиции Дюркгейма, представлено в Thomas Scheff, *Microsociology. Discourse, Emotion and Social Structure* (Chicago: University of Chicago Press, 1990), и Theodore D. Kemper (ed.), *Research Agendas in the Sociology of Emotions* (Albany: State University of New York Press, 1990).

Теория классовых культур Дюркгейма и Гофмана представлена в моей книге *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science* (New York: Academic Press, 1975), главе 2, и получила дальнейшее развитие в моей *Theoretical Sociology* (San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988), главе 6. Герберт Ганс проанализировал культуру рабочего класса и сопоставил ее с культурой деревенских крестьян в своей книге Herbert Gans, *The Urban Villagers* (New York: Free Press, 1962). Языковые различия в классовых культурах анализируются в Basil Bernstein, *Class, Codes, and Control* which is in three volumes (London: Routledge & Kegan Paul, 1971–1975). Сравнительная теория культур Мэри Дуглас представлена в Mary Douglas, *Natural Symbols* (London: Routledge & Kegan Paul, 1970).

Большинство работ Марселя Мосса и его сотрудников остаются непереведенными на английский язык. Среди важных кусков, которые цитируются в тексте Henri Hubert and Marcel Mauss, «Introduction a l'analyse de quelques phenomenes religieux» (1906); Marcel Mauss, «La priere et les rites oraux» (1909); и «Valeurmagjqueetvaleur

d'échange» (1914), in Marcel Mauss, *Oeuvres* (Paris: Editions de Minuit, 1968); а также Marcel Mauss, *A General Theory of Magic* (New York: Norton, 1972; originally published with Henri Hubert in 1902); *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies* (New York: Norton, 1967; originally published 1925); Emile Durkheim and Marcel Mauss, *Primitive Classification* (Chicago: University of Chicago Press, 1963; originally published 1903). Тезис Макса Вебера о том, что статусные группы характеризуются отсутствием жестких переговоров по поводу цены, содержится в его *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), p. 937. Теория родства Леви—Стросса как обмена дарами представлена в *The Elementary Structures of Kinship* (Boston: Beacon Press, 1969; originally published 1949). Дюркгейм предвосхитил эту концепцию о том, что племенное родство может быть представлено как математическая проблема в своей работе «Sur l'organisation matrimoniale des sociétés australiennes», *L'Année Sociologique* 8 (1905). Позднейший структурализм Леви-Стросса развивается в его работе *The Savage Mind* (Chicago: University of Chicago Press, 1966; originally published 1962) и в *The Origin of Table Manners* (New York: Harper, 1978; originally published 1968). Уаррен Хагстром применил теорию ритуального обмена к науке в Warren O. Hagstrom, *The Scientific Community* (New York: Basic Books, 1965). И еще более дюркгеймовская теория науки как современного сакрального объекта представлена в David Bloor, *Knowledge and Social Imagery* (London: Routledge & Kegan Paul, 1976). Теории культурного капитала и символического насилия Пьера Бурдьё переведены в его *Outline of a Theory of Practice* (New York: Cambridge University Press, 1977) и применены к классовым культурам в *Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste* (Cambridge: Harvard University Press, 1979/1984). Критика и дальнейшее развитие этой линии анализа представлены в Lament, *Morals, Money and Manners: Symbolic Boundaries in the French and American Upper-Middle Class* (University of Chicago Press, 1992). Дюркгеймовская теория преступления как социального ритуала развивается в Kai Erickson, *Wayward Puritans* (New York: Wiley, 1966); as well as in Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976); and Donald Black (ed.), *Toward a General Theory of Social Control* (New York: Academic Press, 1984).

ГЛАВА 4. МИКРОИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Социальное происхождение и моральные интересы американских социологов ярко разбираются в работе Arthur, Vidich and Stanford M. Lyman, *American Sociology, Worldly Rejections of Religion and Their Direc-*

tions (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1984). Их философская родословная обсуждается в The philosophical background is nicely covered in Herbert W. Schneider, *A History of American Philosophy* (New York: Columbia University Press, 1963) и в John Passmore, *A Hundred Years of Philosophy* (Baltimore: Penguin, 1968). Цитата из Джошуа Ройса (стр. 184) приводится в книге Шнайдера, р. 416. Основные работы Пирса собраны в книге Justus Buchler (ed.), *Philosophical Writings of Peirce* (New York: Dover, 1955); цитата на странице 186 приводится Бухлером Buchler, р. 255. Великолепная интеллектуальная биография Уильяма Джеймса дается в книге Ralph Barton Perry, *The Thought and Character of William James* (Boston, 1935). Наиболее влиятельной книгой Джона Дьюи по социологии стала работа John Dewey, *Human Nature and Conduct* (New York: Holt, 1922). О социологии Прогрессивного движения в области образования, частью которого был Дьюи, см. мою книгу *The Credential Society* (New York: Academic Press, 1979).

Цитаты из Чарлза Хортона Кули на страницах 254–255 взяты из *Human Nature and the Social Order* (New York: Schocken, 1964: 119, 121; первоначально опубликована в 1902). Социологические лекции Джорджа Герберта Мида были посмертно опубликованы в Charles W. Morris (ed.), *Mind, Self, and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1934; paperback edition, 1967); цитаты взяты из Морриса, стр. 147. Другая подборка статей и лекций Мида представлена в Anselm Strauss (ed.), *George Herbert Mead on Social Psychology* (Chicago: University of Chicago Press, 1964). Философия Мида, только частью которой была его социология, лучше изложена в его *The Philosophy of the Act* (Chicago: University of Chicago Press, 1938); *The Philosophy of the Present* (La Salle, Ill.: Open Court Publishing Co., 1932); и *Movements of Thought in the Nineteenth Century* (Chicago: University of Chicago Press, 1936). Различия между мыслью Мида и Чикагской школой в целом подчеркиваются в J. David Lewis and Richard L. Smith, *American Sociology and Pragmatism: Mead, Chicago Sociology, and Symbolic Interaction* (Chicago: University of Chicago Press, 1980).

Разбросанные теоретические работы У.Томаса собраны в Morris Janowitz (ed.), *W.I. Thomas on Social Organization and Personality* (Chicago: University of Chicago Press, 1966). Его сотрудничество с польским социологом Флорианом Знанецким описывается в книге Robert Bierstedt, *American Sociological Theory, A Critical History* (New York: Academic Press, 1981). Биерштедт ясно представляет большую часть того, что достойно упоминания в американской социологии, начиная с ранних эволюционистов Уильяма Грэхема Самнера и Ле-

стера Фрэнка Уарда до социологов 1940–1950-х годов, например Роберта МакАйвера и Джорджа Лундберга. Собрание статей Герберта Блумера представлено в его *Symbolic Interactionism* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969). Репрезентативными работами в этой традиции считаются Alfred Lindesmith, *Opiate Addiction*, (Bloomington, Ind.: Principia, 1947); Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (Glencoe Free Press, 1963); Edwin M. Schur, *Crimes Without Victims: Deviant Behavior and Public Policy* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965). Role theory is overviewed by Sheldon Stryker, *Symbolic Interactionism: A Social Structural Version*, (Menlo Park, Calif.: Cummings, 1980),

Феноменологическое происхождение этнометодологии можно почувствовать по-английски в книге Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology* (New York: Macmillan, 1975); *Cartesian Meditations* (The Hague: Nijhoff, 1960); *Phenomenology and the Crisis of Philosophy* (New York: Harper, 1965). Классики экзистенциализма включают Martin Heidegger, *Being and Time* (New York: Harper, 1960; German original published 1927); и Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness* (New York: Washington Square Press, 1971; французский оригинал опубликован в 1943). Гуссерль был приспособлен для социологии Альфредом Шюцем. Alfred Schutz, *Collected Papers* (The Hague: Nijhoff, 1962–1966), а также Peter Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Doubleday, 1966). Собрание статей Гарольда Гарфинкеля представлено в Harold Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967). Среди его более поздних работ можно назвать Harold Garfinkel, Michael Lynch, and Eric Livingston, «The Work of Discovering Science Construed from Materials from the Optically Discovered Pulsar», *Philosophy of the Social Sciences, II* (1981): 131–138; Michael Lynch, Eric Livingston, and Harold Garfinkel, «Temporal Order in Laboratory Work» in Karin Knorr and Michael Mulkey (eds.), *Science Observed*, (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1983). Разработки в области социологии языка и познания представлены в Aaron Cicourel, *Cognitive Sociology* (Baltimore: Penguin, 1973), и Harvey Sacks, Emanuel Schegloff, and Gail Jefferson, «A Simplest Systematics for the Organization of Turn-taking in Conversation», *Language* 50 (1974): 696–735. Контркритика Ирвинга Гофмана представлена в его книге *Frame Analysis* (New York: Harper, 1974); (the quotation of p. 281 is from p. i of this book); и *Forms of Talk*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981) (quotations on p. 282 are from p. 121 and p. 103; quotations on p. 286 are from p. 173 and p. 151). Текущее развитие в сфере анализа разговоров можно най-

ти в J. Maxwell Atkinson and John Heritage, *Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis* (New York: Cambridge University Press, 1984); Allen Grimshaw, *Conflict Talk* (New York: Cambridge University Press, 1990); and Deirdre Boden and Don H. Zimmerman (eds.), *Talk and Social Structure. Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis* (Berkeley: University of California Press, 1991).

Всеобъемлющая модель, которая пытается синтезировать различные аспекты микроинтеракционистских теорий, представлена в Jonathan H. Turner, *A Theory of Social Interaction* (Stanford: Stanford University Press, 1988).

Рэндалл Коллинз

Четыре социологических традиции

Перевод Вадима Россмана

Выпускающий редактор серии *Е. Попова*

Корректор *Е. Макеева*

Оформление серии *В. Коршунов*

Верстка *Д. Кашкин*

Формат 70×100 1/6. Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 25,8. Тираж 1000 экз.

Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
105066, Москва, ул. Ольховская, 45, стр. 1, офис 4

Отпечатано в гуп ппп «Типография "Наука"»
121099 Москва, Шубинский пер., 6